



М. Н.
ЗАГОСКИН



Аскольдова могила //Современник, Москва, 1989
FB2: Ego <ego1978@mail.ru >, 17 March 2008, version 1.0
UUID: 12cf3fa2-4044-102b-838a-b2b8826265d3
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Михаил Николаевич Загоскин

Искуситель

Содержание

Часть первая	0005
I. СЕМЕЙСТВО БЕЛОЗЕРСКИХ	0005
II. ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД	0025
III. ЯРМАРКА	0053
IV. ДОМАШНИЙ ТЕАТР ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА РУКАВИЦЫНА	0082
V. ОТЪЕЗД	0115
VI. МОСКВА	0143
Часть вторая	0173
I. КОЛОМЕНСКОЕ	0173
II. ГРАФ КАЛИОСТРО	0202
III. НЕЗНАКОМЫЙ	0238
IV. НАДИНА ДНЕПРОВСКАЯ	0263
V. ВЕЧЕР У БАРОНА БРОКЕНА	0301
VI. МОСКОВСКИЕ ЦЫГАНЕ	0318
Часть третья	0339
I. МАСКАРАД	0339
II. ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ	0373
III. ДРУЖЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА	0392
IV. ФИЛОСОФИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР В ХАРЧЕВНЕ	0424
V. ВЕСЬМА ОБЫКНОВЕННЫЙ СЛУЧАЙ, ИЛИ СЛЕДСТВИЯ ПЛАТОНИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ . . .	0454
VI. РАЗВЯЗКА	0486
Комментарии	0512

Михаил Николаевич Загоскин Искуситель

C'est un tableau de fantaisie dont tous les détails sont peints d'après nature[1].

Часть первая

I. СЕМЕЙСТВО БЕЛОЗЕРСКИХ

Сегодня день моего рождения; мне минуло шестьдесят лет; мои мягкие темно-русые волосы, которым некогда завидовали красные девушки, сделались жесткими и поседелли; вместо тонких бровей дугою, нависали над моими глазами густые брови в палец шириною, ресниц как не бывало, а полные румяные щеки впали и пожелтели как осенний лист на деревьях. Говорят, будто бы глаза мои не совсем еще утратили свою прежнюю выразительность, а зубы (которых, впрочем, немного осталось) свою первобытную белизну. Может быть. Но я ношу очки и давно уже перестал лакомиться орехами, до которых в старину был страстный охотник, – все это очень грустно! Правда, когда я взгляну на мою Марью Ивановну, то мне становится не до себя... Господи боже мой! Подумаешь, как года-то меняют человека! Та ли это Машенька, свежая, как весенний цветок после утрен-

ней росы, прекрасная, как модель живописца, который хочет создать свою *Мадонну*? Ну, кто поверит, что эта пожилая барыня, которая в ситцевом капоте и в своем чепце-разлетае сидит за пальцами или вяжет для меня бумажный колпак, была некогда с гибким станом, с волнистыми светло-русыми волосами, что у нее был прелестный ротик и два ряда зубов, которые я не называю перлами потому только, что это сравнение сделалось слишком уж обыкновенным. Конечно, это никому не придет в голову, никому, кроме мужа, для которого милы ее морщины: она нажила их, проведя всю жизнь со мною. Почти тридцать лет постоянного счастья, тридцать лет сряду, как в первый день свадьбы, все те же совет и любовь, два сына и три дочери, из которых меньшая, как две капли воды, походит на мать свою. О! Эти прелести стоят, без сомнения, тех, от которых мы сходим с ума в наши молодые годы. Верная подруга в жизни, добрая жена никогда не состареется для своего мужа, и всякий раз, когда я подумаю, что этот злой дух, этот сатана, которого я сам вызвал из преисподней, мог навсегда разлучить меня

с нею, то вся кровь застывает в моих жилах. Так, он точно был демон, но, разумеется, нашего века: не с хвостом и рогами, а одетый по последней моде, остроумный, насмешливый, точь-в-точь такой, какого навязал себе на шею чернокнижник Фауст[2]. Вы думаете, что я шучу или, может быть, величаю демоном какого-нибудь злодея? О, нет! Я говорю без всяких риторических фигур и называю злым духом не человека, а того, которого имя не выговорит ни одна набожная старушка, не перекрестясь и не примолвив: «Наше место свято!» Смейтесь надо мной, если хотите, но я в этом уверен и, быть может, уверю и вас, когда расскажу вам кой-что про первые годы моей молодости.

Мне не было еще трех месяцев, когда покойная матушка скончалась, отец мой скоро последовал за нею, и я на четвертом году остался круглым сиротой: даже близких родственников у меня не было. Исполняя последнюю волю умирающего отца моего, определили ко мне опекуном внучатного его брата, Ивана Степановича Белозерского. Сиротство мое прекратилось с той самой минуты, как я

вступил в дом этого почтенного человека; но прежде, чем я стану говорить о самом себе, мне должно познакомить вас покороче с семейством Белозерских и с уединенной деревнею, в которой я взрос, образовался и провел большую часть моей молодости, – теперь я далеко от нее; но, быть может, мне удастся еще раз взглянуть на это мирное убежище моего детства, и тогда – если господь будет до конца ко мне милостив – я весело засну, спокойным, но не вечным сном, без скорби и отчаяния, а с теплой верой, что минута пробуждения будет для меня и для всех моих минутой радости и неизъяснимого блаженства.

Иван Степанович Белозерский вступил в службу в достопамятный год Чесменской битвы[3] и знаменитой победы под Кагулом[4]. Он служил в гвардии. На двадцать девятом году влюбился в сестру своего начальника, милую, добрую и прекрасную девушку; на тридцать втором обвенчался с нею, через год она родила ему дочь; потом, в 1790 году, делал шведскую кампанию; дрался, как лев, в сражении под Абесферсом и за отличие произведен в капитаны. Вскоре затем вышел за рана-

ми в отставку с чином бригадира и отправился с женою и дочерью на житье в свое наследственное поместье – но не для того, чтоб порскать за зайцами. Он занялся благосостоянием своих поселян, и хотя соседние дворяне называли его плохим экономом, потому что он думал о выгодах своих крестьян столько же, сколько о своих собственных, но, несмотря на это, доходы его с каждым годом умножались, мужички богатели, и, начиная от барского двора до последней избы, от помещика до крестьянина, везде благодарили господ, и все жили припеваючи. «Чудное дело, – толковали меж собой соседи, – этот Белозерский во все не радеет о своей пользе, а все так-то ему в руку идет!»

Прогуливаясь по селу с женой и дочерью, Иван Степанович встречал везде одни приветливые и веселые лица; ребятишки от них не прятались, не выглядывали украдкой из подворотней, а выбегали все на улицу, и часто какой-нибудь почти столетний старик кряхтел, а слезал с полатей, чтоб выйти за ворота и взглянуть на добрых господ своих. «Дай бог им много лет здравствовать! – гово-

рили меж собой мужички. – Неча сказать, знатные господа! Бога помнят, крестьян своих жалуют» – «А наша барышня, – болтали старухи, – родная-то наша матушка. Марья Ивановна! Эка лебедь белая! Всем взяла! Тоненька только, сердечная! Да бог милостив, войдет в года – будет подороднее!»

Когда мне минул восемнадцатый год и я собирался уже в Москву. Ивану Степановичу было лет под шестьдесят. Он очень часто прихварывал, простреленная нога и разрубленное плечо мучили его перед каждой переменной погодой. Лицо его, с которого еще не совсем исчез румянец молодости, не имело в себе ничего особенного, ничего такого, что поражает нас с первого взгляда но когда он говорил, когда пожимал с ласкою вашу руку, когда глаза его оживлялись простодушием и добротой, то все черты этой спокойной и светлой физиономии навсегда врезывались в вашу память. Не много есть художников, которые умеют разливать жизнь и, так сказать, влагать душу в свои произведения, и вот почему из всех портретов Ивана Степановича не было ни одного сходного: все они изобра-

жали лицо простого человека с самой обыкновенной, незначащей физиономией, в этом дюжинном лице не было ничего ни противного, ни привлекательного; но это потому, что оно точно так же походило на свой подлинник, как походит неподвижный водопад в картине на падение Рейна или Ниагары. Вода, пена, брызги – все списано верно с натуры; но где жизнь и движение бурной реки, которая ежеминутно, изменяя свой образ, стремится, летит и с грохотом исчезает среди кипящей пучины?

Хотя в то время жене Ивана Степановича было уже гораздо лет за сорок, но, взглянув на нее, нельзя было не подивиться, что у нее дочь невеста. Есть старая французская пословица: *c'est la lame qui use le fourreau*[5]. И подлинно: злоба, отчаяние, порывы гнева, точно так же как безмерная любовь и вообще все необузданные страсти, истребляя здоровье, почти всегда бывают причиною нашей преждевременной старости. Мы обольщаемся красноречивым описанием всех сильных страстей: любовь, не доходящую до безумия, мы не хотим называть любовью, забывая о

том, что всякое неистовое чувство унижает достоинство человека, и, какое бы название ни дали страсти, которая превращает вас или в дикого зверя, или в малодушное существо, не имеющее собственной воли, эта страсть всегда останется чувством противным богу и нашей совести, потому что она, затмевая рас-судок, сближает нас с животными и, так ска-зать, *оземляет* наше небесное начало.

Кроткая душа Авдотьи Михайловны – так зва-ли жену Белозерского – не знала ненависти, а теплая вера укрощала чрезмерную чувстви-тельность, к которой она была способна. Ко-гда господь посещал ее горестью, она моли-лась, и скорбь ее никогда не переходила в от-чаяние; ощущая необычайную радость, она спешила благодарить бога, и сердце ее облег-чалось. Конечно, и она была не всегда одина-ково весела и довольна; но ее никогда не по-кидали этот душевный мир и спокойствие, столь же мало похожие на холодный эгоизм, сколь мало походит стоячая вода грязного пруда на светлые струи ручья, который хотя и не вырывает с корнем дерева, как живопис-ный гордый поток, но зато тихо и стройно те-

чет в берегах своих, разливая вокруг себя жизнь и прохладу.

Я сказал уже слова два об их дочери. Представьте себе... или нет!.. дайте полную волю вашему воображению, и будьте уверены, что оно не создаст ничего лучше и милевиднее Машеньки Белозерской, когда ей минуло шестнадцать лет. Чтоб окончить описание этого семейства, мне должно упомянуть еще об одном слугителе, или, лучше сказать, *домочадце* Ивана Степановича. Я не мог приискать ничего приличнее и вернее этого старинного русского названия, чтоб определить одним словом, к какому разряду домашних принадлежал дядька мой Кондратий Бобылев, некогда заслуженный гвардейский сержант, а потом дворецкий и приказчик в доме бывшего своего капитана. Бобылев был роста высокого, худощав, и, несмотря на то что доживал шестой десяток и предузнавал не хуже Ивана Степановича всякую ненастную погоду, он мог бы еще лихо выбежать перед фронт за флигельмана и вскинуть кверху тяжелое солдатское ружье, как перышко. Перед своим бывшим командиром он всегда держал себя

навытяжку и не мог смотреть без досады на ровесников своих, старосту Парфена и бурмистра Никитича, когда они шли, сторбившись, по улице или стояли, опираясь на свои *подожки*[6]. «И, что вы за народ такой! – говаривал он всегда, закручивая свои огромные седые усы. – Кряхтят да гнутся, словно старики! Да что наши за года? Ведь мы еще в самой поре и силе. Эх, поломал бы вам бока да выправил по-нашенски, так небось стали бы держать себя в стреле!» Бобылев, так же как и бывший капитан его, носил по будням военный сюртук, а по праздникам наряжался в полный мундир и, сверх того, по старой привычке, пудрил свои седые волосы пшеничною мукою и подфабривал усы. Его любили все: взрослые – за простодушие, доброту и приветливый нрав, а дети – за его рассказы о войне с турком, о походах под шведа, о храбром и удалом фельдмаршале Румянцеве[7], о батюшке-графе Суворове, о том, как басурманы пьют зелье, от которого как шальные летят на штыки православного войска, и о разных других некрещеных народах, которые пугают своих детей, вместо буки, русским солда-

ТОМ.

Я должен также упомянуть об иностранцах, которые жили в доме Белозерских; их было двое: нянюшка-немка и учитель-француз. Немку называли Луизой Карловной, а француза – мусье Месмежан, то есть он назывался некогда Monsieur Jean, но впоследствии эти два слова слились в одно: его стали величать Иваном Антоновичем Месмежаном, – и под конец он так привык к этому прозвищу, что, верно бы, не откликнулся, если б кто-нибудь назвал его по имени.

Хотя деревня, в которой жили Белозерские, не далее двадцати пяти верст от губернского города, но я до шестнадцатилетнего возраста знал его по одной наслышке; сам Иван Степанович бывал в нем очень редко и только по самой крайней надобности. Господский дом со всей усадьбою был расположен в близком расстоянии от большой дороги; с трех сторон окружали его дубовые рощи. Я населил бы их соловьями, если б писал роман, но истина прикрас не требует. С наступлением весны налетало в них бесчисленное множество грачей, которых громкий и непрерывный крик

так сроднился с первыми и приятнейшими впечатлениями моей молодости, что и теперь дубовая роща без грачей кажется для меня пустынею и возбуждает точно такое же грустное чувство, как безлюдный город или давно покинутый дом, в котором не заметно никаких признаков жизни.

Когда приближались к деревне по большой дороге со стороны города, то сначала видны были одни рощи, потом как будто бы всплывала красная кровля господского дома, а там подымались крыши флигелей и служб, и вся усадьба открывалась только тогда, как подъезжали к самым воротам обширного двора, обнесенного частоколом, – но с противоположной стороны господский дом виден был версты за две. По всему было заметно, что отец Ивана Степановича, который построил эти барские хоромы, не охотник был до хороших видов. Он поставил их на полугоре таким невыгодным образом, что из окон главного фасада, обращенного к городской стороне, видны были одни только рощи и часть поля, которое, подымаясь все выше и выше, заслоняло от глаз все отдаленные предметы.

Иван Степанович, чтоб вознаградить чем-нибудь этот недостаток, развел перед домом цветник, в который сходили по низкой лестнице прямо из гостиной, и поместил свой кабинет и небольшую столовую в противоположной стороне дома, между лакейской и девичьей. Из этих комнат вид был прекрасный: остальная часть горы опускалась пологим скатом до самого пруда, который некогда казался мне огромным озером, хотя вокруг едва ли было и двести сажен. По сторонам обширного луга, отделявшего пруд от барского двора, разбросаны были житницы, каретный сарай, избы дворовых людей, их клетки, а посреди стояла крытая соломою небольшая лачужка с высоким шестом, на котором вертелся флюгер, — это было сборное место ночных караульных. С левой стороны, в шагах десяти от двора, начинался большой плодовый сад, в котором были, однако же, дорожки, обсаженные липами, он примыкал к одной из дубовых роц. Прямо перед задним фасадом дома, по ту сторону пруда, подымалась амфитеатром густая дубрава; справа, по берегу оврага, который начинался за плотиною, тянулось

огромное гумно; за ним виднелись холмистые и открытые места, перерезанные довольно высоким валом; он отделял Тужилровку – так называлась деревня Белозерского – от большого экономического села; этот вал, идущий верст на двести, служил некогда оплотом и обороною от татарских погромов, или, по крайней мере, затруднял внезапные набеги этих разбойников. За валом, у самого въезда в экономическое селение, возвышалась деревянная церковь с небольшой колокольней, и за ней сливались с отдаленными небесами необозримые поля, на которых осенью, как золотое море, волновалась почти сплошная нива, кой-где пересекаемая проселочными дорогами. Я жил в антресолях над самым кабинетом Ивана Степановича, и вид из моей комнаты был еще обширнее. Очень странно, что в те годы, когда мы еще не имеем никакого понятия об изящном, прекрасный вид возбуждал во мне всегда неизъяснимое чувство удовольствия. Бывало, я по целым часам не отходил от окна и не мог налюбоваться обширными полями, которые то расстилались гладкими зелеными коврами, то холмились и

пестрели в причудливом разливе света ее теней. Сколько раз в детской голове моей рождалась мысль уйти потихоньку из дома и во что бы ни стало довернуться до того места, где небеса сходятся с землею, чтоб заглянуть поближе на красное солнышко, когда оно прячется за темным лесом. Более всего возбуждал мое любопытство и тревожил меня этот бесконечный темный лес; он виден был из моей комнаты, вдали за дубравую, которая росла по ту сторону пруда. Чего не приходило мне иногда в голову! «Уж верно, – думал я, – за этим лесом Должны быть большие диковинки? И что за люди там живут? Там и солнышко ночует – куда должно быть им весело!» Однажды – мне было тогда не более пяти лет – я решился завести об этом разговор с Былевым.

– Что это за длинный лес? – сказал я. – А что, Кондратии, чай, ему конца нет?

– Как не быть, сударь.

– А где же ему конец?

– Да верст пять или шесть отсюда.

– А что за этим лесом?

– Выглядовка.

– Что это, Кондратий? Город, что ли, какой?

– И, нет, сударь! Так, небольшая деревнишка, гораздо менее нашей Тужиловки.

– И люди там такие же?

– Такие же, батюшка.

Это меня немного успокоило, однако ж я не покинул намерения побывать когда-нибудь за лесом и посмотреть вблизи, как солнышко ложится спать.

Мы так привыкли, я – называть Машеньку сестрою, а она меня братом, что даже и тогда, когда подросли, нам ни разу не приходило в голову, что дети внучатых братьев почти все не родня меж собою. Мы были неразлучны, и учились и играли вместе, поверяли друг другу свои детские тайны, я рассказывал ей все подробности своего путешествия за *дремучий* лес вместе с Бобылевым, который согласился наконец меня потешить и ходил со мною до самой Выглядовки. Машенька бледнела от страха, когда я описывал ей, как мы переправлялись через топкое болото, как зашли в такую дичь, что и света божьего не видно; как мимо нас пробежал огромный

волк, и хотя, – прибавлял я с важным видом, – Бобылев уверяет, что это дворная собака, а не волк, но я точно видел, как глаза у него светились и как он щелкал зубами, а если мы остались целы, так это потому, что нас было двое. Машенька также в свою очередь призналась мне, что хочет непременно сходить когда-нибудь ночью в ближнюю рощу, которая была в двух шагах от дома, и посмотреть, как теплится огонек в старой часовне. Надобно вам сказать, что в этой роще похоронен был приказчик Ивана Степановича, который погиб насильственной смертью во время Пугачева; а так как он был человек очень добрый и набожный, то все почитали его невинно пострадавшим мучеником и уверяли, что будто бы в поставленной над его могилою часовне теплится по ночам огонек. Это поверье, подкрепляемое божбою очевидцев, получило наконец всю достоверность несомненной были не только для жителей Тужиловки, но даже и для всего соседнего экономического села.

Разумеется, смелое предприятие Машеньки мне очень понравилось, я предложил ей разделить со мною все опасности этого ноч-

ного подвига. Вот однажды, после ужина, мы вышли погулять по двору, начали гоняться друг за другом и, выждав минуту, в которую немка Луиза Карловна позаболталась с моим учителем, мосье Месмежаном, выбежали в растворенную калитку; держа друг друга за руку, мы пробежали шагов пятьдесят не оглядываясь. Сначала нам можно было без труда различать тропинку, которая вела мимо часовни: ночь была лунная и деревья росли весьма просторно по опушке роци, но чем далее мы заходили, тем становилось темнее; мы пошли шагом. Вот я почувствовал, что рука Машеньки начинает дрожать в моей руке, она стала останавливаться и наконец сказала прерывающимся голосом:

– Братец, я боюсь!

– Чего же ты боишься? ведь я с тобою, – прошептал я, стараясь казаться равнодушным, несмотря на то что и меня давно уже мороз подирал по коже.

Вдруг – и теперь не могу вспомнить без ужаса – в десяти шагах от нас раздался такой отвратительный и нелепый крик, что Машенька присела от страха, да и у меня ноги

подкосились. Этот крик, похожий на безумный хохот, разлился по всей роще, и в то же время что-то серое мелькнуло из-за куста, кровь застыла в моих жилах, а Машенька совсем обеспамятела.

– Не бойтесь, матушка Луиза Карловна, – раздался позади нас голос Бобылева. – Это заяц: они всегда так перекликаются весною.

– Здесь, здесь! – вскричала немка, увидев нас под деревом.

Мой учитель протянул уже руку, чтобы схватить меня за ухо, но положение, в котором мы находились, перепугало и строгих наших наставников: нас подняли, отвели домой, уложили спать и на другой день, дав препорядочную нотацию, оставили без обеда.

«К чему эти ничтожные подробности?» – скажут, может быть, мои читатели. О! Если бы вы знали, как эти мелочи для меня драгоценны! С каким наслаждением, описывая первые впечатления детских лет, я переношусь мыслью в этот *золотой век* моей жизни! Не мешайте мне помолодеть хотя на несколько минут и не гневайтесь на меня, добрые мои читатели! Еще несколько страниц, посвящен-

ных воспоминанию, и я поведу вас вместе со мною в этот премудрый свет, в котором знают, что солнце не ложится спать, что оно почти в полтора миллиона раз более земли, а не знают того, что из всех людей, им освещаемых, одни только дети или те, которые *походят* на детей, могут называться счастливыми. «Следовательно, глупцы счастливее умных? – спросит какой-нибудь обросший бородою *европеец*. – Следовательно, невежество мы должны предпочитать просвещению?» Чтобы отвечать на этот вопрос, надобно прежде знать, каких людей эти господа называют глупцами и что величают просвещением и невежеством? Слова меняют часто свое значение. Было время (но, благодаря бога, не у нас), что кровожадный фанатизм именовали верою, а исполнение кротких евангельских добродетелей – равнодушием к вере и вольнодумством. Давно ли французы называли прихотливую волю нескольких палачей – законом; право осуждать без суда – свободою и каждое христианское чувство – фанатизмом? Давно ли?.. Но об этом поговорим после.

II. ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД

Я уже сказал, что мы оба с Машенькой во-
все не думали о нашем дальнем родстве,
следовательно, и мысль, что она может быть
со временем моей женою, не приходила мне
никогда в голову. Однажды нянюшка ее, вы-
говаривая ей за какую-то резвость, сказал:
«Не стыдно ли вам, сударыня, вы уже невеста!»
«Невеста! – повторил я про себя. – Невеста!
Да неужели Машенька выйдет когда-ни-
будь замуж, будет любить другого больше,
чем меня? О, нет, это невозможно!» Спустя
месяца два после этого, нам случилось быть
на свадьбе у одного деревенского соседа, бед-
ного помещика, который выдавал сестру
свою за нашего уездного заседателя. Я не мог
без досады смотреть на веселый вид брата,
который не скрывал своей радости. «Ах, ка-
кой злодей! – думал я. – Сестра его выходит за-
муж, а он еще радуется!» Когда в церкви, при
начале венчания, жених взял из рук брата
свою невесту, сердце у меня замерло, и я
невольно схватил Машеньку так крепко за
руку, что она чуть было не закричала. «Ах,

сестрица! – шепнул я ей на ухо, – что, если когда-нибудь... Да нет! Тебя-то уж у меня никто не отымет!» Все это нимало не удивляло Машеньку: ей казалось только, что я люблю ее гораздо больше, чем другие братья любят своих сестер. Я и сам не сомневался в этом до тех пор, пока один случай не открыл мне глаз и не развил вполне чувства, которое таилось в душе моей. Вот как это было.

Накануне праздника Петра и Павла, в тот самый день, как мне минуло шестнадцать лет, вошел ко мне поутру Кондратий Бобылев.

– Честь имею поздравить со днем вашего рождения, – сказал он. – Извольте-ка вставать да одеваться, пора к обедне.

Я вскочил с постели.

– Мусью француз захворал, – продолжал Бобылев, – так мне приказано быть при вас. После обедни господа едут в город.

– Так мы с Машенькой останемся одни?

– Никак нет, сударь! Их высокородия берут вас и барышню вместе с собою.

– Как? Мы поедем в город?

– Точно так-с, в город, на ярмарку.

– Возможно ли?.. Мы будем на ярмарке!

– Как тут, сударь, поспеем к самому развалу. Извольте же одеваться! Вон уж трезвонить начали.

Я почти обезумел от радости. «Увидеть город! Быть на ярмарке! Господи боже мой!..» Второпях я раскидал все мое платье, надел наизнанку жилет, повязал на шею вместо галстука носовой платок, наконец при помощи Бобылева кое-как оделся и отправился к обедне. Надобно сказать правду, на этот раз молитва моя была самая грешная, потому что я беспрестанно думал о городе и с нетерпением дожидался конца службы. «Ну, если уедут без меня?» – думал я, стоя как на огне и поглядывая беспрестанно на двери. Когда, отслушав обедню, я воротился домой, завтрак был уже готов и шестиместная линейя, заложенная в восемь лошадей, стояла у крыльца.

Мы отправились. Я сидел подле Машеньки. Как она была хороша в своем белом платье, с распущенными по плечам волнистыми кудрями! Как блистали удовольствием ее любопытные взоры, как всякий неожиданный предмет возбуждал ее простодушную

детскую радость! Сначала мы оба были в восторге: перед нами раскрывался новый, безвестный для нас мир. Вот мы проехали мимо этого глубокого оврага, на дне которого в тени густых деревьев скрывалось несколько крестьянских изб. Предание гласило, что тут был некогда разбойничий притон. В самом деле, странное положение этой деревушки, существование которой и подозревать было невозможно, несмотря на то что она была близехонько от большой дороги, оправдывало это народное поверье. Мы спустились в ложину и оставили позади себя деревянный крест, врытый в самом том месте, где лет двадцать тому назад убило громом тужиловского старосту. Это был крайний предел наших летних прогулок. Разумеется, внимание наше удвоилось, и, несмотря на единообразный вид полей, нам казалось, что все то, что мы видим, несравненно лучше того, к чему пригляделись мы с нашего детства. Вот забелелась вдали частая березовая роща.

– Посмотри, посмотри, братец! – сказала Машенька. – Ах, как хорошо! точно белый дождь!

Около двух часов любопытство наше под-держивалось, но под конец нам стало скучно: одни поля сменялись другими, за одним холмом подымался другой, все те же рощи, перелески, лощины, и только изредка кое-где, вдали от большой дороги, проглядывали, окруженные огородами, деревни.

– Скоро ли мы приедем? – спросила Машенька, зевая. – Что это, маменька, как город-то далеко от нас; едешь, едешь, а все конца нет!

Авдотья Михайловна улыбнулась и молча указала вперед.

– Что это, что это? – закричала Машенька. – Посмотри-ка, братец, звездочка!

Это блистала в лучах полуденного солнца глава соборной церкви нашего губернского города.

Подъехав к крутому спуску, мы вышли все из линей и прошли несколько времени пешком. Когда мы взобрались на противоположный скат, то высокий холм, усыпанный домами, посреди которых подымались кое-где выкрашенные кровли каменных палат, представился нашим взорам.

– Так это-то город? – закричала Машенька, – Как он велик! Сколько в нем домов!.. И в них во всех живут?.. Ах, боже мой!

Я сам обезумел от удивления, смотря на длинную, обставленную высокими домами улицу, которая шла в гору и оканчивалась на вершине холма площадью.

– Фу, батюшки! – шепнул я вполголоса. – Какая громада домов!.. Какие огромные палаты!

– И, сударь! – сказал Бобылев, который шел позади меня. – Да что это за город – так, городишка! Такие ли бывают города. Да и то сказать: один побольше, другой поменьше, а все они на одну стать – налево дома, направо дома, а посередке улица – вот и все тут.

Восторг мой очень уменьшился, когда мы въехали в город. Начиная от самой заставы тянулись два ряда лачужек, одна другой безобразнее.

– Что это? – вскричал я невольным образом. – Да неужели это город?

– Город, душенька! – сказала Авдотья Михайловна. – Эта улица называется Мещанской слободою.

– Город! – повторила Машенька. – Да у нашего старосты Парфена новая изба гораздо лучше этих домов. Ну уж город!

– А вот погодите, милые, выедем на нижний базар, так дома пойдут красивее.

Через несколько минут мы доехали до конца слободы, и перед нами разостлалась огромная базарная площадь, или, лучше сказать, обширный луг, застроенный со всех сторон деревянными домиками, довольно ветхими, но которые имели уже городскую физиономию и, если не величиною, то, по крайней мере, своей наружной формой, отличались от деревенских изб. Почти треть этой площади была покрыта табунами малорослых и некрасивых собою лошадей, посреди них рыскало человек тридцать всадников в безобразных ушастых шапках. Эти наездники махали своими толстыми ногайками, скакали взад и вперед и перекликивались меж собой на каком-то странном языке. Один из них, с отвратительной широкой рожею, погнался при нас за лошадью, которая отделилась от табуна, накинул на шею веревку и, несмотря на то что она становилась на дыбы, била задом и

металась во все стороны, через минуту протасил ее мимо нас.

– Ай да молодец! – сказал Иван Степанович. – Лихо сарканил.

– Что это за люди такие? – спросила Машенька. – Ах, папенька! Какие они страшные!

– Это калмыки, душенька! Они всегда пригоняют к нам на ярмарку целые косяки лошадей. Их что-то очень много – ну, видно, этот раз степные лошади нипочем будут.

Подвигаясь медленно вперед, мы поравнялись с другой частью площади, установленной телегами: сотни возов, нагруженных дугами, циновками, лаптями, деревянной посудой и всякими другими сельскими изделиями, стояли в самом живописном беспорядке. Тут простой народ кишел как в муравейнике: невнятный говор, гам и радостные восклицания сливались с громкими возгласами продавцов и покупателей, которые с ужасным криком торговались меж собою: то били по рукам, то спорили, покупщики *корили* товар, продавцы отвечали им бранью. В одном месте, собравшись в кружок, пировали и веселились крестьяне, сбывшие выгодно свой товар;

В другом – посадские разряженные девушки лакомились орехами, покупали пряники и пели песни; тут оборванный мальчишка дул изо всей силы в хвост глиняной уточке и налаживал плясовую; там мещанский сынок испытывал свое искусство на варгане[8]; в другом углу четверо видных детин играли на дудках, а пятый, закрыв левою рукою ухо и потряхивая своей кудрявой головою, заливался в удалой песне. Вся атмосфера была напитана испарениями свежего сена, полевых цветов, огородных душистых трав и овощей, все было кругом жизнь, движение и праздник.

– Ах, как здесь весело! – закричали мы в один голос с Машенькой. – Так это-то ярмарка?

– Да, милые! – сказала Авдотья Михайловна. – А вон видите – там, где стоит много экипажей, – это ряды.

Через несколько минут мы проехали мимо обширного лубочного здания, или, лучше сказать, нескольких огромных балаганов, выстроенных под одну кровлю. Кто видел московские большие ряды, которые называются

городом, тот может иметь некоторое понятие об этом временном гостином дворе. Он также состоял из крытых улиц и переулков, так же разделялся по качеству продаваемых товаров на ряды суконный, москательный, папский и суровский; точно так же толпился народ по этим крытым улицам, в которых дома заменялись лавками, точно так же вокруг этих рядов не было проезда от тесноты и множества экипажей. Разница состояла только в одной величине и в том, что в Москве ряды не лубочные, а каменные, что свет проникает в них посредством стеклянных сводов, а не сквозь натянутую парусину, и что вместо щегольских столичных карет и колясок, которыми бывает уставлена всякий день Ильинка и Никольская, – кругом лубочных рядов стояли по большей части такие экипажи, каких не встретишь даже и в Москве на гулянье в Марьиной роще, экипажи домашней работы, крепкие, *вальяжные*, долговечные и переходящие по прямой наследственной линии от отца к сыну, вместе с дворянской грамотою и родовым именем.

Миновав ряды, на которые я не успел по-

рядком насмотреться, мы повернули направо в гору, и тут явился перед нами губернский город в полном величии своем и блеске. Мы ехали по Московской улице. Боже мой, что за дома! Каменные, раскрашенные разными красками, с лавками, балконами, с итальянскими окнами, в два и даже три этажа! Что шаг, то новое удивление: вот зеленый дом с красной кровлей и огромными белыми столбами; вот розовые палаты с палевыми обводами около окон; вот дом совершенно пестрый, на воротах голубые львы с золотой гривой – какое великолепие!! Я молча удивлялся, а Машенька осыпала вопросами Авдотью Михайловну.

– Верно, это губернаторский дом? – спросила она, смотря на зеленые палаты с красною кровлею.

– Нет, душенька! Это дом купца Вертлюгина.

– А этот? – продолжала Машенька, указывая на голубых львов с золотыми гривами.

– Купца Лоскутникова.

– А вот этот, который всех выше?

– Купца Грошевникова.

– Купеческие – все купеческие! – вскричал я с удивлением. – Боже мой! Какие же должны быть дома у дворян?

– Деревянные, мой друг! – отвечал с улыбкою Иван Степанович.

– Странно! – подумал я. – Здесь все не так, как у нас в Тужиловке.

Мы въехали наконец на главную городскую площадь. Я не верил глазам своим, смотря на присутственные места, запачканные, с обитой штукатуркой, с выбитыми стеклами и с почерневшей от времени деревянной крышей; но более всего сразил и зарезал меня губернаторский дом. Я воображал его мраморным с золоченою кровлей и, по крайней мере, в пять или шесть этажей, а он был только в два этажа и выкрашен просто – желтой краской! Нет! этого уже я никак не ожидал.

Надобно вам сказать, что преувеличенные понятия мои о звании гражданского губернатора основывались не на одних предположениях; мой опекун был из числа людей, которые строго держатся правила: чин чина да почитает. Он всегда упоминал с особенным уважением о тех, коим русский царь вверяет

управление целой губернии и, следовательно, благосостояние нескольких сот тысяч человек. «Начальник губернии – великое дело! – говаривал часто Иван Степанович. – Он глаз царя и представитель его власти». Однажды, – я был тогда еще ребенком, – губернатор, не знаю по какому случаю, обедал в деревне у моего опекуна; это посещение, о котором много было толков и разговоров во всем нашем уезде, никогда не выйдет из моей памяти. Как теперь гляжу на эту суматоху, на эти приготовления и хлопоты, которые начались в нашем доме с раннего утра. Я был не очень здоров и сидел один в своей комнате на антресолях. За воротами, в мундире и при шпаге, стоял уездный заседатель, плешивый старичок, которого я очень любил за его ласковый и веселый нрав; но на этот раз он показался мне совсем другим человеком: он был и суетлив, и очень важен, держал себя навывтяжку, поминутно поправлял мундир, снимал шляпу и вытирал платком свою лысину; впрочем, заметно было, что он храбрился так для виду, а в самом-то деле робел не шутя. Подле него толпились старики и выборные

экономического селения. Эти седые грешники все были в трезвом виде и стояли с поникнутыми головами, как преступники: видно, гром грянул, так пришло перекреститься. Они слышали не раз, что губернатор

Правдив, как Страшный суд!

а целый свет знал, то есть все экономическое село и наша Тужиловка, что эти старые греховодники опивали порядком бедных крестьян и не давали никому суда и расправы иначе, как в кабаке за ведром вина, за которое, разумеется, не они платили деньги целовальнику. Вот, этак около полудня, зазвенел вдали колокольчик, через минуту забрызганный грязью капитан- исправник примчался на тройке обывательских к нашему крыльцу. Выборные отвесили ему вдогонку по низкому поклону, а заседатель кинулся, чтобы помочь своему начальнику выпрыгнуть из телеги, но не поспел: исправник, вылезая, зацепил второпях за колесо ногою, грянулся оземь и, лежа еще на боку, прокричал: «Его превосходительство изволит ехать!» Все пришло в движение: слуги бросились толпою к воротам,

опекун мой вышел на крыльцо, и вся наша дворня, женщины, девки и даже малые ребяташки, – высыпали из застольной и людских, чтоб взглянуть, хотя мельком, на губернатора. Вот показалась его карета; помнится, позади ее стояли гусары, а впереди скакали двое казаков. Когда губернаторский экипаж приблизился к воротам, плешивый заседатель до того вытянулся, что вдруг стал целой головой выше обыкновенного; старики и выборные преклонили свои грешные головы ниже пояса, а самый-то главный из них, беззаконник и пьяница, сотник Вавила, *пал* на колени и прослезился от умиления. Капитан-исправник отворил дверцы кареты, я высунулся до половины из моего окна, но никак не мог рассмотреть хорошенько губернатора, а заметил только, что у него преогромный нос. Этот торжественный прием, подобострастие и почет, который оказывали губернатору, любопытство, с которым все желали его видеть, а более всего необычайный страх и трепет заседателя и выборных сильно подействовали на мое детское воображение; мне казалось, что начальник губернии должен быть существом

совершенно особенного рода, и хотя я не мог в уме своем облекать всех знаменитых людей в образ нашего губернатора, потому что рассмотрел только его нос, но зато во мне укоренилась и долго не могла истребиться мысль, что каждый сановник должен быть непременно с большим носом.

Объяснив читателям причину моего удивления при виде двухэтажного губернаторского дома, я возвращаюсь снова к начатому рассказу.

Выехав на городскую площадь, мы тотчас повернули направо, и наша линия остановилась у крыльца большого деревянного дома, выкрашенного серой краской. Тут жил приятель Ивана Степановича, наш губернский предводитель, Алексей Андреевич Двинский. Мой опекун всегда у него останавливался, когда приезжал в город. Этот Двинский стоит того, чтоб я сказал о нем несколько слов. Он был видный собою и бодрый старик лет шестидесяти; человек справедливый, исполненный чести и готовый всегда и во всяком случае стать грудью за последнего дворянина своей губернии. Отличительной чертою его

характера было необычайное добродушие, с некоторой примесью спеси, или, лучше сказать, чванства родового дворянина, у которого две тысячи душ крестьян, псовая охота, хор певчих и огромная роговая музыка, но эта слабость была в нем извинительна, он с таким простосердечием хвастался своим древним родом и богатыми поместьями, что, право, грешно бы было не только на него досадовать, но даже посмеяться, над его невинным чванством. Во всем городе один только Григорий Иванович Рукавицына, самый богатый помещик нашей губернии, не любил Двинского, – вероятно, потому, что видел в нем своего единственного соперника по богатству и открытому образу жизни. Этот Григорий Иванович Рукавицын не щадил ничего, чтобы уронить Двинского в общем мнении: давал чаще его обеды, вечера и наконец завел даже домашний театр, на котором играли – вы, верно, думаете: «Недоросля» или «Бобыля?»[9] Извините! «Дианино древо»[10] и «Редкую вещь». К нему ездил весь город, все дивились его Илюшке, который пел фистулою, и отдавали полную справедливость Ду-

няше, которая заливалась соловьем в бравурных ариях, но, несмотря на то, когда наступали дворянские выборы, Рукавицыну наклали черных шаров, а Двинского избрали единогласно губернским предводителем.

До открытия губерний Алексей Андреевич Двинский был воеводой в одном небольшом городке, потом, во время Пугачева, которого отдельные шайки возмущали народ и долго злодействовали в нашей губернии, он командовал небольшим отрядом улан. Чтоб это не сочли анахронизмом, я должен сказать, что так назывались в то время летучие конные отряды, составленные по большей части из дворовых людей. Так как в нашей стране все не было тогда регулярного войска, то некоторые из богатых помещиков должны были прибегнуть к этому средству, чтоб приостановить хотя на время успехи пугачевской сволочи и держать в повиновении крестьян. Двинский оправдал вполне доверенность своих товарищей: он сделался в короткое время грозою мятежников, его строгая справедливость и удалство вошли в пословицу и одно имя наводило робость не только на бунтую-

щих крестьян, но даже и на самых казаков шайки Пугачева. Не раз случалось, что появление его с несколькими уланами усмиряло целые селения. Я очень любил слушать, когда он рассказывал о своих партизанских подвигах; помню, однажды при мне, говоря, по своему обыкновению, протяжно и выговаривая все слова на о. Двинский рассказал один случай, который доказывает, как сильно действует на наш простой народ имя человека, известного своим удальством и справедливостью. «Это было так, под вечер, – говорил он. – Я стоял по ею сторону Суры, а на той высыпало из села сотни две бунтовщиков. Вот кричат из-за реки: «Алексей Андреич, покорись!» – «Не покорюсь вам, злодеи!» – «Эй, Алексей, сдайся! Худо будет!» – «Не сдамся вам, разбойники! Пойдите, пойдите – вот я вас!» Со мной было всего-навсего человек пять улан, – да что тут думать – смелым бог владеет! бух прямо в реку, вплавь. Лишь только я выбрался с моими уланами на берег, да паф из пистолета. Эге! Гляжу, мужички-то мои и оробели. «Кто против нашей матушки встает? Говори!» – зыкнул я во все горло – они

всем миром и бряк на колени. «Виноваты, батюшка Алексей Андреевич! Глупость наша такая – помилуй!» – «Вот я вас помилую!.. Пойдите-ка, пойдите! Есть ли у вас большой сарай на господском дворе?» – «Есть, кормилец». – «Так сберитесь же туда все от мала до велика и держите себя под караулом – слышите?» – «Слышим, батюшка». – «Мне некогда с вами возиться, надобно еще у соседей ваших побывать. Завтра опять к вам буду» – «Слышим-ста, батюшка! Только помилуй!» – «А вот посмотрю, утро вечера мудренее. Кого надо повесить – повешу, кого помиловать – помилую. Ну, что ж, стали! Ступай, говорят, да у меня смотри – караулить себя хорошенько» – «Ста нем караулить, родимый!» – «Ну, то-то же! Ждите меня завтра чем свет». – «Будем-ста ждать, батюшка, только по милуй!»

– Я воротился к ним на другой день, – продолжал Алексей Андреевич: – Смотрю: у сарая стоит часовая с дубиной Я подъехал, караульный снял шапку, поклонился в пояс и сказал мне: «Здравствуй, батюшка Алексей Андреевич!» А там вдруг как крикнет: «Кто иде?» «Командир!» Вот он вытащил запор, от-

ворил ворота, я вошел, и что ж вы думаете? Гляжу, вся вотчина поголовно сидит в сарае.

Алексей Андреевич Двинский был в свое время человек довольно ученый, то есть он любил читать, знал почти наизусть Роллена, Иосифа Флавия и Квинта Курция[11], имел некоторые понятия о науке, так, как понимали ее у нас лет семьдесят тому назад. Надобно сказать правду, он употреблял иногда во зло свою ученость и подчас слишком щеголял ею. Имена знаменитых людей, а в особенности древних философов, поминутно были у него на языке. Разумеется, почти все дворяне нашей губернии преклоняли с благоговением свои главы пред его глубокой ученостью, исключая, однако ж, губернатора, который, несмотря на близкое свое родство с Алексеем Андреевичем, беспрестанно спорил и часто сбивал вовсе своими простодушными вопросами. Наш губернатор был человек неученый, всю жизнь служил в военной службе и, как говорится, был честен *по булату*. Конечно, и его иногда обманывал секретарь, но зато если он замечал где-нибудь упущения по службе или открывал нечаянно какое-нибудь злоупо-

требление, то подымал такой штурм, что не только присутствующие в нижних инстанциях, но и в высших местах месяца по два сряду дрожкой дрожали и ходили все по струнке. Доступ к нему был вовсе не тяжел, он принимал просьбы ото всех, говорил сам с последним мещанином, да только вот что было худо: если проситель изъяснялся не толковито или говорил слишком протяжно, то он отсылал его к секретарю или просто выталкивал вон из своего кабинета. Сестра его, Марья Степановна, жена Алексея Андреевича Двинского, слыла предоброю старушкою, не пропускала ни одной службы, помогала бедным, любила знать все, что делается в городе, и, сверх того, была большая мастерица раскладывать гранпасьянс и считать года всех невест, которые позасиделись в девках.

Алексей Андреевич Двинский встретил нас в гостиной, эта комната поразила меня своим роскошным убранством. Огромная хрустальная люстра, под зеркалами на подстольниках жирандоли[12], убранные также граненым хрусталем, по стенам *масляные* картины в золоченых рамах, наклейные столы, кресла

и канапе[13], обитые полосатым штофом[14], – все это показалось мне чрезвычайно великолепным. Хозяин обнял с искреннею радостью моего опекуна и потрепал меня ласково по щеке, а супруга его расцеловалась с Авдотьей Михайловной и Машенькой. На канапе сидел какой-то гость с большим носом, в широком сюртуке с звездою. Он также встретил ласковым словом Ивана Степановича, который поклонился ему весьма почтительно и стал величать превосходительством, по всем этим приметам мне нетрудно было узнать в нем губернатора. Признаюсь, я очень оробел сначала, но как поосмотрелся и заметил, что он точно такой же человек, как и все другие, то стал посмелее, придвинулся поближе к хозяину, который о чем-то с ним спорил, и стал вслушиваться в их разговор.

– Да полно, братец, из пустого в порожнее переливать, – говорил губернатор, набивая свой огромный нос табаком. – Знал бы я наказ нашей матушки Екатерины Алексеевны, регламент Петра Первого, отчасти уложение царя Алексея Михайловича да правил бы губернию честно, добросовестно и со всяким опасе-

нием – так вот тебе и вся наука! На что мне ваши финты-фанты да всякие ученые премудрости! Я, брат, за них и гроша не дам.

– И не давай, любезный! – сказал с усмешкою Двинский. – Ведь наука не что другое, она не всякому впрок идет, и премудрый Сократ говорил однажды своему ученику Платону...[15]

– Уж как ты мне надоел с этим Сократом, – прервал губернатор. – Наладил одно: Сократ да Сократ! И что он был за человек такой?

– Афинский гражданин, любезный!

– Только-то? Гражданин – то есть, по-нашему, мещанин? Невелика птица! Посмотрели бы мы его премудрости, если б он был гражданским губернатором! Тут, брат, и не мещанин затылок у себя зачешет. Эка важность: «премудрый Сократ!..» Видали мы этих Сократов!

– Едва ли, любезный! Ты книг не читаешь, так вряд ли когда-нибудь с ним встретишься – хе, хе, хе!

– Да что в книгах-то проку? Вот ты третьего дня втер насильно мне в руки эту – как бишь, ее зовут?.. Прах ее возьми!..

– «Грациан – придворный человек»[16].

– Да, да! Ну, уж книга! Черт знает что в ней напечатано! В толк не возьмешь!

– Хе, хе, хе! Что любезный, не про нас, видно, писано? А не худо бы тебе прочесть со вниманием регулу[17] шестьдесят первую о том, как мы должны преуспевать в изрядствах.

– Читай, брат, сам по субботам.

– Ну, а прочел ли ты мою книгу о семи мирах?

– Черт ее возьми! И какое мне до них дело?

– Какое? Эх, ваше превосходительство! Плох тот человек, говорит Марк Аврелий[18], который не знает, по чему он ходит и что его покрывает.

– Да кто же этого не знает? Известное дело: мы все ходим по земле, а над нами небо.

– Да на небе-то что?

– Мало ли что: солнце, месяц, звезды.

– А звезды-то что такое?

– Как что такое?.. Ну, звезды, да и все тут.

– Нет не все! Не знаешь, так я тебе скажу. Звезды небесные такие же миры, как и наш.

– Смотри, пожалуй! Ах ты, мудрец, мудрец!

Видишь, что выдумал! Полно, брат, рассказывай другим!

– Я тебе говорю.

– Да что ты, там был, что ль?

– Не был, да знаю.

– Миры! Хороши миры по маковому зернышку!

– Так нам отсюда кажется, а в самом деле они более нашей земли и, вероятно, служат жилищем для разумных тварей. Статься может, там есть такие же умные губернаторы, как ты, и такие же глупые коллежские советники, как я, – хе, хе, хе!

– Эку дичь порет! Да разве тебе не случилось видеть, что звезды-то с неба падают?

– Случалось, любезный!

– Так отчего же до сих пор ни одного губернатора или коллежского советника оттуда не свалилось и ни одна звезда никаких бед не наделала? Да если б они были не только с нашу землю, а вот хоть с наш губернский город, так уж, верно б, много народу передавили.

– То-то и есть, любезный! Ученье – свет, а неученье – тьма. Ты, сердечный, и этого не знаешь, что звезды, которые падают на зем-

лю, не те, которых мы видим на тверди небесной.

– Так что ж это за звезды такие?

Этот вопрос, и в наше время не вовсе еще решенный, казалось, очень затруднил Двинского. Он наморщил лоб, понюхал медленно табаку и сказал:

– Ты хочешь знать, что это за звезды такие?

– Ну да!

– Вот изволишь видеть, любезный! Эти падающие звезды не то, что звезды неподвижные.

– А какие же?

– Какие! Ну, разумеется, особые, отличные, то есть – пойми меня хорошенько – они, сиречь эти звезды, не то что звезды, а так сказать, подобие звезд.

– Да что ж они такое?

– Экий ты, братец, какой! Ведь я тебе толком говорю, те звезды сами по себе, а эти сами по себе. Звезда звезде не указ, любезный!

– Да не о том речь! Ты мне скажи, что это за звезды, которые падают?.. А?.. Что?.. Видно, ученость-то твоя в тупик стала?

– Да что с тобой говорить! – сказал с приметной досадой Двинский. – Ведь это для тебя халдейская грамота[19], любезный! Недаром сказано: не рассыпайте бисера...

– Спасибо, друг сердечный! Вот к кому применил!

– Не погневайтесь! Так к слову пришлось.

Я не мог дослушать этот ученый диспут, потому что меня отвели во флигель, где я скинул дорожное платье и нарядился в свой коричневый фрак. Потом, часу в шестом после обеда, заложили опять нашу линию, и мы все вместе отправились на сборное место целого города, то есть в лубочные ряды на ярмарку.

III. ЯРМАРКА

Верно, вам случалось не раз слушать с досадою, по-видимому, совершенно несправедливые жалобы стариков на все то, что мы называем *улучшением*; не смейтесь над ними, не осуждайте их! Неужели в самом деле вы думаете, что старик – если он не совсем еще выжил из ума – не понимает, что каменный, удобный и красивый дом лучше каких-нибудь деревянных неуклюжих хором, что хорошо вымощенная и опрятная площадь несравненно приличнее для всякого города, чем грязный луг, по которому и весной и осенью вовсе нет проезда, что ехать в почтовой спокойной карете по гладкому шоссе во сто раз приятнее, чем скакать в тряской кибитке по бревенчатой мостовой или изрытой колеями дороге, поверьте, он это все и видит, и чувствует, и понимает, – почему же он почти всегда предпочитает дурное старое хорошему новому? Почему? На это отвечать нетрудно – послушайте!

Один из моих столичных знакомых, который был с ребячества искренним приятелем

и воспитывался вместе с деревенским моим соседом Волгиным, прошлого года приехал из Петербурга нарочно для того, чтоб с ним повидаться. Он заехал по дороге ко мне, на ту пору был у меня в гостях сын Волгина, молодец лет двадцати, писанный красавец. Я тотчас их познакомил, и, когда этот молодой человек объявил приезжему, что он месяц тому назад похоронил своего отца, мой столичный приятель залился слезами.

– Вот был человек! – говорил он, всхлипывая. – Перевелись такие люди! А молодец-то был какой!

– Полно, так ли, любезный? – сказал я, когда молодой Волгин вышел из комнаты. – Покойник был некрасив собою – вот сын его, так нечего сказать...

– Да, да! Конечно, сын хорош, а отец был еще лучше.

– Что ты, помилуй! У него все лицо было изрыто оспою.

– Да, это правда: мы с ним занемогли в одно время, меня бог помиловал, а его, бедняжку, больно злодейка изуродовала. Боже мой! Как мы с ним обрадовались, когда, продержав

нас месяца два взаперти, выпустили в первый раз из комнаты. Уже то-то мы набегались досыта! С ног сбили нашего дядьку Прохора, а пуще Волгин – куда легок был на ногу!

– Неужели? Да ведь он всю жизнь свою хромал!

– Да, да, прихрамывал! Ему не было еще и шести лет, как он переломил себе ногу, мы лезли с ним через забор, он как-то сорвался, упал неловко, и с тех пор... Ах ты господи боже мой! Как вспомню: какие мы были проказники! Бывало, я на любое дерево взбегу как по лестнице, няня меня ищет, а я-то сижу себе на суку да кричу кукушкою. Преживой был ребенок!

– Мне помнится также, – продолжал я, – у покойника был нос на сторону?

– Правда, правда! Да ведь это к нему очень шло! Бывало, он станет нам корчить гримасы: рот на одну сторону, нос на другую, так мы все и попрем со смеху! Линский начнет его передразнивать, Мурашкин также... Бог мой!.. Все померли! А люди-то какие были – люди!

– Не спорю, любезный! Только как же твой друг Волгин, с рябым лицом, хромой ногой и

кривым носом был лучше своего сына, первого молодца и красавца во всей нашей губернии?

Приятель мой задумался, покачал печально головою и, пожав мне крепко руку, сказал:

– Да, мой друг! Волгин, на мои глаза, был лучше всех нынешних красавцев, его лицо напоминало бы мне самые блаженные годы моей жизни. Ты – дело другое: ты не вырос с ним вместе, при встрече с ним не оживились бы в твоей памяти все детские радости, все счастье юношеских лет, когда свет нам кажется прекрасным, надежда верным, неизменным другом, а все люди братьями. Если бы я его увидел, то помолодел бы тридцатью годами, пустился бы бежать с тобою взапуски! Вместо его я увидел сына, и меня опять пригнуло к земле, все прошедшее как будто бы не бывало, а без него худо нашему брату старику. Настоящее хоть брось, а будущее... Ах, мой друг, мой друг! Ты еще не стар, а мне скоро восемьдесят стукнет. Нет! воля твоя, хорош сын, а отец был гораздо лучше!

Я думал почти то же самое, когда спустя лет тридцать попал нечаянно на эту годовую

ярмарку нашего губернского города. С какою детскою радостью торопился я воскресить в душе своей все прежние впечатления, как встрепенулось мое сердце от удовольствия, когда лакей, притворив дверцы кареты, закричал: «Пошел на ярмарку!» Подъезжаю – и что же?.. Боже мой! Какое превращение! Вместо лубочных балаганов и лавок, удрапированных рогожками, у которых была такая праздничная, веселая наружность, – пречопорный гостиный двор, раскрашенный, обитый тесом, и даже – о господи! ожидал ли я такого несчастья! – выстроенный по плану и с наблюдением всех правил изящной архитектуры! Куда девался этот упоительный запах сырых лубков и свежих циновок? Где эти дождевые лужи, около которых так осторожно и подбирая свои платица обходили наши городские барыни? На каждом шагу такие улучшения, везде такая чистота и опрятность, такое благочинье! Нет ни суматохи, ни тесноты, ну, словом, все так чинно, так прекрасно и так скучно, что я чуть– чуть не заплакал с горя! «Хорошо, – думал я, прохаживаясь по широким рядам.

Что и говорить – хорошо! Да эти щеголеватые ряды мне ничего не напоминают. Это уж не та ярмарка, на которой я так веселился, та сгубла и пропала вместе с моею молодостью! Та была просто годово́й праздник, на котором в лубочных временных балаганах веселились без причуд, нараспашку, а теперь – боже мой! изящное здание с колоннами! Ну что тут будешь делать? Хочешь – не хочешь, а надевай вместо полевого кафтана фрак или модный сюртук! Нет, прежняя ярмарка была гораздо лучше!»

Попытаюсь описать ее.

Я уж сказал моим читателям, что мы, отобедав у Алексея Андреевича Двинского, отправились всей семьей на ярмарку. И теперь еще не могу вспомнить без восторга и радостного замирания сердца о том, как мы подъехали к рядам, как вышли из нашей линей, как глазам моим представилась эта бесконечная перспектива слабо освещенных лавок, которые, вместе с многолюдной толпой народа, терялись вдали в каком-то заманчивом сумраке. Когда мы вошли в одну из главных улиц этих ярмарочных биваков, голова моя

закружилась и стало рябить в глазах. Я не знал, на что смотреть: тут лавочки наполнены серебряною посудой и образами в золоченых окладах, там тульский магазин с блестящими стальными изделиями, подле целые горы граненого хрусталя, вот люстра огромнее и лучше той, которая поразила меня в доме Алексея Андреевича Двинского. «Боже мой, боже мой! – шептал я, протирая глаза. – Нет! Такого богатства и роскоши я в жизни своей не видывал!.. Да это все стоит миллионов! Боже мой, боже мой!» Пройдя шагов сто, мы остановились подле одной угольной лавки с дамскими товарами. Авдотья Михайловна и Машенька стали торговать разные шелковые материи, Иван Степанович отправился покупать себе енотовую шубу, а я, оправясь немного от первого изумления, начал расхаживать взад и вперед по рядам, чтоб людей посмотреть и себя показать. На мне была пуховая круглая шляпа, которую с месяц тому назад брат моего опекуна, проезжая из Москвы в Саратов, подарил мне на память. Эта шляпа с высокой тульей и тремя ленточками, из которых каждая застегивалась особой се-

ребряной пряжкой, была, по словам его, самой последней моды. Я обновил ее для ярмарки и, признаюсь, думал, что народ будет останавливаться и смотреть на эту щегольскую шляпу, что, может быть, многие станут говорить: «Посмотрите, какая шляпа! Сколько пряжек!.. Кто этот молодой человек в такой модной шляпе?» Вот я себе хожу да посматриваю: не взглянет ли кто-нибудь? Никто! Как я ни старался выказать свою шляпу: то надевал ее набекрень, то закидывал назад – все напрасно! никто не удостоил ее ни одним взглядом, и когда я встретил человек десять точно в таких же шляпах и даже одного, у которого вся тулья снизу доверху была опутана ленточками и унижена пряжками, то поневоле смирился и почувствовал всю ничтожность суеты и гордости мирской. Видя, что нет никакой пользы себя показывать, я решил смотреть на других. Прислонясь к одной лавке, я стоял с полчаса, не меняя места, и глядел с удивлением на эту пеструю и многолюдную толпу гуляющих. «Откуда набралось столько народа? – думал я. – Господи боже мой! И это все господа!» Они встречались,

здоровались, обнимались, хвастались своими покупками и рассказывали друг другу всякие новости. Несколько расфранченных молодых людей, в сюртуках с петлицами, в венгерках, в модных фраках с узенькими фалдочками и высокими лифами, увивались около дам, они такими молодцами подходили к барышням, так ловко потчевали их шепталою[20], финиками и разными другими сладостями, отпускали такие замысловатые комплименты с примесью французских слов, что я не мог смотреть на них без зависти. Почти все молодые барыни и барышни сидели рядышком по прилавкам, к явному прискорбию купцов, которым не оставалось места, где бы они могли показывать покупателям свои товары. Я узнал впоследствии, что этот обычай приезжать в ряды для того только, чтоб сидеть по нескольку часов сряду на прилавках, не всегда имеет своей целью одно препровождение времени, для иных зрелых девушек он служил – как бы это сказать повежливее? – он служил каким-то иносказательным возвещением, что и они, наравне с другими товарами, ожидают покупателей. Эта выставка невест в

прежних лубочных рядах была очень выгодна для девиц, которые имеют причины показывать себя в полусвете. Я заметил также, что, чем дурнее была какая-нибудь барышня, тем более отыскивалось у нее приятельниц, которые старались наперерыв сидеть с нею рядом. Слабый свет и безобразная соседка удивительно как помогают очарованию туалета, при этих двух средствах обольщения приятная наружность становится пленительною, а тридцатилетняя красавица превращается в ребенка.

Я забыл сказать, что мой опекун, отправляясь вместе с нами на ярмарку, отдал в полное мое распоряжение синенькую ассигнацию [21] и рубля два мелким серебром. Сначала, развлеченный новостью предметов, которые на каждое шагу возбуждали мое удивление и любопытство, я совершенно позабыл об этом важном обстоятельстве. Наглядевшись досыта на толпы гуляющих и лавки, наполненные дорогими товарами, я обратил наконец внимание на разбросанные посреди рядов небольшие лавочки, или шкапы с разными мелочными товарами. Я остановился подле

одного из них: перочинные ножички различных форм, красные туалетцы с зеркалами, точеные игольники, рулетки, сафьяновые бумажники с прибором, готовальни, духи и сотни других безделушек обворожили меня своим разнообразием и приманчивой наружностью, я пожирал их глазами. «Боже мой! – прошептал я невольным образом. – Что, если б у меня было шереметьевское богатство! Я купил бы все эти вещи разом, разложил бы у себя на столе и любовался бы ими с утра до вечера. Э! Да что ж я, в самом деле? Ведь у меня есть деньги – куплю хоть что-нибудь!» Вот, собравшись с духом, я решился наконец спросить купца о цене некоторых из его товаров. Мы скоро поладили, и надобно видеть, как важно и с какою гордостью я вынул мою казну и отсчитал деньги, когда в первый раз в жизни, сам, лично своей особою сторговал и купил костяной волчок, роговой тупейный гребешок и банку московской жасминной помады, – не правда ли, вас это удивляет? *Молодой человек*, которому минуло уже шестнадцать лет, покупает для своей забавы волчок! Да! Теперь это было бы очень удивительно,

но лет сорок тому назад шестнадцатилетнего мальчика называли еще ребенком, а молодой восемнадцатилетний человек не считал себя ни законодателем вкуса, ни публицистом, ни глубоким *мыслителем*, не старался, без всякого призвания, разыгрывать роли русского Канта, Окена или Шлегеля[22] и ни в каком случае не стыдился быть молодым и уважать заслуги старых людей. Кто не знает наизусть нашего русского родного поэта, который сказал:

*Все идет чредой определенной
Смешон и ветреный старик.
Смешон и юноша степенный... —
[23]*

и кто не согласится со мною, что последний стих, к несчастью, вовсе не выражает дух нашего времени. Молодые люди – юноши девятнадцатого столетия! Поверьте старику, который, несмотря на то что принадлежит к прошедшему веку, не менее вашего ненавидит невежество и радуется успехам просвещения, – не торопитесь жить, оставайтесь подолее детьми! Зачем весною украшать ваше юное чело поблекшими цветами осени? Она

придет, злодейка зима! Не бойтесь – придет! Засыплет вас своим холодным снегом, заморозит ваше воображение, убьет всю силу души и, прежде чем вы успеете оглянуться с горем на прошедшее, накроет вас навеки своим белым саваном.

Истратив на эту покупку не более половины моей казны, я решился на остальные деньги купить знаменитый роман Дюкредюмениля[24] «Яшенька и Жоржета», о котором слышал чудеса от одного из наших соседей. Книжная лавка была в двух шагах, но около нее толпилось так много покупателей, что я должен был минут десять дожидаться моей очереди. В то самое время, как я подошел к прилавку, передо мною раздался голос дядьки моего Бобылева.

– Хозяин! – проревел он своим густым басом. – Есть у тебя арихметика с числами? – Купец подал ему небольшую книжку. – Это не та! – сказал Бобылев, взглянув на заглавный лист. Книгопродавец подал ему другую. – И это не та! Ты дай мне настоящую!

– Да какую же тебе надобно арифметику? – спросил с нетерпением книгопродавец.

– Вестимо какую! Дай мне арихметику, которая начинается вот так: «Вначале бог сотворил небо и землю».

– Такой нет.

– Как нет! Я сам видел у нашего попа Егора, в красной обертке, первая страничка позама-рана.

– Добро, добро! Пошел прочь от лавки! Не до тебя!

– Тише, тише, барин! Что ты? Говорят тебе, пошел прочь!

– Эй, любезный! – закричал громким голо-сом дюжий помещик в немецком одноборт-ном кафтане и плисовых сапогах. – Есть у те-бя Радклиф?[25]

– Есть, сударь! Какой роман прикажете?

– Какой? Ведь я тебе сказал, Радклиф.

– Да что, сударь? «Лес» или «Сенклерское Аббатство»?

– Лес? Какой лес? Нет, кажется, жена не так говорила.

– «Итальянец», «Грасвильское Аббатство».

– Нет, любезный, нет!.. Что-то не так.

– «Удольфские тайнства»?

– Та-та-та! Их-то и надобно! Давай сюда!

– Есть у вас – «Дети Аббатства?» – пропищал тоненький голосок.

– Послушайте! – сказала молодая дама с томными голубыми глазами. – Пожалуйста мне «Мальчика у ручья» г<осподина> Коцебу [26] и «Бианку Капеллу» Мейснера [27].

– Что последняя цена «Моим безделкам»? [28] – спросил, пришептывая, растрепанный фронт, у которого виднелась только верхушка головы, а остальная часть лица утопала в толстом галстуке.

– Позвольте, позвольте! – прохрипел, расталкивая направо и налево толпу покупателей, небольшого роста краснолицый и круглый, как шар, весельчак, в плисовом полевом чекмене и кожаном картузе. – Здорово, приятель! – продолжал он, продравшись к прилавку. – Ну что? Как торг идет?

– Слава богу, сударь!

– А знаешь ли, братец? Ведь я хочу с тобой ругаться.

– За что-с?

– Что ты мне третьего дня продал за книги такие? «Житие Клевеланда» [29], я думал и бог знает что, ан вышло дрянь, скука смертная:

какие-то острова да пещеры, гиль[30], да и только! Вот вчера, спасибо, друг потешил, продал книжку! Сегодня я читал ее вместе с женою – так и помирали со смеху, ну уж этот Совестьдрал Большой Нос![31] Ах, черт возьми – какие бодряги корчит! Продувной малый!

– Да-с, книга веселая-с!

– Дай-ка мне, братец! Говорят, также больно хороша «Странные приключения русского дворянина Димитрия Мунгушкина»[32].

Наконец пришел и мой черед.

– Пожалуйста мне роман Дюкредюмениля «Яшенька и Жоржета», – сказал я робким голосом книгопродавцу

Он снял с полки несколько книг и подал мне «Ай, ай! четыре тома! Уж верно, они стоят, по крайней мере, рублей восемь, а у меня не осталось и четырех рублей в кармане, я спросил о цене.

– Десять рублей!

– Можно их немножко просмотреть? – сказал я, заикаясь.

– Сколько вам угодно! – отвечал вежливый книгопродавец.

Я взял первый том, уселся на прилавке

подле большой связки книг и начал читать. Через несколько минут пять или шесть барынь расположились на том же прилавке подле меня. Я мог слышать их разговор, но огромная кipa книг, которая нас разделяла, мешала им меня видеть, углубясь в чтение моей книги, я не обращал сначала никакого внимания на их болтовню, но под конец имена Авдотьи Михайловны и Машеньки так часто стали повторяться, что я нехотя начал прислушиваться к речам моих соседок.

– Да! – говорила одна из дам. – Эта Машенька Белозерская – девочка хорошенькая, неловка – это правда, но она еще дитя.

– Дитя! – подхватила другая барыня. – Помилуйте! Она с меня ростом! Я думаю, ей, по крайней мере, пятнадцать лет.

– Нет! Не более тринадцати.

– Так зачем же ее так одевают? Как смешна эта Авдотья Михайловна! Навешала на свою дочку золотых цепочек, распустила ей по плечам репантиры и таскается за ней сама в ситцевом платье, ну точно гувернантка! Да что она? Не ищет ли уж ей жениха?

– Как это можно! Ребенок! Да, кажется, им

это и не нужно.

– А что?

– Так! Авдотья Михайловна смотрит смиренницей, а хитра, бог с нею.

– Да что такое?

– А вот извольте видеть: у них воспитывается сирота!..

– Уж не этот ли мальчик, лет шестнадцати, который ходил с ними сейчас по рядам?

– Да, тот самый.

– У него приятная наружность.

– И восемьсот душ.

– Вот что!

– Они живут безвыездно в деревне – соседей почти нет... Всегда одна да одна в глазах... Теперь понемножку свыкнутся, а там как подрастут...

– Понимаю!.. Ай да Авдотья Михайловна!.. Восемьсот душ!.. Ни отца, ни матери!.. Да это такая партия, что я лучшей бы не желала и для моей Катеньки.

«Что эти барыни? – подумал я, – с ума, что ль, сошли? Да разве я могу жениться на Машеньке?»

– Пойдите-ка, пойдите? – заговорила ба-

рыня, которая не принимала еще участия в разговоре. – Что вы больно проворны! Тотчас и помолвили и обвенчали – погодите! Ведь этот сирота, кажется, близкий родственник Белозерским.

– Кто это вам сказал? – возразила одна из прежних дам. – Да знаете ли вы, как они родня? Дедушка этого сироты был внучатым братом отцу Ивана Степановича Белозерского.

– Вот что! Так они в самом дальнем родстве?

– Да! Немного подалее, чем ваша племянница, Марья Алексеевна, была до свадьбы с теперешним своим мужем Андреем Федоровичем Ижорским, а если не ошибаюсь, так для этой свадьбы вам не нужно было просить архиерейского разрешения.

– Смотри, пожалуй! Ну, Белозерские! Как ловко они умели все это смаскировать. Сиротка! Племянник, матушка! А у сиротки – то восемьсот душ, а племянник – то в двенадцатом колене! Умны, что и говорить – умны!

– Да ну их совсем! Какое нам до них дело?

– Какое дело? Помилуйте! Да это сущий

разврат, мальчик взрослый, девочка также почти невеста, чужие меж собой – и допустить такое обращение!.. А все интерес! Посмотришь на них: точно родные брат и сестра. Я сама видела – целуются... фуй, какая гадость!

– И, матушка Анна Лукьяновна! Венец все прикроет!.. Да что мы здесь уселись? Пойдемте-ка лучше в галантерейный ряд, здесь бог знает что за народ ходит.

Соседки мои, продолжая меж собой разговаривать, пошли прочь от книжной лавки, и я остался один. Как теперь помню, какое странное впечатление произвело на меня это неожиданное открытие: первое ощущение вовсе не походило на радость, я испугался, сердце мое сжалось, слезы готовы были брызнуть из глаз. «Я не брат Машеньке, мы почти не родня! Боже мой!.. Но я могу на ней жениться, мы вечно будем вместе, она не выйдет замуж за какого-нибудь чужого человека – этот злодей не увезет ее за тридевять земель... не станет требовать, чтобы она любила его более меня... Нет! Тогда уж никто нас не разлучит?..» Все эти мысли закипели в го-

лове моей, заволновали кровь в жилах, овладели душою, все понятия мои перемешались, прошедшее, настоящее, будущее – все слилось в какую-то неясную идею о неизъяснимом счастье, о возможности этого счастья, и в то же время страх, которого я описать не могу, это безотчетное чувство боязни при виде благополучия, которое превосходит все наши ожидания, которому и верить мы не смеем, обдало меня с ног до головы холодом. Я держал книгу по-прежнему перед собою, перевертывал листы, глаза мои перебегали от одной строчки к другой, но я ничего не понимал, ничего не видел, все слова казались мне наизусть, и, чтоб найти смысл в самой обыкновенной фразе, я перечитывал ее по нескольку раз сряду.

– Ну что, сударь! – спросил меня купец. – нравятся ли вам эти книжки?

– Очень, – ответил я, не смея поднять кверху глаза.

– Прикажете завернуть?

– Нет-с! Теперь не надо. Возьмите ее. Боже мой! Как жарко!

– Нет, кажется, здесь довольно прохладно!

– Не знаю, а мне что-то очень душно.

– Здравствуй, братец! – раздался подле меня пленительный голос Машеньки. – А мы уж тебя искали, искали!

Я спрыгнул с прилавка, Машенька взяла меня за руку и наклонилась, чтоб поцеловать в щеку. Я вспыхнул и отскочил назад.

– Что это такое? – вскричала с удивлением Машенька. – Что ты, братец?

– Ничего, Машенька, ничего!

– Да что ж это значит?

– Молчи, пожалуйста! – сказал я вполголоса. – Я все тебе расскажу.

– Что вы это? Уж не ссоритесь ли? – спросила Авдотья Михайловна, рассматривая полный месяцеслов, который лежал на прилавке.

– Не знаю, маменька, братец что-то...

– Замолчи, бога ради! – шепнул я, дернув за руку Машеньку.

– А! Вы все здесь? – сказал Иван Степанович, подойдя к нам с двумя помещиками, из которых один был близким нашим соседом. – Вы, барыни, ступайте домой в линею, а мы пойдем теперь на конную, ты, Саша, – продолжал он, обращаясь ко мне, – охотник до лоша-

дей, пойдем вместе с нами.

– А как же вы домой? – спросила Авдотья Михайловна.

– Пешком, матушка!

– Таковую даль!

– Ох вы барыни, барыни! Вам все страшно. Эка даль: версты полторы! Добро, добро! Ступайте с богом а мы уж дойдем как-нибудь. Да где ваши люди? Егор – здесь, а Филька где?

– Ушел куда-то.

– Ну так и есть! Верно, в кабаке.

– Нет, Иван Степанович! Он нынче не пьет, а так, зазевался где-нибудь, да мы доедем и с одним человеком.

– Хорошо, хорошо! Ступайте же!

Иван Степанович посадил в линею жену и дочь, а сам вместе со мною и двумя своими приятелями отправился пешком на конную. Мы ходили уже около часу по площади, пересмотрели лошадей пятьдесят, и мне под конец сделалось бы очень скучно, тем более что я горел нетерпением переговорить с Машенькой, если б меня не забавляли время от времени разные ярмарочные сцены, в которых особенно отличались цыгане. Надобно было

видеть, с каким искусством эти природные барышники надували русских мужичков, несмотря на их сметливость и догадку. При мне один цыган продал крестьянину кривую лошадь, он так проворно повертывал ее здоровым глазом к мужику, так кстати подхлестывал кнутом и заставлял становиться на дыбы, когда покупатель заходил с слабой стороны, что ему не удалось ни разу взглянуть на дурной глаз. Другие цыгане стояли кругом и кричали во все горло: «Экий конь, экий конь! Эва, грудь-то какая! Вали смело сто пудов на телегу! А ноги-то, ноги! Вовсе бабок нет!.. Всем взяла!.. Богатый конь!.. Редкостная лошадь...» Мужичок вытащил из-за пазухи свою мошну, да, на его счастье, какой-то мещанин вклепался в эту лошадь, привел полицейского, и цыган вынужден был, в доказательство своей невинности, объявить, что у его клячи на правом глазу бельмо, тогда как, по словам мещанина, украденная лошадь была со здоровыми глазами.

Иван Степанович, не найдя себе по нраву коня, собирался уже домой, как вдруг подошел к нам Александр Андреевич Двинский.

– Здравствуйте, господа! – сказал он. – Пойдемте-ка, я вас потешу русской забавою. Вот тут на площади кулачный бой, стена на стену, здешние посадские – против фабричных и дворовых.

– Не люблю я этой забавы! – сказал мой опекун. – Ну что хорошего? Стравят людей, как собак, тот без глаз, у того рыло на сторону – за что?

– Экий ты, братец, какой! Да в том-то и есть наше русское удалство: сам без ребра, да зато и у другого зубов во рту не осталось. Нет! Люблю эту потеху, и у древних римлян были подобные забавы, да еще почище нашего: их гладиаторы бились не на живот, а на смерть.

– Да что в этом хорошего?

– А вот попробуй посмотри, так, может статья, у самого разыграется кровь молодецкая. Пойдем-ка, пойдем!

Мы вышли на простор, и перед нами открылась часть площади, на которой стояли одна против другой две густые толпы народа, в каждой было человек по пятидесяти, с открытыми головами и в больших кожаных ру-

кавицах. Посреди этих двух противных сторон дюжины две мальчишек, как застрельщики перед колоннами, дрались врассыпную, таскали себя за волосы и тузили друг друга без всякого милосердия, многие из них были уже с разбитыми носами и ревели в неточный голос. Понемногу от каждой стены стали отделяться бойцы покрупнее, в разных местах завязались отдельные единоборства, мальчишки рассыпались врозь, и через несколько минут началась общая свалка.

– Ай да фабричные! – вскричал Двинский. – Ай да дворовые! Как они душат посадских! Смотри-ка, смотри! Кто это впереди?.. Так варом всех и варит!.. Ну, молодец!.. Эге! Как он их лущить начал!.. Экий чудо-богатырь! Смотри, смотри!.. Словно снопы, так и валяются!

– Что это? – сказал Иван Степанович. – Да это, никак, Филька.

В самом деле, этот отличный боец был тот самый слуга, которого отсутствие заметил мой опекун, отправляя Авдотью Михайловну домой.

– Ну, так и есть! – продолжал Иван Степа-

нович, – Точно Филька! Эка бестия!.. Опять месяц проходит с подбитыми глазами! Вот я его, каналью!

– Что ты, любезный? – вскричал Алексей Андреевич Двинский. – Да этот Филька у тебя хват детина! Гляди, какой сокол – так и бьет с налету!.. Ну!!! Сломали, погнали посадских!.. Конец! Не долго же они держались, видно, калачника Бычурина с ними нет: тот постоял бы за себя.

Алексей Андреевич сел на свои беговые дрожки, а мы отправились пешком; завернули по дороге напиться чаю к одному старинному приятелю моего опекуна, и когда пришли наконец домой, то первый предмет, который кинулся нам в глаза в передней, был изорванный, избитый и растерзанный Филька. Он стоял, однако же, довольно бодро перед хозяином дома, который расспрашивал его о всех подробностях кулачного боя.

– Как ты смел, негодяй!.. – сказал мой опекун, бросив грозный взгляд на знаменитого бойца, у которого все лицо было на сторону.

– Полно, братец! – прервал Двинский. – Не тронь его! Ну! – продолжал он, обращаясь к

Фильке. – Так ты с первого раза сбил с ног Антона-кузнеца?.. Молодец! Эй, дайте-ка ему чарку вина!

– Пошел, дурак! – закричал Иван Степанович. – Примочи чем-нибудь свою рожу! На что похож? Образа нет человеческого! Животное!

– Пойдем, пойдем! – сказал Двинский. – Я велю отпустить ему склянку живой воды: помочит денька два-три, так все затянет.

– Что это, Филипп? Как тебя разбили? – сказал я, приостановясь на минуту и смотря с ужасом на изуродованное лицо Фильки.

– Эх, сударь, не удалось бы этим посадским заглянуть мне в харю, кабы сам не сплоховал.

– Да что ж ты сделал?

– Куражился больно, сударь! Как посадские побежали, так я вошел в такой азарт, что свету Божьего невзвидел. Наша стена давно-давным остановилась, а я вдогонку, один, ну-ка подбирать остальных, благо руки расходились – щелк да щелк! То того, то другого – люблю, да и только! Глядь назад, ахти! Один как перст! Смотрю – все ко мне! Ну, беда! Вот я, не будучи глуп, и бряк оземь да и кричу: «Ша-

баш, ребята! Лежачего не бьют!» – «Да мы лежачего бить не станем! – сказал какой-то мужчина аршин трех росту, которому я вдогонку шею-то путем наkostenялял. – Эй, ребята, сюда!» Вот человек пять уцепились за меня, подняли молодца на ноги, приставили к забору, да ну-ка обрабатывать! Ах ты господи! Небо с овчинку показалось! Катали, катали! Насилу вырвался!

– Бедняжка! Как они тебе лицо-то избили.

– И, сударь, рожа ничего, заживет! А вот под бока-то они мне насовали, черти! Вздохнуть нельзя!

Я вошел в гостиную. Авдотья Михайловна играла с хозяйкою в пикет, Двинский схватился с моим опекуном в шахматы, а Машенька сидела, надувшись, поодаль от всех. Когда глаза ее встретились с моими, она отворотилась и взяла в руки книгу, которая лежала на окне.

IV. ДОМАШНИЙ ТЕАТР ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА РУКАВИЦЫНА

Я думаю, ни о чем не было так много писано и говорено, как об этом чувстве, которое мы называем любовью, – а что такое любовь? Все прочие душевные свойства: дружба, милосердие, благодарность, сострадание, – имеют какой-то определительный смысл, но любовь? Любит ли мать своих детей, когда готова броситься за них в огонь и в воду? Любит ли жена мужа, когда, потеряв его, зачахнет с горя и сойдет вслед за ним в могилу? Любит ли брат сестру, когда идет стреляться в трех шагах с человеком, который осмелился оскорбить ее? Любили ли свое отечество Минин и Пожарский, готовясь с радостью положить за него свои головы? Любил ли свое создание, теперешнюю Россию, великий Петр, этот гигант и телом и душою, когда под Прутом, окруженный со всех сторон в несколько раз сильнеешим врагом, он написал сенату не признавать его царем и государем и не исполнять его собственноручных указов, если он попадет в плен к неприятелю? Всякий со-

гласится, что все эти различные *виды* любви, доведенной до высочайшей степени, любовь к отечеству, любовь матери к детям, брата к сестре и, наконец, тревожная, пламенная страсть любовника к той, которую выбрало его сердце, выражаются всегда одним и тем же: беспредельным и безусловным самоотвержением и, несмотря на это сходство, не имеют ничего общего между собою. Лишать себя всех удовольствий для минутной прихоти другого, жертвовать для благополучия его благом собственной своей жизни и не видеть в этом никакой жертвы – одним словом, быть совершенно счастливым не своим, а его счастьем, – мне кажется, больше этого любить не можно? Я точно так любил Машеньку, называя ее сестрою, теперь, когда узнал, что мы почти чужие, что она может выйти за меня замуж, я не стал любить ее более прежнего – это было невозможно, но чувствовал, что люблю ее совсем иначе. За несколько часов я почти не замечал, что Машенька прекрасна, а теперь не мог смотреть на нее без восторга. Бывало, я обращался с нею так свободно, поверял ей все, что приходило мне в голову,

или, лучше сказать, не говорил с нею, а мыслил вслух, теперь я вдруг стал застенчив и робел перед нею, ну, право, более, чем перед самим губернатором! Минут десять собирался я с духом и не мог решиться заговорить с нею, наконец подошел и спросил робким голосом, что она читает?

– Календарь, – отвечала Машенька, продолжая перебирать листы.

– Приятное занятие.

– Что ж делать, когда другого нет. Мы оба замолчали.

– Машенька! – шепнул я, взяв ее за руку, – Ты на меня сердишься?

– Конечно, сержусь. Зачем в рядах вы не хотели меня поцеловать?

Вы! Странное дело, до моей прогулки на ярмарку, это вы разогорчило и разобидело бы меня до смерти, а теперь – не знаю почему – это переменное словцо вы показалось мне даже приятным.

– Послушай, Машенька, – сказал я, – ты напрасно на меня сердишься, как можно нам целовать друг друга: мы уже не дети.

– Так что ж?

– Это неприлично.

– Неприлично!.. Да разве я тебе не сестра?

– Нет, Машенька.

– Ну, конечно, не родная, но, мне кажется, двоюродные сестры целуют своих братьев.

– Да кто тебе сказал, что мы двоюродные?

– Ах боже мой! Да какие же?

– Мы почти совсем не родня с тобою.

– Не родня! – повторила Машенька, и я чуть не вскричал от ужаса: в ее розовых щеках не осталось ни кровинки, губы посинели, а рука, которую я держал в моей руке, вдруг сделалась холодна как лед. – Не родня! – продолжала она еле слышным голосом. – Ах, братец, как ты испугал меня! Ну можно ли так глупо шутить.

– Успокойся, Машенька! – сказал я. – Да и чего ты испугалась? Ну да, конечно, мы не родня, я могу на тебе жениться, а ты можешь выйти за меня замуж.

Машенька вздрогнула, ее бледные щеки запылали, она вырвала из моей руки свою руку и почти в то же самое время, протянув ее опять, сказала с улыбкой:

– Теперь я вижу, братец, ты шутишь.

– Право, не шучу.

– Да полно, перестань.

– Клянусь тебе, это правда.

– Какой вздор, и как тебе пришло в голову...

– Не мне, Машенька, я об этом никогда не думал.

– Так с чего же ты взял?..

– А вот послушай!

Тут я пересказал ей слово в слово разговор, который так нечаянно подслушал на ярмарке. Машенька задумалась.

– Нет! – сказала она после минутного молчания. – Это быть не может, ты, верно, ошибся. Послушай, братец, хочешь ли, я спрошу об этом у маменьки?

– И ты думаешь, она скажет тебе правду?

– А почему же нет?

– Да если нам до сих пор никогда не говорили об этом, так, верно, и теперь не скажут. Может быть, на это есть причины, которых мы не знаем.

– Да, да, в самом деле!.. А кто были эти дамы?

– Я уже говорил тебе, что когда они сидели

на прилавке, так мне за кучею книг нельзя было их видеть.

– Знаешь ли что? Мне кажется, они тебя заметили и хотели посмеяться над тобою.

– Да если я их не видел, так и они не могли меня видеть.

– Не приметил ли ты, по крайней мере, как они были одеты?

– Да!.. Я очень об этом думал!.. Однако ж, постой! Так точно!.. На одной из них был чепчик с розовыми лентами и голубыми цветами.

– Это Анна Саввична Лидина! – вскричала Машенька. – Я познакомилась и очень подружилась с ее дочерью... О! Феничка мне все скажет! Я попрошу ее, чтоб она спросила свою маменьку, правда ли, что мы не родня, и ты увидишь, братец... Погоди, погоди!.. Ах, как легко тебя одурачить!

Машенька очень развеселилась, беспрестанно говорила мне:

– Так вы, сударь, хотите на мне жениться? – и умирала со смеху.

– Тьфу ты, благодарствуй! И вторую проиграл! – вскричал Двинский, оттолкнув с доса-

дою шахматную доску. – Ну! Или ты, Иван Степанович, понаторел у себя в деревне, или я больно плохо стал играть. Однако ж не пора ли вам, барыни, одеваться? – продолжал он, взглянув на своего эликота[33]. – Без пяти минут семь! Авдотья Михайловна! Ведь вы, кажется, также со всем семейством приглашены сегодня в театр к Григорию Ивановичу Рукавицыну?

– Да, он просил нас – и в театр, и в вокзал! – отвечала Авдотья Михайловна.

– Так ступайте же, наряжайтесь! В семь часов к нему весь город съедется.

– Мы последние два короля доиграем завтра, – сказала хозяйка, вставая.

Через полчаса мы отправились к Григорию Ивановичу Рукавицыну. Его деревянный дом, один из лучших в Дворянской улице, занимал с своим садом, двором и всеми принадлежностями почти целый квартал. Когда мы вошли, то перед нами открылась бесконечная амфилада низких комнат, не убранных, а, лучше сказать, заваленных различной мебелью. Народу было множество, и мы едва могли добраться до хозяина, который в угольной,

обитой китайскими обоями, комнате, принимал гостей. Мы только что успели с ним раскланяться, как он, подав с низким поклоном руку губернаторше, пригласил всех идти за собою в мезонин, в котором устроен был театр. Господи! Какая началась давка, а особенно по узкой лестнице, когда все гости бросились толпою вслед за хозяином. Губернаторшу и дам пустили вперед, но зато мужчины стеснились так в дверях театра, что у председателя уголовной палаты оборвали на фраке все пуговицы, а одного советника губернского правления совсем сбили с ног и до того растрепали, что он должен был уехать домой. Наконец кое-как все гости вошли в театр и разместились по лавочкам. Разумеется, я попал на самую заднюю. С одной стороны подле меня пыхтел толстый помещик в замасленном кафтане, с отвислым подбородком, раздутыми щеками и преогромной лысиною. Он беспрестанно протягивал чрез меня свою толстую лапу и нюхал табак у другого моего соседа, маленького человечка, тщедушного, с длинным острым носом и лицом, которое с профиля походило почти на равносторонний

треугольник. Если вам случилось видеть ученых чижей или канареек, одетых по-человечески, то вы можете себе составить довольно верную идею об этом господине, который, к довершению сходства, прятал в толстый галстук свою бороду и, выставляя наружу один нос, не говорил, а пищал каким-то птичьим голосом.

Не имея никакого понятия о театре, я смотрел с большим любопытством на сцену и на опущенный занавес, на котором написано было что-то похожее на облака или горы, посреди них стоял, помнится, на одной ноге, но только не журавль, однако ж и не человек, а, вероятно, Аполлон[34], потому что у него в руке была лира. Пока музыканты играли увертюру, между моими соседями завязался разговор.

– Осмелюсь спросить, – сказал с расстановкою плешивый толстяк, – какую комедию будут представлять сегодня?

– Оперу «Свадьба Волдырева»[35], – отвечал почти с присвистом мой чижик-сосед.

– Так-с!.. Позвольте понюхать табачку... А после ничего уж не будет?

– Как же! Дуняша будет петь арию из оперы «Прекрасная Арсена»[36].

– Так-с!.. Смею спросить: скоро начнут?

– А вот как перестанут играть музыканты.

– Так-с!.. «Свадьба Волдырева»... говорят, что это шутка очень забавная?

– Да!

Это «да!» сказано было немного в нос с таким важным голосом, что, несмотря на мою неопытность, я тотчас догадался, что сосед мой из ученых.

– Если хотите, – продолжал он, повертывая свою золотую табакерку между средним и большим пальцами левой руки, – это так – безделка! Впрочем, она написана изрядно, очень изрядно, автор ее – господин Лёвшин [37], человек с талантом.

– Господин Лёвшин?.. Смею спросить: не тот ли это Лёвшин, который сочинил книгу о поваренном искусстве и выдал в печать полного винокура?

– Тот самый. Человек известный, с дарованием.

– Да-с! Умный человек, с большим рассуждением. Весьма занимательна его книга под

названием: «Календарь поваренного огорода» – очень занимательна!.. Позвольте табачку!.. А смею спросить...

– Пойдите – начинают.

Занавес поднялся. В продолжение всей оперы я не сводил глаз с актеров, а особенно с того, который представлял Волдырева. Я был очарован его игрою, – и подлинно, он, по выражению толстого моего соседа, отпускал такие отличные *коленцы*, что все зрители помирали со смеху. Когда в пятом явлении Волдырев, воображая, что госпожа Прельщалова в него влюблена, запел:

*Пушу к ней ласки,
Прищурю глазки
И бровью поведу... —*

то поднял правую бровь на целый вершок выше левой и начал ею пошевеливать с таким неописанным искусством и быстротою, что вся публика ахнула от удивления. Но все это не могло сравниться с той сценою, в которой Волдырев изъясняется в любви своей. Я не мог понять, да и теперь еще не понимаю, – как может человек искривить до такой степе-

ни лицо. Боже мой! Какой поднялся хохот, когда он, в пылу своей страсти, закричал как бешеный: «О, сладчайший сахар! Отложи стыдение, не лишай меня своего снисходительства! Я возгорелся, аки смоленая свеча, и вся утроба моя подвиглася!» При этих словах толстая утроба моего соседа, который давно уже крепился, вдруг заколебалась, он прыснул, поперхнулся и, вместо того чтобы засмеяться по-человечески, принялся визжать, как собачонка, которую секут розгами, и что ж вы думаете? Даже этот странный хохот не обратил на себя внимания публики – так все были увлечены прекрасной игрою Волдырева.

Впрочем, надобно сказать правду, сначала подгадил немного актер, представлявший роль Лоботряса. Он, как видно, хлебнул через край и не успел еще порядком выпаться. В первой сцене пьяница совсем забыл свою роль, начал кривляться, занес околесную и перепутал всех остальных актеров, потом, вместо того чтоб запеть свою арию, затянул что-то из другой оперы, разумеется, от этого вышла маленькая разноголосица: он пел одно, оркестр играл другое, и хотя многие из го-

стей этого не заметили, но хозяин тотчас догадался, что дело идет неладно, вскочил с своего места и побежал вон. Лишь только пьяненький артист сошел со сцены, раздалось громкое рукоплескание, но только не в зале театра, а за кулисами, минуты две продолжалось непрерывное: хлоп, хлоп, хлоп! И когда Лоботряс явился опять на сцену, то, несмотря на то что щеки его были еще краснее прежнего, он стал, к удивлению всех зрителей, говорить как человек совершенно трезвый и запел отлично-хорошо. После этой небольшой *оказии* опера пошла как по маслу, с каждым явлением увеличивался общий восторг публики, и, когда в конце пьесы все актеры, обращаясь к Волдыреву, запели в один голос:

*Увенчались желанья,
Прекратились вздыханья,
И недаром был здесь рев
Обвенчался Волдырев,*

во всем театре поднялся действительно рев: «Браво!.. Отлично, хорошо!.. Чудесно!» Я не смел кричать вместе с другими, но зато отбил себе ладони и под шумок стучал ногами изо всей мочи. Занавес опустился!

– Уф, батюшки, ох, смерть моя! – бормотал мой толстый сосед, придерживая руками свое чрево, которое все еще продолжало колыхаться. – Ну, комедия!.. Животики надорвал!.. А уж этот Волдырев – ах он проклятый!.. Как его корбило! Какие шутки выкидывал!.. Ну, актер! Славно играет!

– Да! – пропищал мой другой сосед. – Ванька Щелкунов был весьма хорош в роли Волдырева, с талантом, точно, с талантом!.. И мимик хороший!.. Заметили ли вы, какая у него игра в бровях?

– Да-с, да-с!.. Большая игра в бровях!.. Одолжите табаку!

– Прошу покорно!.. Да, сударь, малый с талантом, и декламировка весьма хорошая, – каждую запятую слышно.

– Так-с, так-с! Действительно отличные замашки!

– Да и Матреша в роли Прельщаловой себя не уронила – как вы думаете?

– Да-с, нечего сказать, поддержала себя.

– Играет с чувством.

– С большим чувством, и все ухватки самые деликатные!.. А что, осмелюсь спросить,

вы изволите быть и в Петербурге и в Москве – что, как тамошние актеры против здешних?

Тщедушный мой сосед поправил галстук, то есть дотянул его почти до самого носа, и, повертев несколько времени между пальцев свою табакерку, сказал:

– Вы хотите знать?.. Да!.. Конечно, актеры столичные... кто и говорит! Однако ж если взять в рассуждение, то при знаться должно и, как станешь разбирать строго – так бог знает!.. Не то чтоб я хотел сказать... О, нет! напротив, в столицах актеры отличные...

– Так-с!

– И если говорить правду, так я вам доложу, что, конечно, с одной стороны так! Да зато с другой – нет! Далеко!.. То есть не в рассуждении чего другого – а как бы вам сказать?.. Есть что-то такое... оно, если хотите, вздор, мелочь – а важно, очень важно!

– Так-с! так-с!

– Я не выдаю себя знатоком, но, по крайней мере, это мое мнение... Прикажите табачку.

– Благодарю покорно!

– А! Вот уж и занавес поднимают!.. Послу-

шаемте Дуняшу!..

Я слышал в мой век много европейских певиц, было время, что я с ангельским терпением высиживал целые итальянские оперы, кричал вместе с другими «браво!..» и не зевал даже во время речитативов, от которых да избавит господь бог всякого честного человека, но сколько я ни старался уверить себя и других, что мне очень весело, что я наслаждаюсь, – а дожил до старости, сохранив в душе моей непреодолимое отвращение ко всякой итальянской музыке. Вебер, Мейербер, Герольд, Обер[38] для меня понятны, они постигли этот неземной язык, этот язык звуков, который выражает и буйную страсть, и кроткое спокойствие души, и горе, и радость, и усладительное пение жителей небесных, и стоны падших ангелов: я слушаю их с восторгом, но лишь только услышу звуки итальянской музыки, лишь только эти оперные салтомортали, эти бездушные подражания инструментам, эти бесконечные рулады раздадутся в ушах моих, со мной делается тоска, меня клонит сон, и я готов бежать на край света, чтоб только не слышать классического

мяуканья музыкальных машин, которые, бог знает почему, называют себя актерами. Если господа дилетанты, сиречь записные любители итальянского пения, прогневаются на меня за такое неуважение к *искусству*, то я попрошу их излить всю желчь свою не на меня, а на Дуняшу, примадонну домашнего театра господина Рукавицына. Всем известно, что первые впечатления несравненно сильнее действуют на нас, чем последующие, а я в первый раз в жизни слышал итальянскую бравурную арию в доме Григория Ивановича и уверен, что эта ария была основной причиной моей вечной и непримиримой ненависти к итальянской музыке. Негодная девчонка так визжала, делала такие дурацкие трели, так глупо подлаживала под флейту – одним словом, так трудилась и работала, что мне сделалось тошно, и я, глядя на нее, измучился и устал до смерти. С тех пор эта окаянная певица преследует меня как призрак. Я помню, когда слушал в первый раз знаменитую Каталани[39] и начинал уже понемногу приходить в восторг, вдруг вместе с одной рулядою – мерзкая Дуняшка оживилась в моем во-

ображении, стала передо мною, как тень отца перед Гамлетом[40], затянула свою бравурную арию, и все очарование мое исчезло.

Когда занавес опять опустился и гости стали выбираться из театра, мой тщедушный сосед, оборотясь к толстому, спросил:

– Ну что, сударь, каково?

– Кажется хорошо, хитро только больно!

– Хитро! Да ведь это не что другое: не «При долинушке стояла», не «Выйду я на реченьку» – ария, сударь, ария!

– Так-с, так-с! Одолжите табачку!

– А каково спела?

– Что и говорить – соловьиный голос!

– Не о голосе речь – метода, сударь, метода!

Итальянская манера, черт возьми.

– Так-с, так-с!

Я вышел с остальными гостями из театра, спустился по крутой лестнице вниз и вслед за толпою очутился на дворе. Вдали, за решетчатым забором, мелькали огоньки, весь обширный сад Григория Ивановича Рукавицына был освещен. Прямая дорожка, обсаженная с обеих сторон подстриженными деревьями, вела к большой ярко освещенной беседке, за

которой чернелась густая березовая роща. Сначала все гости рассыпались по саду, а потом, когда загремела большая музыка, собрались в беседку. Не видав никогда регулярных садов, я не мог довольно налюбоваться на эти зеленые стены из живых деревьев, на эти обделанные пирамидами елки и обстриженные липы, которые стояли как будто бы в шагах, – все это казалось мне прекрасным, но более всего мне нравились крытые аллеи, слабо освещенные разноцветными фонарями, – их таинственный сумрак, эта длинная перспектива зеленых и красных фонарей, которые походили на огромные изумруды и яхонты, эта свежесть и прохлада под зелеными сводами сросшихся деревьев, – все приводило меня в восторг. Обойдя весь сад, я вошел наконец в беседку. Тут ожидало меня новое и никогда не виданное мною зрелище: пышный бал во всем своем губернском блеске, во всей провинциальной роскоши, со всеми претензиями, чиновпочитанием, чванством, злословием и сплетнями, без которых в нашем губернском городе, не знаю теперь, а в старину и праздник был не в праздник, и бал не в бал.

Когда я вошел в беседку, круглый польский уже кончился и начался длинный. В первой паре Рукавицын, по праву хозяина, танцевал с губернаторшею, во второй губернатор с вице-губернаторшею, в третьей вице-губернатор с женою губернского предводителя, и так далее, сохраняя с величайшей точностью постепенность, основанную на табели о рангах. Заметьте также, что я не говорю – такой-то вел такую-то в длинно-польском, а употребляю слово: «танцевал», потому что хозяин, губернатор и почти все первые пары шли не просто, а выступали мерно, в такт и выделяли ногами особенное *па*, которое походило несколько на менуэтное. В задних парах молодые люди не придерживались этой старины и так же, как теперь, не танцевали, а шли обыкновенным шагом. Когда польский кончился, все почетные дамы, старушки и пожилые барыни уселись рядом вдоль стены, хозяин захопал в ладоши, и музыканты грянули матрадур[41]. Так как мужчин было гораздо менее, чем дам, то многие из них, в том числе и Машенька с своей приятельницей Феничкой Лидиной, не участвовали в первом матра-

дуре. Не смея пускаться в танцы, я приютился подле двух пожилых дам, которые сидели поодаль от других, одна из них, закутанная в черную турецкую шаль, не спускала глаз с танцующих и только изредка обращалась к своей соседке, коротенькой, краснощекой и отменно живой барыне, в гродетуровом платье с отливом[42] и лиловом дымковом чепце. Эта барыня была в непрерывном движении, вертелась во все стороны на своем стуле и болтала без умолку.

– Посмотрите, Елена Власьевна, – говорила она, указывая на одну девицу, которая танцевала с драгунским офицером. – Опять с ним!.. Третьего дня на бале у губернатора он танцевал с ней два раза сряду... Срам, да и только! И чего смотрит дура мать?.. Вчера в рядах уж он с ней перебивал, перебивал! И все вполголоса шу-шу да шу-шу!.. А она-то, моя голубушка, кобянится, ломается!.. Ну, так и вешается к нему на шею! Помилуйте, что это? Я запретила моей Вареньке и близко к ней подходить... Батюшки!.. Антон Антонович танцует!.. Не прошло шести недель, как умерла его внучатная тетка, а он пускается в танцы! Хорош мо-

лодец!.. А еще человек естимованный! – Что это?.. Никак, Феничка Лидина осталась без кавалера? – Ну! видно, все узнали, что ее дядюшка, этот жидомор Сундуков, женился на своей крепостной девке и отдал ей все свое имение. Бывало, около этой Фенички проходу нет от кавалеров, а теперь... То-то же! Смекнули, что родового не много!.. Батюшки мои!.. Что это за фигура? В белом платье с розовой отделкой... не знаете ли, Елена Власьевна?.. Вот, что теперь танцует вместе с вашей дочерью?..

– Не знаю, матушка.

– Видно, приезжая... Отцы вы мои!.. Что за прыгунья такая?.. Да она какая-то шальная!.. Смотрите, смотрите, как подняла ногу!.. Ах, мой создатель!.. Ну, вот прошу возить дочерей по балам!.. Насмотрятся!.. Слава богу, что моей Вареньки здесь нет!

– В самом деле! Зачем вы не привезли ее с собою?

– Занемогла, матушка, простудилась на бале у губернатора, да как и не простудиться в этом проклятом доме? Везде сквозной ветер, ни одно окно не притворяется – хуже всякого

хлева... А уж угощение-то было какое мизерное! Что за лимонад, что за оршат!.. «Батюшки, дайте квасу!..» И того нет!.. За ужином подали нам стерлядку четверти в две... да, да! Не больше, у меня глаз верен – не ошибусь! А там галантир[43] из баранины, хоть ничего в рот не бери!..

Злословие производило на меня всегда одинаковое действие с итальянской музыкой: со мною сделалась тоска, я ушел на другой конец залы, забился в угол и начал смотреть оттуда то на Машеньку, которая перешептывалась с своей приятельницей Феничкой Лидиной, то на ловких кавалеров, которые рисовались предо мною в блестящем матрадуре, из числа последних отличался один молодой человек, лет двадцати пяти, в вишневом фраке, у которого талия была почти под самым воротником. Он выворачивал так мудрено свои руки и выделял такие важные штуки ногами, что нельзя было смотреть на него без удивления. Мой тщедушный театральный сосед прыгал также изо всей мочи, и все остальные кавалеры – надобно сказать правду – танцевали весьма усердно и

добросовестно, выключая одного франта лет тридцати. Это был приезжий из Москвы. Я заметил, что почти все танцующие смотрели на него с какою-то завистью и недоброжелательством, что, впрочем, было весьма и естественно: этот приезжий явным образом оскорблял их самолюбие: он имел вид рассеянный, едва отвечал на вопросы, танцевал как будто нехотя и с каким-то пренебрежением, а сверх того, был в очках и в таком модном фраке, что совершенно уничтожал всех наших губернских фашионабелей[44]. Представьте себе: спинка его светло-синего фрака была вся цельная – в ней не было ни одного шва! И этот наглец как будто бы нарочно повертывался ко всем спиною. Вот как кончился матрадур, около вишневого фрака столпилось человек десять молодежи, он рассказывал им что-то с большим жаром и потом, заметив, что приезжий в очках вышел из беседки, побежал вслед за ним, я также отправился в сад подышать свежим воздухом и выждать, как Машенька пойдет гулять, чтоб спросить ее, узнала ли она от своей приятельницы Лидиной всю правду о нашем дальнем родстве. Судьбе не угодно было

разрешить на этот вечер мое сомнение, совершенно неожиданный случай заставил нас уехать из вокзала гораздо прежде, чем мы думали, и сделал меня свидетелем одной из тех *бальных* историй, которые так часто начинаются и почти всегда так миролюбиво оканчиваются в наших благословенных провинциях.

Пройдя раза два по средней аллее, я присел на дерновую скамью, за большим кустом сирени, почти у самого входа в беседку. Не прошло пяти минут, как вдруг двое мужчин подошли к тому месту, где я сидел. Один из них был вишневый фрак, а другой – приезжий в очках, последний остановился и, обращаясь к вишневому фраку, сказал:

– Позвольте вас спросить, чего вы от меня хотите?.. Вот уж четверть часа как вы все ходите за мною.

Вишневый фрак поправил жабо, застегнулся на все пуговицы и отвечал толстым голосом, который, впрочем, казался вовсе ненатуральным:

– Милостивый государь!.. Государь мой!.. Я должен... мы должны...

– Ну, сударь!

- Нам должно объясниться.
- Объясниться? В чем?
- Вы меня обидели.
- Я вас обидел? Чем, если смею спросить?
- Вы танцевали матрадур.
- Да, танцевал – так что ж?
- И два раза сряду не вертелись с моей да-
мою.
- Неужели?
- Да, сударь, да! Два раза сряду!
- Если я это сделал, так уж, верно, нечаян-
но.
- Это, сударь, так не пройдет.
- Уверяю вас, я не имел никакого намере-
ния, и прошу вас извинить меня перед вашей
дамою.
- Извинить! Да что мне из вашего извине-
ния шубу, что ль, шить?
- Помилуйте, зачем? Теперь жарко.
- Да вы еще, кажется, шутите?
- Смею ли я!
- Я, сударь, не позволю никому играть у се-
бя на носу. Вы приехали из столицы, так ду-
маете, что можете манкировать нашим да-
мам.

– Я уже вам сказал... впрочем, если вы считаете себя обиженным...

– Да, сударь! Я этого так не оставлю... я с вами разделаюсь!..

– Как вам угодно! Пожалуйте ко мне завтра, часу в седьмом поутру.

– К вам?.. Ни за что не поеду.

– Так скажите мне, где вы сами живете.

– Где я живу? Вот еще! Ни за что не скажу.

– Ах, батюшки! – вскричал приезжий. – Вот забавно! Так чего же вы от меня хотите?

– Чего? Я вам покажу, сударь, чего!

– Так показывайте скорее, мне, право, становится скучно.

– Я еще поговорю с вами!

– Очень хорошо, только прошу вас теперь оставить меня в покое.

– Ни за что не оставлю.

– Тьфу, черт возьми! Да что ж это значит?..
Послушайте, сударь, вы мне надоели!

– Эка важность! Надоел!

– Вы, сударь, глупы!

– Что, что?..

– Я по-русски тебе говорю: ты глуп!

– Как! Ругаться?.. Да как смеешь? Ну-ка, по-

пробуй еще!

– Животное!

– Ну-ка еще!

– Дурак, с которым я и слов терять не хочу! – сказал приезжий, повернув в боковую аллею.

– Ага! – закричал ему вдогонку вишневый фрак. – То-то же!.. Видишь, пряткий какой! Надел очки да фрак с цельной спинкой, так и думает... Нет, брат, у нас не много выторгуешь!

Из беседки выбежал молодой человек, в белых лайковых перчатках и, как теперь помню, в атласной жилетке gris de lin amour sans fin[45] с розовой шалью и перламутровыми пуговками, он подошел к вишневому фраку и спросил вполголоса:

– Ну, что?

– Да так, ничего! Отделал порядком!

– В самом деле? Как же ты это?..

– А так! Догнал его, остановил...

– Ну!

– Да вдруг, не с того слова: «Государь мой, вы меня обидели!»

– Нет?..

– Видит бог, так! Он извиняется: «Я, – говорит, – нечаянно». А я говорю: «Знать этого не хочу!» Вот он было и расхорохорился – да нет! шутишь! Не на того напал! Он слово, а я два!

– Неужели?

– Как бог свят!.. «Чего же вы хотите? Что вам угодно?» А я ему тотчас: «Не позволю у себя на носу играть!» – да и пошел, и пошел!

– А он-то что?

– Да что, зафинтил, заегозил, и туда и сюда, а я-то себе так и режу!

– Ай да молодец!

– Уж он вертелся, вертелся! Видит что дело-то плохо, да и давай бог ноги!

– Подлец!.. Послушай! Ты сделал свое дело, а мы сделаем свое. Я уж со всеми переговорил: Пыхтеев, Бурсаков, Антон Антоныч, Алексей Фурсиков, Гриша – все согласились, когда этот московский фронт станет танцевать, не вертеться с его дамою.

– Славно, братец, славно!

– Мы поубавим его спеси!

– Да, да! Прошколим его порядком!

– Пойдем же скорее!.. Надобно подговорить Егора Семеновича – он на это молодец: пер-

вый начнет!

Эти господа пошли в беседку, и я также из любопытства отправился вслед за ними. В полминуты весть об этом бальном заговоре разлилась по всему обществу. Барыня в лиловом чепце так и бегала из одного конца зала в другой.

– Слышали ли вы, матушка Марья Тихоновна, – сказала она пожилой даме, которая сидела у самых дверей беседки, – знаете ли, что затеяла наша молодежь?

– А что такое, мать моя?

– Сговорились осрамить этого приезжего московского кавалера и сделать ему публичный афронт.

– Что ты, мать моя?

– Да, Марья Тихоновна! Хотят совсем его оконфузить: как он станет танцевать, никто не будет вертеться с его да мою.

– Что ты говоришь? Ах, батюшки мои! Ну да если он подымет мою Сонюшку? За что ж ей такая обида?

– Не велите ей ходить с ним.

– Эх, мать моя, что ты? Долго ли до истории? Он же, проклятый, смотрит таким со-

рванцом... Ох, этот Григорий Иванович! Назовет бог знает кого!..

Тут подошло еще несколько маменек и тетушек:

– Изволили слышать?.. – Да, да, слышала!.. Скажите пожалуйста!.. И охота им! Да что он такое сделал?.. Два раза обошел в танцах Прасковью Минишну Костоломову... Ах боже мой! Какая дерзость... Уж эти приезжие!.. Вечно от них истории! Такие наглецы!..

– Не все, Мавра Степановна...

– Ну, хороши все, матушка!.. Хоть этот: я уронила платок – мимо прошел, а нет чтоб поднять – мужик!.. Ко мне чуть-чуть не сел на колени – грубиян!.. На всех смотрит в очки – невежа!.. Вот он!.. Вот он!.. Каков?.. Посмотрите, расхаживает, как ни в чем не бывало! Да, да, как будто бы не его дело!.. Какой наглец!.. Ништо ему!.. Пускай проучат!..

Авдотья Михайловна, которая ужасно боялась всяких историй, очень перетревожилась, когда до нее дошла весть об этом заговоре, она шепнула слова два Ивану Степановичу на ухо, и мы тотчас отправились потихоньку домой. Я думал, что успею в тот же вечер пере-

говорить с Машенькою, не тут-то было! Нам объявили, что мы чем свет отправляемся назад в деревню, и приказали ложиться спать. На другой день, когда мы катились уже в нашей линии по большой дороге, как я ни заговаривал с Машенькой, но не мог никак добиться от нее толку: она дремала, притворялась спящею, а меж тем – я очень это заметил – беспрестанно поглядывала на меня украдкой. По возвращении нашем в деревню, Машенька как будто бы нарочно не отходила ни на минуту от Авдотьи Михайловны, и только к вечеру, когда мы, прогуливаясь вокруг нашей усадьбы, вышли на обширный луг перед рощею, мне удалось остаться с нею несколько времени наедине.

– Ну, что, сестрица, – сказал я, – теперь ты знаешь наверное?..

Машенька как будто бы не слышала, что я говорю с нею, и вместо ответа наклонилась и начала рвать полевые цветы, которыми весь луг был усеян.

– Ты говорила с Феничкой Лидиной? – продолжал я.

– Как же! – отвечала Машенька, не переме-

няя положения. – Я много с ней говорила, она премилая!

– Что? Она узнала от своей маменьки?..

– О чем?

– Разумеется, о том, родня ли мы или нет.

– Ах да!.. Что это за травка такая? Посмотри, посмотри, братец!

– Не знаю! Ну, что ж она тебе сказала?

– Кто?

– Феничка.

– Что сказала? Ничего!.. А это что за цветок? Кажется, иван-да-марья?.. Да, да!.. Какой миленький!.. Да какой же он душистый!..

– Что ты, сестрица! Он ничем не пахнет. Так Феничка тебе ничего не сказала?

– Ничего! Мы об этом и не говорили.

– Как? Ни одного слова?

– Ах, вот и маменька! – вскричала Машенька, увидев вдали Авдотью Михайловну.

– Сестрица! – сказал я, взяв ее за руку. – Это нехорошо, ты говоришь неправду.

Машенька вспыхнула и бросилась от меня бежать как сумасшедшая. Бедняжечка! Она еще в первый раз в жизни решилась солгать, говоря со мною.

V. ОТЪЕЗД

Прошло два года после этой поездки в город – два года самые счастливейшие в моей жизни: они пролетели, как два часа. Моя любовь к Машеньке давно уже не была тайною, мы были помолвлены. По просьбе Ивана Степановича губернатор записал меня на службу, то есть я считался в его канцелярии и успел уже получить первый офицерский чин. Когда мне минуло восемнадцать лет, мой опекун объявил решительно, что откладывает нашу свадьбу еще на три года и что я должен прослужить это время в Петербурге или в Москве, а не в нашем губернском городе, чтоб хотя несколько познакомиться со светом и сделаться человеком.

– Да, Сашенька! – сказал он мне, когда за несколько дней до моего отъезда зашла у нас об этом речь. – Да, мой друг! Ты еще совсем ребенок и долго им останешься, если все будешь жить у нас под крылышком. Эх, досадно! Зачем я послушался жены и сжалился над слезами этой девчонки... То ли бы дело!.. Хотел я записать тебя в военную службу, так

нет! Подняли такой вой, что хоть святых вон понеси! Ну, делать нечего, а жаль, право, жаль! Военная служба лучшая школа для молодого человека, не правда ли, старый товарищ? – продолжал мой опекун, обращаясь к Бобылеву, который стоял, вытянувшись молодцом, у дверей гостиной.

– Не могу знать, ваше высокородие! – отвечал заслуженный воин с приметным замешательством.

– Я спрашиваю тебя, где лучше служить: в каком-нибудь приказе или в лихом драгунском полку?

– Не могу знать, ваше высокородие! Наше дело темное: где прикажут, там и служишь!

– Эге! – вскричал Иван Степанович. – Бобылев, да ты, никак, стал хитрить? Я спрашиваю: какая служба больше тебе по сердцу? Ну, чем бы ты хотел быть, подьячим или вахмистром? Ну, что переминаешься! Говори!

– Не могу знать, ваше высокородие!

– Тьфу ты, братец, какой! Я толком говорю, ну, послушай, в какой службе молодой парень сделается скорее человеком: в статской или в военной?

– Где в статской, ваше высокородие! – промолвил, переминаясь, Бобылев. – Там выправка совсем не та, вот в нашей фронтовой, не то что господин, а какой-нибудь зипунник, вахлак, и тот как раз молодцом будет... Оно, конечно, – продолжал Бобылев, поглядывая на Авдотью Михайловну и Машеньку, – подчас трудненько бывает, да и не наше дело толковать, где хуже, где лучше: про то знают старшие.

– Ну, видно, старшие-то тебя порядком напугала – прервал мой опекун, указывая с улыбкою на свою дочь и жену, – не смеешь про свою прежнюю службу доброго слова вымолвить, а вспомни-ка, Бобылев, старину! Помнишь, как мы с тобой под Абесферсом...

– Эх, не извольте говорить, ваше высокородие! Не мутите душу!

– То-то же! Да и то правда, что об этом толковать – дело кончено!.. Послезавтра, Сашенька, ты получишь подорожную из города, а там отслужим молебен, да и с богом! Ну, нахмурились!.. Опять плакать!.. Полно, жена! Машенька!.. Что, в самом деле?.. Ведь не навеки расстаетесь!

– Да уж позволь ему, Иван Степанович, – сказала Авдотья Михайловна, – хоть через год-то приехать в отпуск.

– Эх, полно, матушка! Уж я вам сказал, что этого не будет. Дайте ему хоть три годка-то сряду послужить порядком.

– Да ведь Москва не так далеко отсюда, – проговорил я робким голосом, – я в три недели успею побывать у вас и воротиться.

– Нет, мой друг Сашенька! – прервал Иван Степанович. – Это дело решенное: ты три года сряду не увидишься с твоей невестою. Я очень люблю тебя, не сомневаюсь в твоей привязанности к моей дочери, но ты еще ребенок, ничего не видел, ничего не испытал, почему знать: быть может, любовь твоя к Машеньке одно ребячество.

– Как! – вскричал я. – Вы можете думать!..

– Не только могу, но должен, мой друг! Послушай. Если ты точно ее любишь, то три года не убавят ни на волос твоей любви, если же это одна детская привычка, то не лучше ли и для тебя и для нее, когда ты догадаешься об этом перед свадьбою, а не после свадьбы? В эти три года ты успеешь поверить собствен-

ные твои чувства, ты будешь встречать девиц и прекраснее и милее Машеньки...

– О, это невозможно!..

– Почему знать? В твои года я раза по четыре в год влюблялся, и всегда последняя красавица казалась мне лучше всех прежних.

– Но подумайте, Иван Степанович, три года!..

– Не три века, мой друг! Они как раз пройдут, а если, несмотря на то что Машенька во все это время ни разу с тобою не увидится, ты будешь чувствовать к ней все то же самое, что чувствуешь теперь... о, тогда я с радостью благословлю вас, тогда и я уверюсь, что вы созданы друг для друга. Только смотри, Сашенька! – продолжал Иван Степанович, пожав крепко мою руку. – Помни уговор: будь откровенен, не обманывай ни себя, ни нас, не торгуйся с своею совестью, не думай, что ты обязан наперекор своим чувствам из одного приличия или благодарности идти к венцу с моею дочерью. Боже тебя сохрани от этого! Ты можешь жениться на другой и остаться нашим сыном, а ее братом, но если ты обманешь нас, если благодарность, это святое чув-

ство, ты унизишь до простой обязанности, если ты захочешь, как должник, которого тяготит долг, чем бы ни было, но только скорее расплатиться с нами, то знай, мой друг, что тогда-то ты будешь истинно неблагодарен и за наше добро заплатишь злом. Перед людьми ты будешь прав: они станут хвалить тебя, называть великодушным, благородным, но будешь ли ты прав перед богом, передо мною – вторым отцом твоим? Перед бедной женой моею и этим ребенком, которого ты называл своею сестрою? Подумай хорошенько! С той самой минуты, как ты скажешь в душе своей: я с ними покваитался – начнется вечное несчастье моей дочери, как честный человек, ты станешь твердить себе: я обязан сделать ее счастливой – мой долг быть хорошим мужем. Пустые слова, мой друг! Там, где все благополучие основано на взаимной любви, там не может быть ни долга, ни обязанности – с этими плохими помощниками недалеко уйдешь. Супружество не служба, в службе есть и долг и обязанности, но зато ведь есть и отставка. Нет, Сашенька! Еще раз повторяю: боже тебя сохрани от этого.

– Так, батюшка Иван Степанович, так! – сказала со вздохом Авдотья Михайловна. – Ты говоришь умно, да срок-то больно длинен, – шутка ли, три года!

– И, матушка! Он будет занят службой, а мы в первый год съездим в Киев помолиться богу, на второй отправимся в Казань погостить у брата, а на третий станем его дожидаться, так и не увидишь, как время пройдет.

Наступил день моего отъезда. Кибитка, заложённая тройкою почтовых, стояла у крыльца, лихие степные кони взрывали копытами землю, коренная вскидывала от нетерпения голову, и колокольчик побрякивал на расписной дуге. Все было готово. Мой слуга, Егор, уложив чемодан и несколько коробок со всякой всячиною, стоял подле кибитки в своей дорожной куртке, подвязанной широким патронташем, из-за которого выглядывали две пистолетные головки. Не пугайтесь! Лет сорок назад, так же как и теперь, по большим дорогам не грабили проезжающих: эти пистолеты были с нами только так – ради щегольства, и мой слуга не убил бы из них и цыпленка. Я очень помню, что у одного из них не

спускался курок, а у другого не было собачки. Точно так же, как некогда при посещении губернатора, вся наша дворня высыпала из людских и дожидалась моего выхода. В гостиной отслужили молебен. Иван Степанович отдал мне пучок ассигнаций и несколько рекомендательных писем, Авдотья Михайловна, обливаясь слезами, благословила меня образом Божьей Матери, а Машенька повесила на шею небольшой медальон, в котором с одной стороны вложен был светло-русый локон волос, а с другой – написано собственной ее рукой три слова: «Не забудь меня». Бедная Машенька, чтоб не расстроить еще более слабой и больной матери, старалась глотать свои слезы. Она беспрестанно выбегала вон из комнаты, но, несмотря на то что всякий раз притворяла дверь, я слышал ее рыдания, и сердце мое разрывалось на части. Вот, по старому обычаю, мы все присели, потом встали молча, помолились святым иконам и вышли на крыльцо. Иван Степанович взял меня за руку, отвел к стороне и сказал вполголоса:

– Прощай, Сашенька! Пиши к нам чаще; веди себя так, чтоб нам весело было о тебе

слышать, и не забывай, что бесчестный человек, кто бы он ни был, не получит никогда руки моей дочери. Ты знаешь мой образ мыслей: по мне, тот, кто с намерением изменит своему честному слову, обыграет на верную приятеля, продаст себя за деньги, украдет платок из кармана, не бесчестнее того, кто погубит навсегда невинную девушку или разведет мужа с женою. Не все так думают, но это *мой* образ мыслей, а ты хочешь жениться на моей дочери. Помни это, мой друг! Ну, теперь прощай – с богом!

Он обнял меня, Авдотья Михайловна также, я поцеловал Машеньку, которая продолжала притворяться спокойной, и сел в кибитку.

– Что это, Сашенька! – вскричала Авдотья Михайловна. – Ты едешь в дорогу в белом галстуке? Скинь его! Я дам тебе сейчас цветную косынку.

Но прежде чем она успела послать за нею, Машенька сорвала с себя шелковый голубой платочек, подбежала ко мне и, обвязывая его около моей шеи, облила всю грудь мою слезами.

– Дальние проводы – лишние слезы! – сказал мой опекун. – Эй, голубчик, трогай лошадей – с богом!

Ямщик поправил шляпу, подобрал вожжи, свистнул, колокольчик залился, и мы тронулись с места шибкой рысью.

– Прощайте, батюшка Александр Михайлович! Прощайте! – кричала мне в дорогу вся дворовая челядь.

– Благополучного пути, ваше благородие! – заревел басом старик Бобылев. – Счастливой дороги!

– Прощай, брат Егор... прощай, Егорушка.

– Прощайте, братцы! – отвечал мой слуга, приподымая свой картуз. – Эй, тетка Федосья! Не забудь отвести теленка-то на село к старосте Парфену!.. Антон! Пожалуйста, братец, не покинь моего Барбоса!.. Прощайте, ребята!

Когда мы выехали на большую дорогу и поднялись в гору, ямщик остановился, чтоб выровнять построшки пристяжных лошадей, в ту самую минуту, как он садился опять на козлы, я привстал и оглянулся назад. Вдали против меня, по ту сторону пруда, чернелась дубрава, направо тянулся длинный порядок

крестьянских изб, но господского дома со всей его усадьбою было уже не видно. Вдруг что-то белое показалось из-за горы, и тонкий прелестный стан обрисовался на облачном небе... Так это Машенька! Она стояла одна на большой дороге, сильный ветер разбрасывал по открытым плечам ее густые локоны, играл белым платьем и, казалось, хотел умчаться за мною. Она протянула ко мне руки. «Не забудь меня», – прошептал ветер, унося с собою последние слова моей невесты. Я закричал, хотел выпрыгнуть из повозки, но ямщик гаркнул, лошади понеслись, все исчезло в облаках пыли, и я упал почти без чувств в кибитку. Не стану вам описывать моей тоски, кто из нас не испытал ее, расставаясь с людьми, без которых жизнь нам кажется не жизнью? Мне жаль тебя, любезный читатель, если эти неизъяснимо грустные минуты встречались часто в твоей жизни, но я еще более пожалею тебя, когда, прожив весь век, ты не испытал ни разу этого горя. Грустно расставаться с тем, кого любишь, а, право, еще грустнее, когда некого любить.

В первые сутки моего путешествия тоска и

грусть так меня одолели, что я не хотел смотреть на свет божий, не выходил на станциях и сердился на Егора, когда он просил меня выпить чашку чаю или перекусить чего-нибудь. Закрывшись в моей кибитке и не видя новых предметов, которые меня окружали, я мог переноситься мыслью в прошедшее, Машенька была со мною, я слышал ее голос, говорил с нею и даже иногда, покрывая поцелуями голубой платочек, воображал, что прижимаю ее к груди моей. Проспав несколько часов сряду, я проснулся, на другой день гораздо спокойнее. Мысль, что я скоро буду в Москве, что увижу этот большой свет, о котором так много слышался, этих знатных бар и сенаторов, перед которыми, говорят, и наш губернатор подчас стоит навытяжку, – эта мысль начинала понемногу сливаться с моими воспоминаниями о прошедшем, а сверх того, я чувствовал, что не могу уже вполне предаваться моим мечтаниям: я очень проголодался, и тощий желудок убеждал меня, гораздо красноречивее Егора, перейти скорее из очаровательного мира мечтаний к жизни действительной, эта физическая потребность взяла

наконец такой верх над моими моральными ощущениями, что я вышел на первой станции из кибитки и весьма обрадовался, когда смотритель поставил передо мною чашку сытных щей и горшок гречневой каши.

– Ну что? Далеко ли осталось до Москвы? – спросил я станционного смотрителя.

– Шестьсот двадцать верст, сударь.

– Возможно ли?.. Так мы в целые сутки и ста верст не отъехали?

– И то слава богу! – сказал Егор. – Ведь на двух станциях лошадей не было. Вы изволили дремать, сударь, так и не заметили, что мы часов по пяти дожидались.

– Для чего же ты не нанимал вольных?

– Вольных? Нет, сударь! Вольные-то кусаются! Тройные прогоны заплатишь!

– Так что ж?

– Помилуйте! Да этак мы переплатим я бог весть что.

– Делать нечего, не век же нам ехать до Москвы.

– И, сударь! – прервал Егор, – Доедем когда-нибудь, ведь этих ямщиков не удивишь. Что, в самом деле, поломаются часок– другой,

а там дадут и почтовых.

– Вот вздор, стану я дожидаться!

– По мне, все равно, как прикажете, только, воля ваша, эти разбойники так дерут...

– Уж нечего сказать, точно, разбойники! – прервал почтальон. – Вот и теперь, посмотрите, что они с вас заломят.

– Да на что нам вольных? – закричал Егор. – Ведь ты сказал мне, что лошади через час придут?

– Нет, батюшка! И часика два потерпите! Кто их знает? Будут дожидаться на той станции попутчика, а там часа три, четыре надо лошадям дать выстояться.

– Так сыщи мне вольных, – прервал я, – дожидаться пять часов я не намерен.

– Слушаю, сударь! – отвечал смотритель, выходя вон.

– Эх, батюшка Александр Михайлович! – шепнул мне Егор. – Догадки в вас вовсе нет: уж я вам мигал, мигал! Сказали бы, что будете дожидаться, так и за двойные прогоны поедут, а теперь, посмотрите, спуют вчетверо!

Егор не ошибся: мы поехали на тройке, а с нас взяли за двенадцать лошадей.

Я давно не ездил на почтовых, говорят, что нынче стационарные смотрители, с тех пор как пользуются офицерскими чинами, стали вести себя благороднее и не прижимают проезжающих, о большой Петербургской дороге и говорить нечего: там ходят теперь дилижансы, но в старину!.. Боже мой! Чего, бывало, не натерпится бедный проезжающий!.. Заметьте, однако ж: «бедный». Люди богатые или чиновные не знают этих мытарств и подчас не хотят даже верить, что они существуют на белом свете. Знатный человек мог в старину одним словом погубить стационарного смотрителя, а богатый и прежде сыпал деньгами, и теперь бросает их для своей потехи, так для них всегда бывали лошади, но если у проезжающего в подорожной имелось:

«Такому-то коллежскому регистратору или губернскому секретарю давать из почтовых», – а меж тем в его кармане, сверх прогонных денег, было только несколько рублей на харчи, то он мог заранее быть уверен, что из трех станций, уж верно, на одной все лошади будут в разгоне.

– Конечно, был способ и в старину бедному

человеку добиваться почтовых лошадей, – сказал мне однажды приятель, теперь человек богатый, а некогда весьма недостаточный, – но чего это стоило! Сколько надобно хитрости и терпения, чтоб расшевелить самолюбие станционного смотрителя и заменить подленькой лестью благородную синюю асигнацию богатого человека. «Что, батюшка, лошадей нет?» – «Нет!» – «Нельзя ли как-нибудь, почтеннейший! – А почтеннейший стоит в изорванном тулупе и с подбитым глазом. – Мне, право, крайняя нужда, пожалуйста, любезнейший! – А любезнейший едва шевелит языком с перепоею. – Э! Приятель, да ты, никак, покуливаешь? Дай-ка, я набью тебе трубочку, у меня славный вакштаб, да уж сделай милость, друг сердечный, дай лошадок! Что обижать своего брата чиновника!» И вот иногда сердечный друг смягчится и за то, что я произвел его в чиновники, отпустит меня часом прежде. Поверишь ли, – продолжал мой приятель, – и теперь еще не могу хладнокровно об этом вспоминать – да, да!.. Бывало, в старые годы нечиновному и бедному человеку не приведи господи ездить на почтовых.

Я был человек нечиновный, но не жалел денег и потому на пятый день поутру переменял в последний раз лошадей в двадцати двух верстах от Москвы. Садясь в мою повозку, я с ужасом посмотрел на тройку чахлах, измученных кляч, на которых должен был ехать последнюю станцию.

– Что это за лошади? – сказал я. – Да мы на них и в сутки не доедем.

– Доедем, сударь! – отвечал ямщик, садясь на козлы.

– Нет, брат! – заметил мой Егор. – Разве дойдем. Эк коренная-то у тебя, хоть сейчас на живодерню.

– Эй вы, соколики! – гаркнул ямщик, не обращая внимания на обидное замечание Егора.

Соколики захлопали ушами, как легавые собаки, рванулись вперед и стали.

– Ну вот, не говорил ли я! – вскричал Егор. – Ах ты горе-ямщик, капусту бы тебе возить!

– Да вот постойте! – сказал ямщик. – Только бы с места-то взяли, а там разойдутся, лошади битые!

– Не бойтесь, пойдут! – прервал ямской староста, мужик с рыжею бородою и косыми глазами. – Кони знатные! – продолжал он с такою анафемскою улыбкою, что все другие ямщики лопнули со смеху. – Эх, барин, дайте-ка парню на водку, так даром что они на взгляд одры, а уж он вас потешит.

– Пять рублей на водку! – закричал я. – Только поставь меня через два часа в Москву.

– Слышишь, Ванька! – сказал староста. – Вишь барин-то какой. Ну, смотри же – прокати!

Ванька выхватил из-за пояса кнут и начал им работать с таким усердием, что три лошадиные остова, после минутного размышления, решились двинуться вперед и побежали рысью. Мы проехали довольно скоро первые десять верст, до Москвы оставалось только двенадцать, и хотя лошади все еще бежали рысцою, но я видел уже и сердце мое замирало от ужаса, я видел, что скоро наступит роковая минута, в которую ямщик отмотает себе вовсе правую руку, спадет с голоса и мы остановимся полдничать на большой дороге. Вот пришла небольшая горка, я был уверен, что

если лошади останутся на полуторке, то уже ничто в мире не заставит их двинуться с места, и потому вылез из повозки и пошел пешком. Москвы еще не было видно, но в полуверсте от большой дороги возвышался красивый господский дом, окруженный обширными садами. Я остановился, чтоб полюбоваться его живописным местоположением, вдруг из ближайшей рощи выехали верховые. Тот, который ехал впереди, возбудил в высочайшей степени мое любопытство. «Как странно сидит на лошади этот господин, – подумал я. – Ах, батюшки!.. Что это? Да это, никак, женщина?» Через несколько минут я мог увериться, что бойкий кавалерист в круглой шляпе и полумужском наряде была точно прекрасная женщина лет двадцати. Как теперь гляжу на ее черный бархатный спенсер [46], украшенный золотыми шнурками, как гусарский доломан. У нас в провинции я и не слыхивал о дамских седлах, на которых сидят боком [47], следовательно, весьма было естественно, что смотрел с большим любопытством и даже удивлением на эту амазонку. Когда она, переезжая через дорогу, поравня-

лась со мною, то взоры ее встретились с моими, и я прочел в них какое-то удивление, на мой вежливый поклон прекрасная наездница кивнула головою, вся вспыхнула, поехала тише и, до тех пор, пока не скрылась за густым березовым лесом, беспрестанно оглядывалась назад. Я все это заметил, хотя решительно не понимал, чем мог обратить на себя ее внимание. «Ах, как она хороша! – прошептал я невольно. – Вот глаза!.. Жаль только, что черные, мне кажется, если б они были голубые... Да нет, нет!.. У Машеньки глаза несравненно лучше!.. Что это она на меня так часто поглядывает?.. Верно, в моем дорожном платье есть что-нибудь странное, смешное... Ну, точно, она заметила, что я провинциал!» Теперь вы можете судить, до какой степени я был обескуражен, мне даже и в голову не пришло то, о чем я имел уже честь намекать вам, любезные читатели, а именно, что смолоду я был очень хорош собою, высок и строен как Аполлон Бельведерский... Да не смейтесь! Про покойников можно говорить, не краснея, правду, а моя красота и молодечество давным-давно скончались.

Мы проехали или, лучше сказать, протацились еще верст восемь, нетерпение мое возрастало с каждым шагом усталых лошадей, которые хотя медленно, а все-таки подавались вперед.

– Да где же Москва? – спросил я наконец ямщика.

– Близехонько, сударь!

– Так что же ее не видно?

– Да уж дорога такая, барин, вот по Смоленской, так мы бы уж давно поклонились матушке Москве, золотым маковкам: за семь верст вся как на ладоньке.

– А это что за лес такой? – спросил я, – Вот направо – то? Зачем он обнесен забором?

– Это зверинец, сударь!

– Зверинец!.. «Столичный зверинец! – подумал я. – О, да тут уж, верно, должны быть все дикие звери – и львы, и тигры, и барсы, а может быть и слоны!..» А что, братец! – продолжал я, – чай, этот зверинец очень велик?

– Да, сударь! Не скоро кругом объедешь.

– И много в нем зверей?

– Вестимо дело, как не быть? Лес заповедный.

– А какие же в нем звери?

– Да мало ли каких? Вот и зайцев много.

– Как! Только зайцы?

– А бог весть! Говорят, есть и лисицы, только навряд!

– Зайцы, лисицы!.. Боже мой, какое разочарование.

Вот наконец этот длинный зверинец без зверей остался у нас позади. Холмистые окрестности дороги, по которой мы ехали, продолжали заслонять от нас Москву, изредка проглядывали кое-где кровли домов, высокие колокольни приходских церквей, потом все исчезло снова, и голубые небеса сливались по-прежнему с густыми рощами, которые, не знаю теперь, а лет сорок тому назад, как зеленым лавровым венком, опоясывали всю нашу древнюю столицу. Мы проехали еще с полверсты, вдали забелелась церковь святого Сергия, гораздо ближе поднялась перед нами красная колокольня Андроньевского монастыря, направо от дороги выглянул из-за рощи Головинский дворец, одно из тех великолепных зданий, которыми вправе гордиться наше отечество, налево показалось

старообрядное кладбище, слобода, несколько отдельных домов, и вдруг беспредельная Москва всплыла и обрисовалась на обширном горизонте. Вот она – Москва белокаменная, вот она – родная мать и кормилица всей святой Руси! Колыбель православных царей русских, родина великого Петра, престольный град единодержавия, источника всей славы и могущества России. Вот он, этот живущий собственной своей жизнью, самобытный город, столько разрушенный до основания и всегда возникавший из пепла в новой красе и в новой славе нашей родины! Мой ямщик снял шляпу и набожно перекрестился: я невольно последовал его примеру.

– Вот, сударь! – сказал он, указывая на группу церквей и башен, которые подымались вдали из середины бесчисленных кровель. – Вон, сударь, Кремль, Иван Великий, святые соборы, терема царские!..

Правду сказал Пушкин:

*Москва... Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!..*

Да, Москва, Кремль, Иван Великий – вол-

шебные слова! Как сильно потрясают они душу каждого русского... Каждого?.. Полно, так ли? О, без всякого сомнения, ведь я называю русским не того только, кто носит русское имя, родился в России и по ее милости имеет хлеб насущный, – нет! Для этого необходимо еще небольшое условие... «У меня очень много родственников, – сказал однажды приятель мой Зарецкий, – да не все они мои *родные*. Тот мне вовсе чужой, кто зовет меня роднёю потому только, что носит одну со мною фамилию, а кто *истинно меня любит*, тому не нужно быть моим однофамильцем: я и без этого готов назвать его родным братом».

Я не долго мог любоваться великолепной панорамой Москвы, вместе с приближением к заставе она спряталась опять за домами некрасивого предместья. Измученные лошади давно уже тащились шагом, а я шел пешком подле моей повозки, почти у самого въезда в Новую деревню, слободу, идущую от Рогожской заставы, я поравнялся с человеком пожилых лет, в сером опрятном сюртуке и круглой шляпе с большими полями. Опираясь на трость и волоча с усилием правую но-

гу, он едва подвигался вперед.

– Вы, кажется, с трудом идете? – сказал я, подойдя к этому господину.

– Да, батюшка! – отвечал он, приподнимая вежливо свою шляпу. – Вот четверть часа назад я шел почти так же бодро, как вы.

– Что ж с вами случилось?

– Сам виноват: хотел перепрыгнуть через канаву, оступился и теперь вовсе не могу стать на правую ногу.

– Вы, может быть, ее вывихнули?

– Авось нет, батюшка, а кажется, жилу потянул.

– Как же вы дойдете до дому?

– Дотащусь как-нибудь. Я живу близехонько отсюда, в Рогожской, против самого Андроньевского монастыря.

– Да не угодно ли, я вас подвезу.

– Сделайте милость, батюшка! Уж в самом деле, не повредил ли я ноги: что-то больно расходилась!

При помощи Егора и моей старик сел в повозку, я поместился подле него.

– Дай бог вам здоровья! – сказал он. – Вот теперь мне как будто бы полегче, а если бы

пришлось тащиться до дому пешком, так я очень бы натрудил больную ногу, и как мне пришло в голову, что я могу еще прыгать? Пора бы, кажется, перестать резвиться: седьмой десяток доживаю.

– Неужели? – сказал я с удивлением. – Да вам на лицо и шестидесяти нет.

– Да, да, сударь! Без году семьдесят, – продолжал старик. – Я в прусскую войну служил уже офицером и находился при взятии Мемеля, а это давно, батюшка, больно давно!

– Без году семьдесят! – повторил я, смотря с удивлением на моложавое лицо незнакомца. В первый раз еще в моей жизни я видел, да и после никогда не встречал семидесятилетнего старика с такой милостивой наружностью, ну, право, можно было влюбиться в его белые, как снег, волнистые волосы, его кроткая простодушная улыбка была так очаровательна, голубые глаза, исполненные ума и доброты, выражали такое душевное, неподдельное спокойствие, даже тихие звуки его голоса имели в себе что-то неизъяснимо приятное.

– Издалека ли вы изволите ехать? – спро-

сил он меня в то время, как повозка остановилась у заставы и Егор пошел прописать подорожную.

Я назвал ему наш губернский город.

– Да, это недалеко, – продолжал старик, – слишком семьсот верст! Что, батюшка, вы к нам на житье в Москву или только проездом?

– Нет, я приехал сюда для того, чтоб служить.

– Доброе дело! Такому молодцу, как вы, служить надобно, и, верно, вы остановитесь где-нибудь у знакомого или родственника?

– У меня есть письмо к господину Днепровскому.

– Алексею Семеновичу?

– Точно так! Вы его знаете?

– И очень давно. Он живет на Арбате, верст пять отсюда, а, кажется, лошади-то у вас вовсе смучились, вряд ли дотащут... Да постоите?.. Ведь Алексея Семеновича нет в городе: он уже около месяца живет в своей подмосковной и, если не ошибаюсь, на этих днях отправится прямо из деревни за границу, кажется в Германию к минеральным водам.

– А разве он болен?

– Не он, а жена его.

– Какая досада! Ну, делать нечего, я оста-
новлюсь в трактире.

– Да нет ли у вас кого-нибудь еще знако-
мых?

– Со мною есть рекомендательные письма,
но я не знаю, могу ли?

– Так наймите лучше квартиру: в этих
трактирах можно подчас сделать весьма дур-
ное знакомство... Извините! Вы еще так моло-
ды, так неопытны. Право, батюшка, послу-
шайте меня, не живите долго в трактире, и
если вам нельзя будет пристать к кому-ни-
будь из знакомых вашего батюшки...

– У меня нет ни отца, ни матери, – сказал я.

– Ни отца, ни матери! – повторил старик. –
А сколько вам лет?

– Восемнадцать.

– Бедняжка! – прошептал он, поглядев на
меня с со страданием.

– Пошел! – закричал караульный ун-
тер-офицер. Часовой поотпустил цепь тяже-
лого шлагбаума, и мы въехали в Москву.

VI. МОСКВА

— Куда прикажете ехать? — спросил ямщик, когда колеса моей повозки застучали по мостовой. «Куда?» — вопрос был затруднительный.

— Ступай, — сказал я, — в трактир, где останавливаются приезжающие.

— Да в какой, сударь? Ведь этих постоянных дворов здесь много, вот, пожалуй, на Тверской Царьградский трактир — знатный!.. И в Зарядье много всяких подворьев — куда хотите.

— Ступай куда-нибудь, мне все равно.

Мы поехали. Не доезжая шагов пятидесяти до Андроньевского монастыря, лошади стали и, несмотря на крик и удары ямщика, решительно не хотели двинуться с места.

— Эх, друг любезный! — сказал старик. — Господь бог велел и скотов миловать! Ну, что ты лошадей-то понапрасну тиранишь! Видишь, они, сердечные, вовсе из сил выбились. Да полно, брат! Что толку-то? Ведь на одном кнуте не уедешь!

— И впрямь делать-то нечего! — проговорил

ямщик, слезая с козел. – Уж так и быть, сударь, повремените, я сбегаяю на ямской двор и приведу других лошадок, это близехонько, разом вернусь.

– А я уж как-нибудь добреду до дому, – сказал старик, вылезая из кибитки. – Вот моя квартира, недалеко. Да чем вам на улице дожидаться, – продолжал он, обращаясь ко мне, – милости прошу, зайдите хоть на минуту в мои домишко.

Я принял охотно его предложение и, оставив при повозке Егора, пошел с ним по левой стороне улицы. Старик все еще прихрамывал, однако ж шел несравненно бодрее прежнего. – Мне кажется, – сказал он, – я только что зашиб ногу и, может быть, завтра совсем буду здоров. Дай-то господи!

Мы подошли к деревянному домику с зелеными ставнями, старик постучал в ворота, человек пожилых лет, в поношенном сюртуке, отпер нам калитку, и мы вошли на чистый дворик, в глубине которого посажено было с полдюжины яблонь, несколько лип и два или три куста сирени. Прямо из сеней мы вошли в комнату, убранную вовсе не роскошно, но

светлую и весьма опрятную, все ее стены были в полках, уставленных книгами. Не трудно было по величине и переплету отгадать, что большая часть этой библиотеки состояла из книг духовных, в одном углу помещался отличный работы токарный станок, в другом кивот из дубового дерева, с иконами, перед которыми теплилась лампада, а в простенке, между двух окон, висел портрет русского генерала в голубой ленте, налево, в растворенные двери видна была угольная комната. В ней не было ничего, кроме деревянной скамьи с кожаной подушкой и наоя, который стоял перед большим распятием.

– Как много у вас книг! – сказал я, когда мы сели с хозяином на канапе, обитое простым затрапезом.

– Я собираю их тридцать лет, – отвечал старик, – так мало-помалу и накопилось книг до тысячи.

– Приятно иметь такую большую библиотеку.

– Да! Если она составлена из книг полезных и служит не для одного украшения и хвастовства. Есть люди, которые называют биб-

лиотеку мертвым капиталом. Они ошибаются: этот капитал может давать большие проценты. И деньги становятся мертвым капиталом, когда их зарывают в землю... Вы любите чтение?

– До безумия!

Старик улыбнулся.

– До безумия! – повторил он. – Я думаю, что мы не должны ничего любить до безумия, а всего менее книги. Конечно, они самые лучшие друзья, но зато подчас и самые злейшие враги наши, а сверх того, такие хитрые, что иногда не только без ума, да и с умом не вдруг разберешь, на кого напал, на друга или на своего злодея.

– Позвольте спросить, – сказал я, – чей это портрет?

– Это портрет моего бывшего начальника и благодетеля, фельдмаршала Румянцева[48].

– Великий человек!

– Да, батюшка, точно, великий! Он умел с горстью войска разбить стотысячные армии, одним взглядом, одним словом воспламенял душу каждого солдата, и без всякой строгости, шутя, превращать какого-нибудь шалуна в

хорошего и полезного офицера. Чтоб доказать истину моих слов, я расскажу вам, как он исправил одного молодого человека, который имел некогда счастье служить под его начальством.

Это было в 1760 году. Русские и союзные войска занимали тогда большую часть северной Пруссии, наша дивизия, под командою графа Румянцева, расположена была близ города Кросена на Одере. Война кипела в Померании и Польше, но около нас все было так тихо и спокойно, как будто мы стояли на контонир-квартирах; однако ж, несмотря на это, отданы были приказания, чтоб в лагере соблюдался самый строгий порядок, и войска были во всякое время готовы к бою. Граф Румянцев постигал вполне необыкновенный генний великого Фридриха[49], который почти всегда являлся там, где его никак не ожидали, и часто, быстрым движением войск и внезапным натиском всех сил своих, совершенно уничтожал предположение самых опытных генералов. Из отдаваемых ежедневно приказов по дивизии более всех не понравился многим офицерам приказ не отлучаться без

позволения из лагеря и наблюдать строго военно-походную форму. Молодой человек, о котором теперь идет речь, был также из числа недовольных. Надобно вам сказать, что этот офицер имел некоторые похвальные качества, но один недостаток или, лучше сказать, перок губил в нем все хорошее, переданное ему от добрых и благочестивых родителей. Он был лихой малый, славный товарищ, как говорили его приятели, то есть в нем вовсе не было этой постоянной твердости характера. Бесперывно увлекаясь примером других, он никогда не имел собственной своей воли: с добрыми был добр, с повесами повеса, а что всего хуже – старался всегда в дурном перецеголять своих товарищей. Несмотря на природное отвращение от пьянства, он готов был для компании выпить один за другим дюжину стаканов пунша, ненавидел карты – и понтировал как сумасшедший, для того, чтоб не отставать от других, имея довольно кроткий и тихий нрав, всегда первый вызывался на какую-нибудь шалость, и, чтоб потешить приятелей и похвастаться своим удалством, смело пускался на самый дерзкий поступок, а

особливо когда дело шло за спором и у него была в голове лишняя рюмка вина.

Вот однажды поутру собралось у него в палатке человек пять или шесть молодых офицеров, отъявленных повес и шалунов, начали завтракать, разумеется, стали пить, подгуляли и принялись, по обыкновению, осуждать распоряжения своих начальников. Один сердился, что его, за ошибку во фронте, нарядили без очереди в караул, другой гневался на своего полковника за то, что он не позволил ему отлучиться в город, третий доказывал, что его ротный начальник не умеет обходиться с офицерами, четвертый называл своего батальонного командира педантом потому, что он требовал во всем точного исполнения службы, и все эти различные жалобы слились наконец в одну общую – на последний приказ, которым предписывалось офицерам не отступать ни в каком случае от походной формы.

– Ну помилуйте, к чему это? – вскричал поручик Зноев, допивая третий стакан пуншу. – Добро бы неприятель был близко, или бы мы стояли в городе, а то драться не деремся, щеголять не перед кем, так на что же это?

– Да так! – прервал один прапорщик. – Видно, нечего приказывать.

– Что в самом деле! – продолжал поручик. – Засадили нас как колодников в лагерь, да и отдохнуть-то порядком не дадут, жара смертная, а не смей без галстука выйти из палатки.

– Да! Вчера за это арестовали подпоручика Бушуева, – сказал один из офицеров.

– Неужели?

– На целую неделю.

– Так пусть же меня арестуют на две! – закричал поручик. – Я сегодня целый день галстука не надену.

– Эка важность! – прервал хозяин, у которого в голове давно уже шумело. – Без галстука!.. Да если на то пошло, так я надену халат и сяду перед палаткою.

– Уж и халат! – повторил один из гостей. – Да разве ты не знаешь, что граф беспрестанно ходит по лагерю?

– Так что ж? У меня халат славный, пусть он им полюбуется.

– А что вы думаете, товарищи? – подхватил поручик. – Ведь он в самом деле это сделает: он молодец!

– Да, да! продолжал хозяин, у которого от этой похвалы вовсе голова закружилась. – Я сяду перед палаткой и выкурю целую трубку табаку в халате... в желтых сапожках... с открытой грудью!

– Ну, полно! – сказал прапорщик. – Что ты больно расхрабрился? Шутишь, брат!

– Право? Так вы сейчас увидите!.. Гей, Ванька! Халат, туфли, трубку!

Во всей этой буйной компании не нашлось ни одного доброго приятеля, который удержал бы его от такого безумного поступка. Он надел свой красный халат, желтые сапожки и, с раскрытой грудью, растрепанный, в самом безобразном виде, вышел из палатки, расположился перед нею на скамье и закурил трубку. Несмотря на свою опьянелость, он чувствовал, однако же, что делает очень дурно, и посматривал с беспокойством в ту сторону, где стояла палатка его батальонного командира, но гром ударил не с той стороны: в близком расстоянии послышался шум, он обернулся – перед ним стоял граф Румянцев. Вся храбрость полу пьяного офицера исчезла, он мигом протрезвелся, хотел спрятаться в

палатку, но граф остановил его, закричал грозным голосом: «Ни с места, господин офицер!» Потом отдал потихоньку какие-то приказания. Через минуту во всей линии раздался барабанный бой, солдаты высыпали из палаток, построились, офицеры заняли свои места, и граф, подойдя к злосчастному повесе, сказал очень ласково: «Вы так легко одеты, господин офицер, что, верно, вам не тяжело будет пройти со мною по лагерю? Прошу покорно сделать мне эту честь!» – продолжал он, взяв его за руку. Офицер обмер, но должен был повиноваться. Вы можете себе представить удивление и потом общий хохот всего войска. Если бы этот молодой человек мог умереть или провалиться сквозь землю, то почел бы себя совершенно счастливым, но он остался жив, и, как преступник, привязанный к позорному столбу, рука об руку с графом прошел в своем шутовском красном халате и желтых сапожках от одного конца лагеря до другого. Граф беспрестанно останавливался, говорил с полковыми командирами, делал свои замечания, и, когда все нагляделись досыта на этого чудного адъютанта, которого он

так вежливо водил под руку, граф сказал ему «Господин офицер, извольте сейчас отправиться к авангардному начальнику, полковнику Велину, и скажите ему, что я сегодня в три часа буду смотреть его полк. Казачью лошадь! – продолжал граф, обращаясь к своей свите. – И двух конвойных казаков».

– Ваше сиятельство! – проговорил наконец молодой человек. – Я чувствую вполне мою вину и не смею себя оправдывать... Но, будьте милостивы, позвольте мне переодеться...

– Переодеться? – повторил граф. – Зачем?.. Я нашел вас перед палаткою, следовательно, вы должны быть во всей форме. В военное время нет минуты, в которую бы исправный офицер не был готов исполнять приказаний начальника. Извольте ехать! – прибавил он, когда подвели казачью лошадь. Исполнив мое поручение, вы можете снова сесть подле палатки и докурить вашу трубку.

Я не стану вам рассказывать, что чувствовал несчастный шалун, когда должен был в своем дурацком наряде скакать, в сопровождении двух казаков, по большой дороге, усыпанной народом. День был праздничный, по-

года прекрасная, и почти все жители Кросена гуляли за городом, но это еще было ничто в сравнении с тем, что ожидало его впоследствии: он стал предметом насмешек всех своих товарищей, сказкою и забавой их пирушек, на него указывали пальцами, прозвали красным халатом – одним словом, он сделался шутком и посмешищем для всей дивизии. Вы не можете себе представить, как это подействовало не только на душу, но даже на здоровье бедного молодого человека. Вся веселость его исчезла, он прятался от товарищей, не смел глядеть на начальников и в две недели так исхудал, как будто бы пролежал несколько месяцев в сильной горячке, наконец это сделалось для него совершенно несносным: обиженное самолюбие, как демон-искуситель, не давало ему покоя ни днем, ни ночью, к несчастью, давно уже буйное общество и дурные примеры поколебали христианские правила, посеянные в душе его добрыми родителями, он забыл, что отчаяние есть смертный грех, в голове его начали бродить дурные помыслы, он стал свykаться с ужасною мыслью самоубийства и однажды,

говоря с родственником своим, адъютантом графа Румянцева, сказал, что если через неделю не откроются военные действия и ему нельзя будет умереть на неприятельской батарее, то он сам разmozжит себе голову. На другой день он получил приказание явиться к дивизионному командиру. Граф был один, когда офицер вошел к нему в палатку.

– Живы ли твои отец и мать? – спросил Румянцев, кинув строгий взгляд на молодого человека.

– Живы, ваше сиятельство!

– Жаль, очень жаль! А есть ли у них еще дети?

– Нет, ваше сиятельство, я у них один.

– Один!.. Тяжко же их наказал господь!..

Послушай, молодой человек! До меня дошло, что ты хочешь сам поднять на себя руки. Если преступная мысль сделаться самоубийцею и навеки погубить свою душу не пугает тебя, если ты не жалеешь своих стариков, то и тебя жалеть нечего: дурная трава из поля вон! Только скажи мне, что ты хочешь этим доказать? Уж не благородный ли образ твоих мыслей? Не величие ли и твердость души челове-

ка, презиращающего смерть? Ошибаешься, братец!.. Ты докажешь только, что можно быть в одно и то же время и дурным офицером, и дурным христианином, и дурным сыном, а стоит ли такая пошлая истина, чтоб ее доказывали? Неужели ты думаешь, что негодяй, который убьет того, кто назвал его негодяем, сделается, по милости этого нового преступления, честным человеком? Неужели ты думаешь, что тот, кто из пустого и буйного хвастовства не станет исполнять своих обязанностей и потом, чтоб избежать заслуженного наказания, прострелит себе голову, загладит этим безумным поступком свою вину! Нет, любезный! Бесчестный человек остается бесчестным, хотя бы он каждый день стрелялся, а повеса не докажет, что он был порядочным человеком, если, к довершению своих дурачеств, умрет как богоотступник и бездушный сын. Хороший солдат не боится смерти: он должен быть неустрашим, но одно это еще не делает его достойным уважения: и разбойник Стенька Разин был храбрый человек, и ты, я думаю, видал совершенных негодяев и подлецов, для которых жизнь копейка. Впрочем, —

продолжал граф гораздо ласковее, — я знаю, ты не рожден, чтоб быть каким-нибудь беспутным сорванцом, ты мог бы сделаться полезным и достойным уважения офицером, если бы тебе не вздумалось прослыть первым шалуном во всей дивизии, да знаешь ли, что ты к этому решительно неспособен! Тебя слишком пугает презрение людей порядочных, чтоб сделаться образцовым повесою, не надобно иметь ни стыда, ни совести, а в тебе есть и то и другое. Записной негодяй стал бы хвастаться, что он прогуливался в халате, рука об руку с своим начальником, а ты не хочешь пережить этого срама, нет! Ты напрасно хлопчешь, ты никогда не будешь перво-степенным негодяем. Послушайся меня, молодой человек, выкинь этот вздор из головы, vedi себя лучше прежнего, не увлекайся дурными примерами — одним словом, будь тем, чем ты можешь и должен быть: этим только средством ты загладишь вину свою и заслужишь мое уважение, которого ты до сих пор вовсе не заслуживал. Не забывай никогда, что первый долг военного человека — свято и не рассуждая исполнять приказания своих началь-

ников. Вы, молодые люди, редко понимаете всю важность этой обязанности или, лучше сказать, христианской добродетели, которую мы называем повиновением. Если б вы поболее рассуждали, то тотчас бы увидели, что это круговая порука, на которой основано благосостояние всякого общества, что мы все более или менее должны одних слушаться, а другим приказывать и что тот, кто не умел повиноваться, не будет уметь и повелевать. Прощай!

Тронутый до глубины сердца родительским увещанием и добротой своего начальника, молодой офицер вышел от него совсем иным человеком. Он дал себе честное слово исправиться и, при помощи божьей, сдержал его: перестал пить, играть в карты и вести развратную жизнь, но он не мог воротить прошедшего, а быть может, пример его был пагубен для многих. О! Как эта мысль сокрушала его впоследствии! Да, да! Он не мог ничем смыть этого черного пятна, которое осталось во всю жизнь на его совести!.. Этот молодой офицер был я. Теперь вы видите, что я недаром называю моим благодетелем фельд-

маршала графа Румянцева: по милости его я не погубил навеки своей души, не уморил с горя моих стариков и даже, говоря мирским языком, сделался из негодного повесы человеком порядочным.

Я пробеседовал с этим почтенным стариком более часу, простодушное обращение совершенно меня обворожило. Я также в свою очередь стал ему рассказывать о себе, о моем настоящем положении, о моих надеждах, о Машеньке – одним словом, обо всем, не утерпел, чтоб не похвастаться перед ним моим богатством, и даже вовсе некстати, а так, как говорится, ни к селу ни к городу, объявил ему, что у меня в кармане три тысячи рублей ассигнациями и что я совершенно волен располагать этими деньгами.

– Ну! – сказал старик, покачав головою. – Не легко вам будет избежать дурных знакомств. У вас много простодушия, откровенности, а что всего опаснее, много лишних денег и, если не ошибаюсь, охота смертная всем об этом рассказать. Теперь я вижу, вам решительно не должно останавливаться в трактире: в этих гостиницах живут иногда не одни

приезжие. У нас в Москве, как и во всех больших городах, есть разбойники, которых из вежливости называют другим именем, они не живописцы, не скульпторы, не музыканты, а большие художники и живут рукоделем. Сохрани вас господи попасться к ним в передел! Деньги ничего, если только вы отдадите их даром, а вот беда, когда вы променяете ваши тысячи на шампанское, к которому вас приучат, на развратные забавы, которыми станут рассеивать ваше горе, и этот пагубный образ мыслей, которым они постараются заглушить голос вашей девственной совести. Знаете ли что? Если вы хотите, я познакомлю вас с одним добрым моим приятелем, у него отдаются внаем три комнаты, кажется, они теперь свободны. Дом его у самых Арбатских ворот, на веселом месте и, я думаю, очень вам понравится. Этот старик и его жена люди набожные, смирные и такие радушные, что, проживя у них несколько дней, вы, верно, их полюбите, как родных. Позвольте, я сейчас напишу к ним записку.

Пока мой хозяин писал, я развернул большую рукописную книгу, которая лежала на

столе: это было собрание разных изречений и выписок из духовных и философических сочинений.

– Вы смотрели мой сборник, – сказал старик, подавая мне запечатанное письмо. – В нем много есть хорошего, и если вы дадите мне слово хотя изредка посещать меня, – прибавил он с улыбкою, – то я оставлю вам в наследство эту рукопись, только с уговором: не делайте из нее мертвого капитала, а берите проценты, хоть самые маленькие, по страничке в неделю, – право, слюбится!

Мой Егор пришел доложить, что лошади готовы, я простился с хозяином, дал слово навещать его и отправился к Арбатским воротам. Дорогою Егор сказал мне, что он расспросил у старого слуги обо всем. Этот почтенный человек, мой первый московский знакомец, назывался Яковом Сергеевичем Луцким, имел полковничий чин и жил небольшим пенсионом, который получил при отставке.

– Барин-то, говорят, очень добрый, – продолжал Егор, – только глуповат немного.

– Вот вздор какой! – прервал я.

– Нет, сударь, не вздор! Его старик-слуга

порассказал мне такие диковинки, что и, господи!.. Ведь ему досталось от отца и матери душ двести крестьян, да вотчины-то какие знатные!.. Так что ж? Отдал их своей двоюродной сестре да внучатному брату. У них, дескать, детей много, а я один-одинехонек, как перст! Они, дескать, меня на старости не покинут. Да! Подставляй карман! И сестрица и братец живут теперь припеваючи, а ему подчас перекусить нечего. Сначала присылали ему хлеба, круп, того-другого, да как узнали, что он все чужим людям раздает, так и полно! Что, дескать, ему давать, коли впрок нейдет? Глупому сыну не в помощь богатство. А ведь какой мотоватый! Чуть завелась лишняя копейка, так он ее и побоку! Кто ни попроси, всякому даст. То-то и есть, сударь! Дожил до седых волос, а ума-то, видно, не нажил.

Напрасно мой Егор истощал свое красноречие: я даже не потрудился сказать ему, что он врёт, все внимание мое было обращено на великолепную панораму, которая постепенно развертывалась перед моими глазами. Вот город с своими бесконечными рядами, вот знаменитая Красная площадь с своим Лобным

местом и дивным храмом Василия Блаженного, этим архитектурным капризом, в котором попораны все правила искусства, в котором все дико, тяжело и даже безобразно, но который, несмотря на это, поражает вас невольным удивлением. Вот безмолвные свидетели и славы и бедствий нашей родины, высокие стены Кремля, огромные башни, соборы, Иван Великий и древние чертоги царей русских. Мы въехали в Кремль Спасскими воротами. Восторг мой удвоился, когда, поравнявшись с Архангельским собором, я взглянул прямо вниз по скату Кремлевской горы: передо мной тихо струилась светлая река, направо она бушевала и пенилась под тяжелыми сводами *Каменного* моста, вдали за ним сверкали позлащенные главы Донской обители, еще далее подымались увенчанные рощами Воробьевы горы. Прямо за рекою расстилось покрытое церквами обширное Замоскворечье, далеко, по изгибистому берегу реки, тянулись: стена Китай-города, огромный Воспитательный дом, и взор упирался в высокий, униженный домами холм, у подошвы которого речка Яуза впадает в Москву-реку. Я недол-

го любовался этим очаровательным видом: мы спустились Боровицкими воротами на Неглинную. Боже мой! Какой переполох!.. Я заткнул нос, зажмурил глаза!.. Говорят, теперь это одна из лучших частей города. Там, где прежде мутный и зловонный ручей пробирался медленно по грязному дну заваленного нечистотою оврага, теперь цветут роскошные сады, вместо запачканных безобразных лавок, возвышаются красивые дома, выстроенный под одну кровлю железный ряд и огромный в мире манеж, или экзерциргауз, который, по необъятной величине своей, может назваться крытой площадью, а по изящной наружности – прекрасным и великолепным зданием.

Построенный на высоком месте против самого Кремля трехэтажный дом с бельведером [50] помирил меня опять с Москвою. Я думаю, знаменитый Петергофский водомет Самсона не столько бы удивил меня теперь, как удивлялся я тщедушным фонтанчикам, которые били из бассейнов, украшавших сад этого дома. Толпы зевак стояли у железной решетки и с немым восторгом любовались и на эти

трехаршинные фонтаны колодезной воды, и на белоснежных лебедях, которые плавали или, лучше сказать, кружились на одном месте в небольших бассейнах из дикого камня. Через несколько минут мы доехали до Арбатских ворот, то есть до того места, где некогда в стене, окружавшей Белый город[51], были Арбатские ворота. Мне нетрудно было отыскать дом купца Правикова. Он принял меня очень ласково и, прочитав письмо своего приятеля, тотчас отвел мне три чистенькие комнаты, убранные весьма опрятно и снабженные всем нужным для холостого хозяйства. Яков Сергеевич Луцкий сказал правду: хозяева мои были люди истинно добрые, и я, прожив в их доме несколько месяцев, так с ними свыкся и так полюбил их, что мне и в голову не приходило искать себе другой квартиры, до тех пор, пока я не встретился с этим... Ну, воля ваша, и теперь не знаю, как его назвать! Мне не хочется, чтоб вы смеялись надо мною, любезные читатели, а назвать его человеческим именем я, право, не могу.

Здесь должен я предупредить читателей,

что первые два года и шесть месяцев, проведенных мною в Москве, не заключают в себе ничего любопытного, следовательно, о них и говорить нечего. Конечно, описания и самых обыкновенных приключений человека знаменитого имеют в себе какую-то неизъяснимую прелесть и возбуждают в высочайшей степени наше любопытство, мы с удовольствием читаем, что Фридрих Великий нюхал испанский табак, а Наполеон любил носить белое исподнее платье и не терпел духов, что лорд Байрон возил с собою петуха и обезьяну, а Вольтер принимал своих гостей в халате, — все это чрезвычайно как занимательно, но я человек самый обыкновенный, и подробное описание моего домашнего быта, образ мыслей и занятий, вероятно, не будет забавно даже и для самых снисходительных читателей, и потому, для соблюдения необходимой связи между происшествиями, я полагаю достаточным сказать только несколько слов об этих двух с половиною годах, проведенных мною в Москве. Я не успел познакомиться с Алексеем Семеновичем Днепровским, который вместе с женою отправился прямо из своей подмос-

ковной за границу. По милости рекомендательных писем моего опекуна, я очень скоро был помещен в число чиновников, служащих в канцелярии московского главнокомандующего. Около года я жил весьма уединенно. бывал каждый день в должности, почти всегда обедал дома и очень любил ездить в театр, а особливо когда давали «Отца семейства», «Графа Вальтрона», «Эмилию Галотти» [52] и другие чувствительные драмы, в которых Плавильщиков[53] приводил меня в ужас, а Померанцев[54] заставлял плакать как ребенка. Сначала знакомых было у меня очень мало, потом число их стало умножаться приметным образом, и я к концу второго года попал в круг молодых людей, хотя принадлежащих к самому лучшему обществу, но которых правила и образ мыслей перепугали бы до смерти моего доброго опекуна. Их веселая и разгульная жизнь, их забавы, удовольствия и даже самые пороки были так пленительны, так любезны!..

Буйная компания распутной и необразованной молодежи никогда не была для меня опасною: порок в безобразной наготе своей

казался для меня всегда отвратительным, но, прикрытый блестящим покровом всех светских приличий, остроумный и раздушенный, усыпанный цветами, он незаметным образом вкрадывался в мою душу. Я не имел понятия о каком-нибудь *полыньковом* вине и, верно бы, не отличил хорошего рома от скверной французской водки, но зато очень любил шампанское и никогда не смешивал шато-марго с лафитом[55], не стал бы ни за что проигрывать деньги на трактирном бильярде, но знал, однако ж, сколько надобно загнуть углов, чтоб поставить на десять кушей с транспортом, не гонялся под вечер на Тверском бульваре за каждым хорошеньким личиком, не заглядывал под шляпки, но, не смотря на мою любовь к Машеньке, начинал понемногу убеждаться, что верность вовсе не мужская добродетель и что для мужчины довольно и того, когда он постоянен, – одним словом, если я не привык пить шампанское как воду, не стал игроком и не сделался вовсе недостойным любви моей невесты, то, конечно, был обязан за это не столько прежнему моему воспитанию, сколько дружеским советам и на-

ставлениям Луцкого, которого, несмотря на мою рассеянную жизнь, я посещал довольно часто.

Теперь я должен сообщить моим читателям одно письмо, которое по содержанию своему принадлежит к этой первой половине моего рассказа. Каким образом это письмо, писанное к женщине совершенно мне незнакомой, попало мне в руки за несколько месяцев до моего отъезда из Москвы, на это отвечать может только тот, кто мне его отдал. Конечно, я догадываюсь, что ему вовсе нетрудно было достать его из шифоньерки или бюро, в котором оно хранилось – он подчас и не такие чудеса делает, – да знаю наперед, что мои догадки покажутся невероятными, и потому советую вам, любезные читатели, потрудиться самим придумать что-нибудь и, если можно, изъяснить это естественным образом, а лучше всего вовсе об этом не думать.

Вот это письмо:

«Ах, Лиза, Лиза! Ах, друг мой!.. Что ты сделала со мною?.. Ты не хотела верить моим предчувствиям – ты называла их дураче-

ством, сумасшествием... Послушай! Помнишь ли ты, когда два года тому назад, гуляя с тобою в слободском саду, я рассказала тебе мой сон? Ты улыбалась, когда я говорила тебе, что этот идеал красоты, созданный моею душою, существует, что он являлся мне во сне и неизъяснимо приятным голосом шептал: «Падина, мы встретим друг друга!» Ты умирала со смеха, когда я описывала тебе его голубые, блестящие глаза, его темно-русые кудри, этот мужественный, исполненный задумчивости взор, – ты называла меня мечтательницею, и, когда Днепровский предложил мне свою руку, ты первая была за него. Ни воля отца моего, ни желание всех родных – ничто не заставило бы меня согласиться быть его женою, я не могла только устоять против тебя. «Что ты делаешь, Падина? – говорила ты мне. – Отказать человеку умному, любезному и богатому, который истинно тебя любит, и отказать ему для того только, чтоб не изменить какому-то мечтательному существу, которое ты видела во сне и с которым, без всякого сомнения, ты никогда не встретишься». Никогда – боже мой!.. Лиза, друг мой, я его видела! Да! Я его

видела!.. Кто он? Куда ехал? Увижу ли его опять? Не знаю, но он существует, этот идеал, который ты называла мечтою! Мы встретились, мы нашли друг друга!

Я часто говорила тебе, что сердце мое спокойно, – ты этому радовалась. Ах, Лиза, Лиза! Спокойно! И мертвые спокойны, мой друг! Вчера оно в первый раз забилося снова в груди моей. Мой муж, отправляясь с визитом к одному из соседей, уговорил меня ехать верхом. Утро было прекрасное, но, несмотря на это, я с трудом согласилась исполнить его желание, не знаю, какое-то темное предчувствие опасности, какая-то грусть наполняла мое сердце. Вот я выехала из рощи, гляжу – на большой дороге идет шагом откидная кибитка, перед нею идет какой-то мужчина высокого роста, в дорожном платье... Увидев меня, он остановился, я стала переезжать через дорогу – взоры наши встретились... Праведный боже! Это он!.. Вот эти давно знакомые черты, этот задумчивый взгляд, эта пленительная улыбка!.. Я прочла в глазах его и удивление и радость... Казалось, он хотел что-то сказать мне... но я не остановилась, проехала мимо, и

этот второй сон исчез, как первый... О, Лиза, Лиза! Я не сомневаюсь: он также искал меня – он, верно, свободен... а я!..

Прощай, мой друг! Мы послезавтра отправляемся за границу: третьего дня эта мысль приводила меня в восторг, а теперь... О, нет! Не верь мне!.. Я и теперь радуюсь этому. Думать, мечтать о нем я могу везде, но быть с ним вместе, видеть его, слышать его голос и не забыть, что я принадлежу другому, – о, это невозможно!.. Нет, Лиза, нет!.. Твоя Надина может быть несчастлива, но преступною никогда не будет».

НВ. Ах, мой друг! Как хорошо написан «*Остров Борнгольм!*»[56] Какой слог!.. Какая истина!.. Прочти эту повесть: она разогреет и твое холодное сердце...

*Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце! Может
Противиться тебе!*

Часть вторая

I. КОЛОМЕНСКОЕ

Нас было пятеро. Обо мне говорить нечего, но я должен сказать несколько слов о моих товарищах. Первый: сиятельный сослуживец мой, Григорий Владимирович Двинский, московский природный князь, русский не русский, француз не француз, а так, существо какого-то среднего рода, впрочем, острый малый, избалованный женщинами повеса, большой шалун, но только самого хорошего тона. Второй: Антон Антоныч фон Нейгоф, магистр Дерптского университета[57], ипохондрик, ужасный чудак, последователь мистической школы Сведенборга[58], фанатик, мечтатель, всегда живущий в каком-то невестественном мире, отъявленный защитник всех алхимиков, астрологов, духовидцев, и даже известного обманщика итальянца Калиостро[59]. Третий: капитан Архаровского полка[60], Андрей Андреевич Возницын, человек не больно грамотный, но честный, простодуш-

ный и веселый малый, и, наконец, четвертый: Василий Дмитрич Закамский, очень умный и замечательный молодой человек. Он много путешествовал и только что воротился из чужих краев, но это вовсе не расхолодило его чистую и просвещенную любовь к отечеству. Встречая дурное на своей родине, он горевал, а не радовался, не спешил указывать пальцем на каждое черное пятно и не щеголял перед иностранцами своим презрением к России. Совершенно чуждый этой исключительной и хвастливой любви к отечеству, которою гордились некогда наши предки, он любил все прекрасное, какому бы народу оно ни принадлежало, но только прекрасное свое радовало еще более его сердце, а он находил это прекрасное и в своем отечестве, потому что не искал в нем одного дурного. Одним словом, этот молодой человек, несмотря на свое европейское просвещение, вовсе не походил на этих жалких проповедников европеизма, для которых все сряду хорошо чужое и все без исключения дурно свое. Он живет теперь в моем соседстве. Сколько раз, читая вместе со мною какую-нибудь новую выходку

против русских художников и писателей, он смеялся от всей души над пустословием и бессильной злобою этих грозных судей, которые стараются из-за угла забросать всех своей природной грязью. «Бедные мученики! – говорит он всегда. – Ну из-за чего они хлопочут? Их имена или исчезнут вместе с ними, или передадутся потомству как условные названия скупых и лицемеров, оставленные в наследство нашему веку бессмертным Мольером[61], который, к сожалению, не успел заклеить никаким общим и позорным названием этих литературных трутней, оскверняющих все своим прикосновением».

Время было прекрасное, несмотря на то что дело шло уже к осени и что у нас сентябрь месяц почти всегда *смотрит сентябрем*, день был жаркий, на небе ни одного облачка, и самый приятный, летний ветерок чуть-чуть колебал осенний лист на деревьях, мы все согласились ехать в Коломенское[62], хотя это историческое село, которое долго почиталось колыбелью Петра Великого, не далее пяти верст от заставы, но мне не удалось еще побывать в нем ни разу. Сначала древняя

церковь Вознесения и разбросанные кое-где остатки знаменитых Коломенских чертогов, которым некогда дивились послы и гости иноземные, обратили на себя все мое внимание, но когда мы обошли временные палаты, построенные Екатериною Второй, на самом том месте, где в старину возвышались шестиярусные терема и красивые вышки любимого потешного дворца царя Алексея Михайловича[63], то очаровательный вид окрестностей села Коломенского заставил меня забыть все. Внизу, у самой подошвы горы, на которой мы стояли, изгибалась Москва-река, за нею, среди роскошных поемных лугов, подымались стены и высокая колокольня Перервинской обители; далее обширные поля, покрытые нивою, усеянные селами, рощами и небольшими деревушками. Верст на десять кругом взор не встречал никакой преграды: он обегал свободно этот обширный, ничем не заслоняемый горизонт, который, казалось, не имел никаких пределов.

– Какой очаровательный вид! – вскричал я. – Да это прелесть! И я живу третий год в Москве, а не бывал здесь ни разу?

– То-то и есть, – подхватил Возницын, – мы, видимо, все на один покррой: ездим за тридцать земель, чтоб посмотреть на что-нибудь хорошее, а не видим его, когда оно близехонько у нас под носом.

– Да неужели ты думаешь, – сказал с улыбкою князь Двинский, – что этот обыкновенный и пошлый вид в самом деле очарователен? Небольшая горка, ничтожная река, монастырь, в котором строение не греческое, не готическое, не азиатское, а бог знает какое, несколько десятин лугов и сотни две разбросанных по полю безобразных изб – ну, есть чем любоваться!.. Ох вы, господа русские!.. Вам все в диковинку!

– Русские! – повторил Возницын. – А ваше сиятельство француз, что ль?

– Не француз, а побольше вашего видел. Посмотрели бы вы Швейцарию...

– Да к чему тут Швейцария? – сказал Закамский. – И что общего между альпийскими горами и берегом Москвы-реки? Конечно, и в Саксонии множество видов лучше этого...

– Ну, вот слышите! – закричал князь.

– Да только это ничего не доказывает, –

продолжал Закамский, – и в чужих краях, и в самой России есть местоположения гораздо красивее, но и этот веселый сельский вид весьма приятен, и я всякий раз им любуюсь.

– Из патриотизма! – сказал Двинский с насмешливой улыбкою.

– Да погляди кругом, князь! Разве это дурно?

– Конечно, не дурно, потому что у нас нет ничего лучше...

– Вокруг Москвы? Быть может! Но поезди по России...

– Нет, уж я лучше останусь в Москве. Послушай, фон Нейгоф, ведь ты философ, скажи: не правда ли, что из двух зол надобно выбирать то, которое полегче?

– Неправда! – отвечал магистр. – Где более зла, там более и борьбы, а где борьба, там есть и победа.

– Вот еще что выдумал! – вскричал Возницын. – А если я не хочу бороться?

– Не хочешь! Да вся наша жизнь есть не что иное, как продолжительная борьба, и, чем гениальнее человек, тем эта борьба для него блистательнее. Развитие душевных сил

есть необходимое следствие...

– Бога ради! – прервал князь. – Не давайте ему говорить, а не то он перескажет нам Эккартсгаузена[64] от доски до доски.

– Не смейся, князь! – сказал Закамский. – Наш приятель Нейгоф говорит дело, да вот, например, не всю ли жизнь свою боролся с невежеством этот необычайный гений, который родился здесь в селе Коломенском?

– Неправда! – прервал Нейгоф. – Историк Миллер[65] доказал неоспоримыми доводами, что Петр Великий родился в Кремле.

– Быть может, – продолжал Закамский, – только здесь, в Коломенском, он провел почти все свое детство. Здешний садовник, Осип Семенов, рассказывал мне, что он сам частенько играл и бегал с ним по саду.

– Какой вздор! – подхватил Возницын. – Сколько же лет этому садовнику?

– Да только сто двадцать четыре года[66].

– Miséricorde![67] – закричал князь. – Сто двадцать четыре года!.. Да разве можно прожить сто двадцать четыре года?

– Видно, что можно.

– Ах, батюшки!.. Сто двадцать четыре го-

да!.. Ну, если мой дядя... Да нет, нынче не живут так долго.

– А ты, верно, наследник? – спросил Возницын.

– Единственный и законный, – отвечал князь, вынимая свои золотые часы с репетицией. – Господа! – продолжал он. – Половина второго, теперь порядочные люди в городе завтракают, а мы в деревне, так не пора ли нам обедать?

– А где мы обедаем? – спросил Закамский.

– Разумеется, здесь, на открытом воздухе! – отвечал Возницын. – Я велел моему слуге приготовить все – вон там внизу, в роще.

– Как! В этом овраге? – сказал князь.

– Так что ж? Там гораздо лучше, здесь печет солнцем, а там, посмотрите, какая прохлада, что дерево, то шатер – век солнышко не заглядывало.

Мы все отправились за Возницыным, прошли шагов сто по узенькой тропинке, которая вилась между кустов, и не приметным образом очутились на дне поросшего лесом оврага, или, лучше сказать, узкой долины, которая опускалась пологим скатом до самого

берега Москвы-реки. Колоссальные кедры, пихты, вязы и липы покрыли нас своей непроницаемой тенью, кругом все дышало прохладой, и приготовленный на крестьянском столе обед ожидал нас под навесом огромной липы, в дупле которой можно было в случае нужды спрятаться от дождя.

– В самом деле, как здесь хорошо! – сказал Двинский, садясь за стол. – Совсем другой воздух, жаль только, что эту рощу не держат в порядке: она вовсе запущена.

– А мне это-то и нравится, – прервал Нейгоф. – Не ужели вам еще не надоели эти чистые, укатанные дорожки и гладкий дерн, на котором ни одна травка не смеет расти выше другой? Признаюсь, господа, эта нарумяненная, затянутая в шнуровку природа, которую мы, как модную красавицу, одеваем по картине, мне вовсе не по сердцу, я люблю дичь, простор, раздолье...

– А эти полустгнившие, уродливые деревья также тебе нравятся? – спросил князь.

– Прошу говорить о них с почтением! – прервал Закамский. – Они живые памятники прошедшего. Быть может, под самой этой ли-

пой отдышали в знойный день цари: Алексей Михайлович и отец его, Михаил Федорович [68], быть может, под тенью этого вяза Иоанн Васильевич Грозный беседовал с любимцем своим Малютою Скуратовым[69] и пил холодный мед из золотой стопы, которую подносил ему с низким поклоном будущий правитель, а потом и царь русский, Борис Годунов[70].

– Все это хорошо, – сказал князь, принимаясь за еду, – а попробуйте-ка этот паштет: он, право, еще лучше.

Когда мы наелись досыта и выпили рюмки по две шампанского, фон Нейгоф закурил свою трубку, а мы все улеглись на траве и начали разговаривать между собою.

– Закамский! – сказал князь. – Знаешь ли, кого я вчера видел, – отгадай!

– Почему мне знать? Ты знаком со всей Москвою.

– Как она похорошела, как мила! Она спрашивала о тебе, и даже очень тобою интересовалась. Ты, верно, к ней поедешь?

– Непременно, если ты скажешь, кто она.

– Отгадай, ты виделся с нею в последний раз два года тому назад... Мы оба познакоми-

лись с нею в Вене... Ее зовут Надиною... Ну, отгадал?

– Неужели?.. Днепровская?..

– Она.

– Так она приехала из чужих краев? Давно ли?

– Около месяца. Помнишь в Карлсбаде[71] этого англичанина, который влюбился в нее по уши?

– Как не помнить.

– Помнишь, как он каждое утро являлся к ней с букетом цветов?

– Который она всякий раз при нем же отдавала мужу.

– Бедный Джон-Бул[72] чуть-чуть не умер с горя.

– Мне помнится, князь, и ты был немножко влюблен в эту красавицу.

– Да, сначала! Но это скоро прошло. Целых две недели я ухаживал за нею, потом мы выяснились, и она...

– Признала тебя своим победителем?

– Нет, Закамский, предложила мне свою дружбу.

– Бедненький!

– Да! Это была довольно грустная минута.

– И ты не взбесился, не сошел с ума, не заговорил как отчаянный любовник?

– Pas si bête, mon cher![73] Я не привык хлопотать из пустого.

– Ага, князь! Так ты встретил наконец женщину, которая умела вскружить тебе голову и остаться верною своему мужу.

– Своему мужу! Вот вздор какой! Да кто тебе говорил о муже?

– Право! Так это еще досаднее. И ты знаешь твоего соперника?

– О, нет! Я знаю только, что она скрывает в душе своей какую-то тайную страсть, но кого она любит, кто этот счастливый смертный, этого я никак не мог добиться. А надобно сказать правду, что за милая женщина! Какое живое, шипучее воображение! Какая пламенная голова! Какой ум, любезность!.. В Карлсбаде никто не хотел верить, что она русская?

– Постойте-ка! – сказал я. – Днепровская?.. Не жена ли она Алексея Семеновича Днепровского?

– Да! А разве ты его знаешь?

– У меня есть к нему письмо от моего опе-

куна.

– Теперь ты можешь отдать его по адресу.

– Не поздно ли? Оно писано с лишком два года назад. Да и к чему мне заводить новые знакомства? Я и так не успеваю визиты делать.

– Что, Нейгоф, молчишь? – сказал Закамский. – Я вижу, ты любишься этими деревьями?

– Да! – отвечал магистр, вытряхивая свою трубку. – Я люблю смотреть на этих маститых старцев природы: ожившие свидетели давно прошедшего, они оживляют в моей памяти минувшие века, глядя на них, я невольно переношусь из нашего прозаического века, в котором безверие и положительная жизнь убивает все, в эти счастливые века чудес, очарований – пленительной поэзии...

– И немых рож, – подхватил князь, – небритых бород, варварства, невежества и скверных лачуг, в которых все первобытные народы отдыхали по уши в грязи, если не дрались друг с другом за кусок хлеба.

– Не правда ли, Закамский, – продолжал Нейгоф, не обращая никакого внимания на

слова Двинского, – здесь можно совершенно забыть, что мы так близко от Москвы? Какая дичь! Какой сумрак под тенью этих ветвистых деревьев! Я думаю, что заповеданные леса друидов[74], их священные дубравы, не могли быть ни таинственнее, ни мрачнее этой рощи.

– Я видел в Богемии, – сказал Закамский, – одну глубокую долину, которая чрезвычайно походит на этот овраг, она только несравненно более и оканчивается не рекою, а небольшим озером. Тамошние жители рассказывали мне про эту долину такие чудеса, что у меня от страха и теперь еще волосы на голове дыбом становятся. Говорят, в этой долине живет какой-то лесной дух, которого все записные стрелки и охотники признают своим покровителем. Он одет егерем, и когда ходит по лесу, то ровен с лесом.

– Эка диковинка! – прервал Возницын. – Это просто леший.

– Они, кажется, называют его вольным стрелком и говорят, что будто бы он умеет лить пули, из которых шестьдесят попадают в цель, а четыре бьют в сторону.

– Надобно сказать правду, – подхватил князь, Германия – классическая земля всех нелепых сказок.

– Не все народные предания можно называть сказками, – прошептал сквозь зубы магистр.

– Бьюсь об заклад, – продолжал князь, – наш премудрый магистр был, верно, в этой долине.

– Да, точно был. Так что ж?

– И без всякого сомнения, познакомился с этим лесным духом?

– Почему ты это думаешь?

– А потому, что ты большой мастер лить пули.

– Славный каламбур! Ну что же вы, господа, не смеетесь? Потешьте князя!

– Послушай, Нейгоф, – сказал князь, – я давно собираюсь поговорить с тобою не шутя. Скажи мне, пожалуйста, неужели ты в самом деле веришь этим народным преданиям?

– Не всем.

– Не всем! Так поэтому некоторые из них кажутся тебе возможными?

– Да.

– Помилуй, мой друг! Ну, можно ли в наш век верить чему-нибудь сверхъестественному?

– Кто ничему не верит, – сказал важным голосом магистр, – тот поступает так же неблагоприятно, как и тот, кто верит всему.

– Полно дурачиться, братец! Ну, может ли быть, чтоб ты, человек образованный, ученый, почти профессор философии, верил таким вздорам?

Нейгоф затянулся; дым повалил столбом из его красноречивых уст, и он, взглянув почти с презрением на князя, сказал:

– Видел ли ты, Двинский, прекрасную комедию Фонвизина «Недоросль»?

– Не только видел, мой друг, но даже читал и сердцем сокрушался, что я читать учился: площадная комедия!

– Не об этом речь: там, между прочим, сказано: «В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, что не знаешь».

– Фу, какая сентенция! Уж не на мой ли счет?

– Не прогневайся.

– Так, по-твоему, любезный друг, тот невежда, кто не верит, что есть ведьмы, черти, домовые, колдуны...

– Не знаю, есть ли ведьмы, – прервал Возницын, – это что-то невероподобно, и домовым я не больно верю, а колдуны есть, точно есть.

– Так уж позволь быть и ведьмам, – сказал с усмешкою князь, – за что их, бедных, обижать.

– Смейся, смейся, братец! А колдуны точно есть, в этом меня никто не переуверит: я видел сам своими глазами...

– Неужели? – спросил я с любопытством.

– Да, любезный! Это было лет десять тому назад, я служил тогда в Нашембургском полку, который стоял в Рязанской губернии. Вы, я думаю, слышали о полутатарском городе Касимове?[75] В этом-то городе я видел одного татарина, который слыл по всему уезду пре-страшным колдуном и знахарем, про него и бог весть что рассказывали. Вот однажды я согласился с товарищами испытать его удали. Позвали татарина, поставили ему штоф вина, проклятый басурман в два глотка его опорож-

нил и пошел на штуки. Подали ему редьку, он пошептал над нею – редька почернела как уголь. Я спросил его, отгадает ли он, что делается теперь с моим братом, отставным полковником, который жил у себя в деревне. Я только что получил от него известие, что он помолвлен на дочери своего соседа. Колдун сказал, чтоб ему подали мое полотенце, стал на него смотреть, пошептал что-то да и говорит, что брат мой подрался в кабаке и сидит теперь в остроге. Вот мы все так и лопнули со смеху, да не долго посмеялись: на поверку вышло, что мой денщик, Антон, подал ошибкою вместо моего полотенца свое, а у него действительно родной брат за драку в питейном доме попал в острог, и Антон получил об этом на другой день письмо от своей матери. Но последняя-то штука этого колдуна более всего нас удивила, у меня была легавая собака, такая злая, что все ее прозвали недотрогою, кроме меня, никто не смел не только ее погладить, да и близко-то подойти. Что ж вы думаете сделал татарин? Он поднял соломинку и устави́л ее против моего Трувеля. Батюшки мои, как стало его коверкать! Он начал вер-

теться, на одном месте, визжать, грянулся оземь и поднял такой рев, как будто бы его в три кнута жарили, а как татарин бросил соломинку, так он, поджавши хвост, кинулся благим матом вон, забился под крыльцо, и я насилу-насилу, часа через два, его оттуда выманил. Ну что, господа, чай, это все было просто? Небось скажете – фортель?

– Да, это странно! – прошептал Закамский.

– Обман! – закричал князь.

– Нет, не обман, – прервал Нейгоф, – а просто магнетизм.

– А что такое магнетизм? – спросил Двинский.

– Что такое магнетизм? Да разве ты никогда не слыхал о Месмере?[76]

– Постой, постой!.. Месмер... Да, да, знаю! Это такой же шарлатан и обманщик, как граф Сен-Жермен[77], Калиостро, Пинетти...[78]

– Фу и!.. – сказал магистр. – Как тебе не стыдно, князь!.. Пинетти!.. Фокусник, который показывает свои штуки за деньги...

– А, чай, эти господа показывали их даром?

– Они были люди необыкновенные, князь, а особенно граф Сент-Жермен...

– Хорош, голубчик! – прервал Двинский. – Он был еще бесстыднее Калиостро: тот намекал только о своей древности, а этот говорил не шутя, что он был коротко знаком с Юлием Цезарем, что, несмотря на свою приязнь к Антонию[79], волочился за Клеопатрою[80] и имел честь знать лично Александра Македонского.

– Я этого не знаю, – сказал Нейгоф, – но всем известно, что граф Сент-Жермен появлялся в разные эпохи, то во Франции, то в Германии, и что те, которые были с ним знакомы лет за пятьдесят, не находили в нем никакой перемены, почти столетние старики узнавали в нем своего современника, несмотря на то что он казался на лицо не старше тридцати лет.

– Сказки!

– Да на это есть неоспоримые доказательства, прочти, что говорят о нем современные писатели, и ты увидишь.

– Ровно ничего, мой друг! Никто не уверит меня, чтоб дважды два было пять. По-моему, все то, чего нельзя объяснить известными законами природы, вздор, выдумки, басни...

– А ты уверен, что все законы природы тебе известны? Полно, князь! Мы еще не приподняли и уголка этой завесы, которая скрывает от нас истину, и, несмотря на успехи просвещения и непрерывные открытия, все еще играем в жмурки и ходим ощупью. Нам удалось подметить несколько неизменных законов природы, мы отгадали главные свойства воды, огня, воздуха, магнита и умели ими воспользоваться, у нас есть фонтаны, насосы, водяные прессы, мы выдумали духовые ружья, паровые машины, компас, но все-таки не знаем, что такое огонь, почему воздух имеет упругость, а вода нет и отчего намагниченная стрелка указывает всегда на север. Мы любим делать определения и говорим очень важно: «Темнота есть не что иное, как недостаток света, а холод – отсутствие теплоты». Большое открытие! А знаем ли мы, что такое свет и теплота? Конечно, опыт веков познакомил нас несколько с миром вещественным, но мир духовный остается и теперь еще для нас загадкой, мы постигаем нашей душой, что этот мир существует, но что такое жизнь без тела, пространство без границ, время без

конца и начала?.. Что такое душа? Существо бестелесное, следовательно, не имеющее никаких видимых и осязаемых форм, никакого образа, а меж тем есть случаи, которые доказывают, что сообщение мира земного с миром духовным возможно, что мы видим иногда этих жителей другой страны, слышим их голос, узнаем в них родных, друзей наших...

– Вот то-то и есть, – прервал князь, – что не видим, не слышим и не узнаем, а только повторяем то, что говорят другие. Один плут солжет, сто легковверных невежд поверят, тысяча добрых старушек начнут пересказывать, и бесчисленное множество глупцов, вся безграмотная толпа народа, закричит в один голос: «Чудо»! А там какой-нибудь грамотный мечтатель построит на этом чуде целую систему, напишет толстую книгу и, по любви к собственному своему творению, будет, вопреки здравому смыслу и логике, защищать эту ложь до последней капли своих чернил.

– Так, по-твоему, князь, все те, которые писали об этом предмете, или обманщики, или мечтатели?

– Непременно одно из двух.

– Скажи мне, князь, случилось ли тебе читать демономанию Будена?[81]

– Нет, бог помиловал!

– Но, вероятно, ты имеешь некоторое понятие о Штиллинге[82], Эккартсгаузене, Беме... [83]

– Нет, душенька, я немцев не люблю.

– Ты прочти, по крайней мере, Калмета: он француз, и сам Вольтер отдавал справедливость его учености и обширным познаниям.

– А что рассказывает этот господин Калмет?

– В своей книге о «Привидениях и вампирах» он приводит различные случаи, которые доказывают, что умершие могут иметь сообщение с живыми, что явления духов не всегда бывают следствием расстроенного воображения, болезни или какого-нибудь обмана и что они решительно возможны, хотя противоречат нашему здравому смыслу или, верней сказать, нашим ограниченными понятиям о мире духовном и сокровенных силах видимой природы. Я советую тебе, князь, хотя из любопытства пробежать эту книгу.

– Да знаешь ли, Нейгоф, что я читал книги

еще любопытнее этой, и если уж пошло на чудеса, так прочти это таинственное, исполненное глубокой мудрости творение, которое мы, бог знает почему, называем «Тысяча одной ночью, или Арабскими сказками».

– Ты не хочешь никому верить, князь, ни немцам, ни французам, так слушай! Сочинитель книги под названием «Чудеса небесные, адские и земель планетных, описанные сходно с свидетельством моих глаз и ушей» – этот ученый муж, который говорит, начиная свою книгу: «Бог дал мне возможность беседовать с духами, и эти беседы продолжались иногда по целым суткам», – был не сумасшедший, не обманщик, а любимец Карла XII[84], знаменитый и всеми уважаемый Сведенборг.

– Мало ли кого уважали в старину: в царстве слепых и кривой будет в чести.

– Нет, князь, ошибаешься, его станут все называть обманщиком или безумным за то, что он хотя и плохо, а все-таки видит своим глазом то, чего не видят слепые, которые готовы божиться, что солнца нет, потому что они не могут его ощупать руками. Признаюсь, всякий раз, когда я говорю с таким мо-

ральным слепцом, мне хочется сказать:
«Procul, ô procul este profani!»[85]

– Ай, ай! Латынь! – закричал князь. – Ну, беда теперь – его не уймешь.

– Да, да! – продолжал Нейгоф. – Эти полуученые, которые все знают и ничему не верят, вреднее для науки, чем безграмотные невежды, и я не могу удержаться при встрече с ними, чтоб не шептать про себя: «От этих мудрецов спаси нас, господи! Libera nos Domine!»[86]

– Опять! Да полно, братец, не ругайся, говори по-русски. Послушай, Закамский, ты также проходил ученые степени и можешь с ним перебраниваться латинскими текстами: нука, вступишь за меня и докажи аргументальным образом этому мистику, что человек просвещенный ни в каком случае не должен верить тому, что противоречит здравому смыслу и очевидности... Ну, что ж ты молчишь?

– Да раздумье берет, любезный, я сам бы хотел назвать вздором все то, что несходно с нашим понятием о вещах, но только вот беда: мне всякий раз придет в голову, что если бы мы с тобою были, например, древние греки, современники Сократа, Перикла, Алкивиада

[87], то, вероятно, думали бы о себе, что мы люди просвещенные, и если б тогда какой-нибудь мудрец сказал нам, что, по его догадкам, Земля вертится и ходит кругом Солнца, а Солнце стоит неподвижно на одном месте, как ты думаешь, князь, ведь мы назвали бы этого мудреца или обманщиком, или мечтателем потому, что сказанное им было бы во все несходно с тогдашним понятием о вещах и явно бы противоречило и здравому смыслу, и очевидности.

– Софизм, *mon cher*[88], софизм! Неподвижность Солнца и движение Земли доказаны математическим образом, – и все эти бредни мистиков и духовидцев...

– До сих пор еще одни догадки, – прервал Закамский, – а почему ты думаешь, что эти догадки не превратятся со временем, так же как и понятия наши о Солнечной системе, в математическую истину? Почему ты знаешь, что этот мир духовный не будет для нас так же доступен, как звездный мир, в котором мы делаем непрерывно новые открытия? Почему ты знаешь, где остановятся эти открытия и человек скажет: я не могу идти далее? Наша

жизнь коротка, умственные способности развиваются медленно, сначала жизнь растительная, потом несколько лет жизни деятельной, а там старость и смерть – следовательно, для ума одного человека есть границы, но ум всего человечества, этот опыт веков, который одно поколение передает другому, кто, кроме бога, положит ему границы? Он не умирал, не дряхлеет от годов, но растет, мужает и с каждым новым столетием становится могучее.

– Все это, Закамский, прекрасно, да напрасно, ты не только не заставишь меня верить глупым сказкам, но даже не убедишь и в том, что сам находишь их вероподобными. Ну, может ли быть, чтоб ты поверил, если я скажу, что мой покойный отец приходил с того света со мною побеседовать.

– Да, князь, ты прав: я этому не поверю, а подумаю, что ты шутишь и смеешься надо мною, однако ж не скажу, что это решительно невозможно, потому что не знаю, возможно ли это или нет. Вот если бы я сам что-нибудь увидел...

– Не беспокойся! Мы не мистики и люди грамотные, так ничего не увидим.

– Послушай, князь, – сказал Нейгоф, – ты самолюбив, следовательно, не хочешь быть в дураках, это весьма натурально, ты не поверишь ни мне, ни Закамскому – одним словом, никому, и это также естественно. Мы могли принять пустой сон за истину, могли быть обмануты или, может быть, желаем сами обманывать других, но если бы ты – не во сне, а наяву – увидел какое-нибудь чудо, если бы в самом деле твой покойный отец пришел с тобою повидаться, что бы ты сказал тогда?

– Я сказал бы тогда моему слуге: «Иван, приведи цирюльника и вели мне пустить кровь: у меня белая горячка».

– Следовательно, нет никакого способа уверить тебя, что явления духов возможны, – ты не согласишься самому себе?

– Нет, мой друг, не поверю.

– О, если так, то и говорить нечего, и хоть бы я мог легко доказать тебе не словами, а самым делом...

– Что, что? – вскричал князь.

– Ничего, – сказал Нейгоф, набивая свою трубку.

– Нет, нет, постой! Ты этак не отделаешься,

и если можешь что-нибудь доказать не словами, а делом, так доказывай!

Нейгоф посмотрел пристально на князя и не отвечал ни слова.

– Что, брат, – продолжал князь, – похвастался, да и сам не рад? Я давно замечаю, что тебе страх хочется прослыть колдуном, да нет, душенька, напрасно! *Vous n'êtes pas sorcier, mon ami!*[89]

– В самом деле, Нейгоф, – подхватил Возницын, – не знаешь ли ты каких штук? Покажи, брат, потешь!

– Этим не забавляются, – промолвил магистр, нахмурил свои густые брови.

– Да расскажи нам, по крайней мере, что ты знаешь? – сказал Закамский.

– Это целая история, – отвечал Нейгоф.

– Тем лучше! – подхватил князь, – я очень люблю историю, а особенно когда она походит на сказку.

– Что это не сказки, в этом вы можете быть уверены, – прервал Нейгоф.

– Так расскажи, брат, – вскричал Возницын, – а мы слушаем!

– Расскажи, Нейгоф! – повторяли мы все в

один голос. Магистр долго упрямылся, но под конец, докурив свою трубку, согласился исполнить наше желание.

II. ГРАФ КАЛИОСТРО

— Я так же, как и ты, много путешествовал и объехал почти всю Европу, — начал говорить Нейгоф, обращаясь к Закамскому. — В 1789 году я прожил всю осень в Риме. У меня было несколько рекомендательных писем и в том числе одно к графу Ланцелоти, но я слишком месяц не был ни с кем знаком, кроме услужливых цицерониев и моего хозяина, претолстого и преглупого макаронщика, который ревновал свою жену к целому миру, несмотря на то что она была стара и дурна, как смертный грех. С утра до вечера я бегал по городу и каждый раз возвращался домой с новым запасом для моих путевых записок. Я не намерен вам рассказывать обо всех прогулках по римским улицам, не стану описывать мой восторг при виде Колизея, Пантеона и других остатков древнего Рима, не скажу даже ни слова о том, как я был поражен огромностью и величием храма святого Пет-

ра, какие воспоминания пробудились в душе моей при виде Капитолия и с каким наслаждением я смотрел на произведения великих художников Италии, – все это тысячу раз повторялось каждым путешественником, и этот неизбежный заказной восторг, эти приторные фразы а-ля Дюпати[90] и казенные восклицания давно уже опротивели и надоели всем до смерти.

Однажды – это было месяца два по приезде моем в Рим – я отправился без всякой цели шататься по городу. Пройдя несколько времени берегом Тибра, я повернул на мост весьма красивой наружности, но, к сожалению, обезображенный статуями, которые не только в Риме, но и во всяком порядочном городе были бы не у места. Я остановился посредине моста, чтоб полюбоваться видом замка святого Ангела, он подымался передо мною по ту сторону Тибра, как угрюмый исполин, посевший на страже священного Рима. Эта городская тюрьма походит издали на огромную круглую башню с плоской кровлей, на которой выстроен целый замок. Несмотря на свою строгую и даже несколько тяжелую архитек-

туру, замок святого Ангела мне очень понравился, и я глядел на него с таким вниманием, что не заметил сначала какого-то прохожего, закутанного в широкий плащ, который, прислонясь к мостовым перилам, и который, еще внимательнее меня рассматривал это здание. Он был росту среднего, не дурен и не хорош собою, но глаза его... в самой Италии, классической земле пламенных, одушевленных взоров, я не видывал ничего подобного, казалось, искры сыпали из этих глаз, не очень больших, но быстрых, исполненных огня и черных как смоль. Не знаю, почему, но я не мог удержаться, чтоб с ним не заговорить.

– Вы, верно, так же как и я, любуетесь этим чудным зданием? – сказал я по-итальянски, указывая на замок святого Ангела.

Незнакомый бросил на меня такой недоверчивый и в то же время пронизательный взгляд, что я совершенно смутился. Повторяя мой вопрос, я сбился с толку, заговорил вздор и сделал непростительную ошибку. Незнакомый улыбнулся, поглядел на меня доверчивее и сказал вполголоса:

– Вы иностранец?

– Да, – отвечал я.

– Вы, верно, путешественник и, если не ошибаюсь, родина ваша далеко отсюда?

– Вы отгадали, я русский.

– Русский, – повторил незнакомый, взглянув на меня еще веселее. – Вам должно быть здесь очень жарко, я знаю вашу холодную Россию, несколько лет тому назад я был в Петербурге, у меня есть там приятели, я имел честь знать лично князя Потемкина, но мы, кажется, не понравились друг другу. Я также очень часто бывал...

Тут назвал он мне пять или шесть известных имен и, поговорив еще несколько времени о Петербурге, вдруг остановился и сказал мне:

– Вы, кажется, спрашивали меня, нравится ли мне этот замок? Не знаю, как вам, а мне он вовсе не нравится.

– Однако ж вы очень пристально на него глядели.

– И очень часто это делаю. Если это неизбежно, то надобно стараться заранее к нему привыкнуть.

– Привыкнуть! – прервал я с удивлением. –

Да на что вам к нему привыкать – ведь этот замок тюрьма...

– Хуже, – прервал незнакомый. – Это римская Бастилия, а кто знает парижскую... Но вы меня не поняли: это здание не всегда было тюрьмой. Знаете ли вы, для чего оно было построено?

Я почти обиделся этим вопросом. Спросить у магистра Дерптского университета, знает ли он, что замок святого Ангела был некогда мавзолеем императора Адриана![91] Да этот вопрос стыдно даже сделать и студенту. Я закидал незнакомца историческими фактами, прочел ему наизусть сказание знаменитого Прокопия[92] о том, как Велизарий[93], осажденный в Риме готами, защищался, бросая в них мраморные статуи, которыми этот мавзолей был украшен, как в средние века папа Бонифаций IX[94] превратил его в крепостной замок, как герцог Бурбонский, осаждая в нем папу Климента VII[95], был убит на приступе.

– После этого... – продолжал я.

– Хорошо, хорошо, – закричал незнакомый, стараясь прервать поток моего красноречия. – Я вижу, вы человек умный, но дело не в том:

если вы знаете первобытное на значение замка святого Ангела, то поймете, для чего я прихожу смотреть на это роскошное кладбище, построенное для одного покойника. Смерть – зло неизбежное! – продолжал незнакомец с глубоким вздохом. – Да, неизбежное! – прибавил он почти шепотом. – Даже и для того, кто измеряет свою жизнь не годами, а столетиями.

– Как столетиями! – повторил я. – Да неужели есть такие люди?

Незнакомый вздрогнул и, как будто бы спохватясь, сказал с улыбкою:

– Вы опять меня не поняли. Разве жизнь целой нации не походит на жизнь одного человека? Разве повелитель бесчисленных народов, владыка мира, древний Рим, не умер, как умер вот этот, быть может, безвестный гражданин, – продолжал незнакомый, указывая на похоронную процессию братьев кающихся, которая в эту минуту показалась на берегу Тибра. – Не думаете ли, что обширная могила, которую мы называем Римом, хотя несколько походит на этот гордый, могучий, кипящий жизнью Рим? О, если б вы его виде-

ли! – прибавил незнакомец, и черные глаза его засверкали, – если б вы видели этот живой Рим, эту родину всего высокого и прекрасного, вы не стали бы тогда называть римлянами народ, который выдумал арлекина, создал паяца и славится своими макаронами, а Римом – этот жалкий город, напоминающий мне цыганский табор, расположенный на развалинах Пальмиры[96]. И вы рассуждаете о высоком и прекрасном! Перестаньте! Вы не знаете ни того, ни другого. Вы называете изящным и великолепным зрелищем ваши кукольные комедии! Горсть людей сберется в какой-нибудь каменный балаган, его назовет Сан-Карло или Ла-Скала, а себя публикою, и думает, что видит перед собою высокое и прекрасное зрелище!.. Жалкие пигмеи!.. Да если вы не верите преданиям, так посмотрите на развалины Колизея: не говорят ли они вам, что все ваши детские затеи суть не что иное, как жалкие пародии забав великого Рима. Вы плачете, когда в вашем балагане, на этих презренных подмостках, какой-нибудь паяц-трагик заколет себя деревянным кинжалом, а в Колизее сотни людей умирали не шутя, чтоб

заслужить рукоплескания восьмидесяти тысяч зрителей. Вы удивляетесь вашим холстинным морям и трехаршинным кораблям из картузной бумаги, а Колизей, по мановению кесаря, превращался в обширное озеро, и настоящие военные галеры не представляли морское сражение, но дрались в самом деле, для забавы гордых римлян. Да! Все это было, — промолвил незнакомый грустным голосом, — давно, очень давно!.. Века прошли, настанут другие, но Рим не воскреснет...

Незнакомый замолчал, потом, как будто бы говоря с самим собою, продолжал:

— Давно ли, кажется?.. Да! Так точно, это было восемьдесят лет до рождества христова...[97] Какой волшебный праздник!.. Император торжествовал открытие Колизея... С восходом солнечным начал волноваться и шуметь венчаный Рим, как море хлынул он с своих семи холмов, и высокие стены Колизея унизались народом... Раздался гром рукоплесканий, он вошел, царь вселенной, радость мира, кроткий, богоподобный Тит![98] О, как он был прекрасен!.. Как шли к нему эти шелковые кудри, эта томная бледность лица,

эти усталые глаза и даже этот прыщик на левой щеке...

– Прочь с дороги! – раздался грубый голос, и кто-то толкнул меня очень невежливо в спину. – Шляпу долой! – закричали из-под своих белых колпаков несколько братьев кающихся, я повиновался.

Мимо меня тянулась похоронная процессия, за нею несли гроб, а позади человек триста всякого рода людей и нищих, подвигаясь медленно вперед, заняли почти всю ширину моста. Когда этот нечаянный прилив народа схлынул, я остался опять на просторе, но незнакомца уже не было. Вы можете судить, какое впечатление произвели на меня странные слова этого чудака, который рассказывал о празднике, данном за восемьдесят лет до рождества христового, как о бале, на котором он танцевал недели две тому назад. «Если это не сумасшедший, – подумал я, – так уже, верно, какой-нибудь балагур, который хотел надо мною позабавиться». На этот раз тем дело и кончилось.

Дня через три, прогуливаясь по знаменитой улице Корсо, которая служит в обыкно-

венные дни гуляньем, а на масленице маскарадную залю для целого Рима, я сошел с тротуара, чтоб перейти на противоположную сторону. На самой середине улицы стоял человек в большой белой шляпе с широкими полями, казалось, он вовсе забыл, что вокруг него ездят беспрестанно экипажи. В ту самую минуту, как я делал это замечание, щеголеватая коляска, заложенная парю великолепных лошадей, мчалась во всю рысь по самой середине улицы, кучер зазевался, коляска была уже в десяти шагах от человека в белой шляпе, и этот бедняк был бы непременно задавлен, если б я не успел схватить его за руку и оттащить в сторону. Когда опасность миновала и незнакомый стал благодарить меня, я узнал в нем чудака, с которым повстречался на мосту святого Ангела.

– Если не ошибаюсь, – сказал он, – мы уже с вами знакомы: вы тот русский путешественник, с которым я имел удовольствие разговаривать дня три тому назад.

– Да, – отвечал я, – помнится, вы мне рассказывали о каком-то празднике, который давался в Колизее восемьдесят лет до рождества

христова и на котором вы любовались императором Титом. Незнакомый улыбнулся.

– Вы, господа северные жители, – сказал он, – ни когда не поймете нас, живых, пламенных детей юга, то, что представляется вашему воображению, мы видим в самом деле, вы переноситесь иногда мыслью в прошедшее, вспоминаете о нем, а для нас оно становится настоящим. Когда я говорил с вами о древнем Риме, века исчезали и вечный город подымался из своих развалин, я видел его – я жил в нем... Смейтесь, господин русский, смейтесь! Наши итальянские вулканические головы кажутся вам полоумными – пусть так! Но мы живем двойною жизнью, для нас и среди русских снегов будут цвести розы, наше южное воображение украсит померанцевыми цветами, усыплет золотыми апельсинами и ваши гробовые сосны, и эти мертвые однообразные березы, оно растопит вечные льды Сибири и разрисует прозрачной лазурью туманные небеса вашей родины. Что нужды, если обман не истина, когда этот обман делает нас счастливыми.

– Посмотрите, посмотрите! – прервал я. –

Вот едет назад та самая коляска, которая чуть-чуть вас не задавила.

Незнакомый поднял глаза. В коляске сидел развалясь какой-то франт, он посматривал гордо на проходящих, иным кланялся, по римскому обыкновению, рукою, другим отвечал на низкие поклоны едва заметной улыбкою и так явно чванился и важничал своим нарядным экипажем, с таким пренебрежением смотрел на всех бедных пешеходов, что вот так и хотелось плюнуть ему в лицо.

– А! – вскричал незнакомый. – Да это кавалер Габриелли! Так он-то хотел задавить меня? Бедняжка!

– Однако ж у этого бедняжки славный экипаж, – сказал я шутя.

– Да не долго он им провладеет.

– А что, видно, из последних денег?.. Тьфу, батюшки! Какие лошади, какая упряжь!

– Да, это правда, – сказал незнакомый, – все хорошо, кроме кучера.

– Помилуйте! Чем же он дурен? Посмотрите, какой молодец!

– Ну нет, не очень красив собою.

– Что вы?.. Славный кучер! А какая богатая

ливрея!

– Да я вам говорю не об этом ливрейном кучере, а вот что сидит подле него.

– Подле него! Да где же?

– С левой стороны.

– Я никого не вижу!

– Видно, я позорчье вас. Этот ливрейный кучер для одного парада. Бедненький! Он только что держит вожжи, а в самом-то деле правит лошадьми не он, а приятельница, которая сидит с ним рядом на козлах.

– Приятельница! Что за приятельница?

– Смерть! – шепнул отрывисто незнакомый, и, прежде чем я опомнился от удивления, коляска помчалась как вихрь, зацепила за каменный столб, опрокинулась и понеслась далее. Почти у самых ворот Дель-Пополо остановили лошадей, мы подошли, вокруг изломанной коляски стояла толпа народа. Мы с трудом продрались вперед: на мостовой лежали кавалер Габриелли и кучер его, оба мертвые.

– Ну! – сказал незнакомый, посмотрев на меня пристально. – Вы верно уже не думаете, что я сумасшедший?

Я так был поражен, что не мог выговорить ни слова.

– Послушайте! – продолжал незнакомый. – Кажется, мы недаром так часто встречаемся друг с другом, а сверх того, – прибавил он с улыбкой, – вы сегодня спасли меня от смерти или хотели спасти, а это одно и то же, мы должны познакомиться короче. Как вас зовут?

– Фон Нейгоф.

– Фон Нейгоф! Это нерусская фамилия.

– Мой дедушка был немец.

– Тем лучше. Я очень люблю немцев, их называют мечтателями, идеалистами – да, это правда! Они не французы и не русские, которые стараются подражать французам, они не смеются над тем, чего не понимают, и, несмотря на свою ученость, не называют обманом и заблуждением все то, чего нельзя объяснить рассудком и доказать как дважды два четыре. Вы каждый день в первом часу можете застать меня дома, я нанимаю квартиру в улице Дель-Пелигрино, почти напротив палат кардинала вице-канцлера, вход с улицы, спросите графа Александра Калиост-

ро.

– То есть, – прервал князь Двинский, который давно уже вертелся от нетерпения, – не граф, не Александр, и не Калиостро, а просто сын бедного ремесленника, Иосифа Бальзамо.

– Это еще не доказано, – сказал магистр, – да прошу ваше сиятельство не прерывать меня, а не то я замолчу.

– Вот и рассердился! А за что? Ну, подумай сам, когда колдуны бывают графами? Сент-Жермен был такой же точно граф, как и этот Бальзамо, Нострадамус[99] и Фауст были ученые, Твардовский[100] – также, Флаemel[101] – бог знает кто, Сведенборг – также, Брюс...[102] Ах, да, бишь, – виноват! – он был граф, совсем забыл!

– Да перестань, князь!.. – закричал я. – Что ты мешаешь ему рассказывать. Ну, что, Нейгоф, ты очень удивился, когда он сказал тебе свое имя?

– И удивился и обрадовался. Мне давно хотелось познакомиться с этим знаменитым человеком, и я на другой же день явился к нему в двенадцатом часу утра. Он только что встал с постели и едва успел накинуть на себя ха-

лат из богатой турецкой материи. Комната, в которой он меня принял, была убрана очень просто, на полках стояли книги, и на большом столе лежали бумаги и толстые свитки пергамента, на окне стояла раскрытая аптечка с стеклянными пузырьками и баночками, в одном углу на бронзовом треугольнике лежала мертвая голова, а у самых дверей сидела черная огромная кошка, когда я вошел, она ощетинулась и глаза ее засверкали.

– Биондетта! – закричал Калиостро, – Пошла вон!

Кошка, как умная легавая собака, тотчас отправилась в другую комнату, но, проходя мимо, очень на меня косилась. Граф сел подле меня на канапе и начал разговаривать со мною о России. Все, что он говорил, было так умно, все замечания его были так справедливы, что я слушал его с истинным наслаждением. От времени до времени вырывались, однако ж, у него какие-то странные фразы, например, он спросил меня, часто ли бывают наводнения в Петербурге, и когда я отвечал ему, что это бывает очень редко, то он значительно улыбнулся и сказал: «Я был уверен в

этом – я знаю, он уж не так злится на русских: они ему угодили, украсили любимую дочь его, великолепную Неву, одели ее гранитом». И когда я спросил, о ком он говорит, Калиостро тотчас переменял речь и начал расспрашивать меня о другом. Во время нашего разговора я заметил на столе, между различных бумаг, манускрипт на папирусе. Вы знаете мою страсть ко всем древним рукописям. Я не мог скрыть моего любопытства.

– Этот манускрипт привезен мною из Египта, – сказал Калиостро, – и вы можете его видеть только в таком случае, если вы... Дайте мне вашу руку.

Я повиновался. Граф пожал ее каким-то особенным образом и как будто бы ждал ответа. Я молчал.

– О! – сказал он. – Да вы еще не родились, так о годах вас спрашивать нечего. А для того чтоб разобрать что-нибудь в этом манускрипте, надобно иметь по крайней мере семь лет. Оставьте его.

В эту минуту вошел в комнату старик лет шестидесяти, голова его была повязана пестрым платком, а бледное лицо выражало

нетерпимое страдание.

– Что тебе надобно? – спросил Калиостро.

– Извините, синьор! – сказал старик. – Я живу подле вас, мне сказали, что вы доктор.

– А ты болен?

– Вот третьи сутки глаз не смыкаю – такая головная боль, что не приведи господи! Ни днем, ни ночью нет покою! Если это продолжится, то я брошусь в Тибр или размозжу себе голову.

– Поверето!..[103] – шепнул Калиостро. – Постой на минутку! – Он вынул из аптечки небольшой пузырек и, подавая его старику, сказал: – На, любезный, понюхай из этой склянки в три приема, при каждом разе говори про себя... – Тут прошептал он какое-то слово, которого я не мог расслышать. Едва старик исполнил его приказание, как схватил себя обеими руками за голову и закричал:

– Боже мой!.. Что это?.. Не сон ли?.. Моя голова так свежа, так здорова!.. Ах, синьор, позвольте мне взять с собою это лекарство!

– Не нужно, мой друг! – сказал Калиостро. – Теперь уж у тебя голова болеть не станет. Ступай с богом!

Старик начал было говорить о своей благодарности, но граф рассердился и почти вытолкнул его за двери.

– Благодарность! – повторил он, ходя скорыми шагами по комнате. – Я знаю эту людскую благодарность!.. Нет, старик, меня не обманешь!.. Если когда-нибудь невежды приговорят сжечь на костре бедного Калиостро как злодея и чернокнижника, то, может быть, первую вязанку дров принесешь ты, чтоб угодить палачам твоего благодетеля!

Двери опять отворились, молодая женщина в рубище, с двумя оборванными ребятишками, вошла в комнату и бросилась в ноги Калиостро.

– Что ты, милая? Что ты? – спросил граф.

– Вы наш спаситель! – проговорила женщина всхлипывая. – Вы дали мне лекарство, от которого мой муж в одни сутки почти совсем выздоровел. Он еще слаб и не может сам прийти изъяснить вам свою благодарность...

– Опять благодарность! – прервал Калиостро, нахмутив брови. – Хорошо, хорошо, голубушка! Я знаю, чего ты хочешь, на, возьми и ступай вон! – Он сунул ей в руку кошелек, на-

битый деньгами, и, прежде чем она успела опомниться, выпроводил ее вон и захлопнул за нею двери.

– Ну, князь, теперь я спрошу тебя: неужели эти дела и поступки, которых я был очевидным свидетелем, доказывают, что Калиостро был шарлатан и бесстыдный обманщик?

– А по-твоему, они доказывают противное? – сказал с усмешкою князь.

– Как, Двинский!.. А старик, которого при мне вы лечил?..

– Мастерски притворился больным, – прервал князь.

– А это бедное семейство?..

– Славно сыграло свою роль.

– А кавалер Габриелли?..

– Которого убили лошади?

– Ну, да! Ты, верно, скажешь, что и он был в заговоре, потому что Калиостро предугадал его смерть?

– Случай, мой друг, и больше ничего. Разве нельзя было лошадям понести, изломать коляску, убить кучера и седока? Все это могло случиться самым естественным образом, и, надобно признаться, случилось очень кстати,

чтоб оправдать дичь, которую порол себе этот архишарлатан Калиостро. Да что ж ты, любезный друг, ведь ты обещался доказать не словами, а самым делом, что я напрасно не верю твоим мистическим бредням, а вместо этого вот уже целый час ты рассказываешь нам сказки.

– Хочешь, князь, слушать, так слушай! А не хочешь!..

– Хочу, хочу!..

– Эх, братец, – сказал я, – не мешай ему! Ну, Нейгоф, рассказывай!

– Недели две сряду, – продолжал Нейгоф, – я почти не разлучался с графом Калиостро, беседы наши становились с каждым днем интереснее, казалось, он полюбил меня, но, несмотря на это, всякий раз заминал речь, когда я просил его сделать меня если не участником, то, по крайней мере, свидетелем одного из тех необычайных явлений, о которых он так много мне рассказывал.

– Уж не воображаете ли вы, что это суцая безделка, – говорил всегда Калиостро. – Что этим можно забавляться, как каким-нибудь физическим опытом? Не думаете ли вы, что

сблизить вас с существами не здешнего мира так же для меня легко, как свести с каким-нибудь из моих знакомых? Вы очень ошибаетесь. Для моих глаз эти существа видимы и в особенном их образе, но, чтоб сделать их доступными до ваших земных чувств, я должен их облекать в формы вещественные, а этого они очень не любят.

Однажды он спросил меня, знаком ли со мною граф Ланцелоти, и, когда я отвечал, что у меня есть к нему рекомендательное письмо, Калиостро сказал:

– Ступайте к нему сегодня, познакомьтесь с ним, а послезавтра, часу в восьмом вечера, отправьтесь в Тиволи, там, недалеко от малых каскадов, вы встретите человека в белой шляпе и черном плаще с красным подбоем, скажите ему ваше имя и ступайте за ним. Быть может, вы знаете виллу, которую нанимает граф Ланцелоти, но вам все-таки будет проводник, если вы приедете одни, вас не примут, да и ворота будут заперты, вам надобно будет пройти садом.

– Ого! – сказал я шутя. – Да это походит на какое-то любовное приключение! Такая таин-

СТВЕННОСТЬ...

– Необходима, – прервал Калиостро. – То, что вы увидите у графа Ланцелоти, не должно иметь много свидетелей.

– А что ж такое я увижу?

– То, что вы хотели давно уже видеть. Вот в чем дело: у графа Ланцелоти умер на этих днях скоропостижно богатый родственник, он сделал еще при жизни духовное завещание, которым отказывает по смерти все свое имение графу. Что духовная существует, в этом нет никакого сомнения, но ее не могли никак отыскать в бумагах покойника, и все это огромное имение может достаться вместо графа Ланцелоти одному ближайшему родственнику, который теперь в Неаполе. Я обязан семейству графа единственным благом, испытанным мною в течение всей бедственной и бурной моей жизни: мой друг, моя милая жена Лоренца, была воспитана в их доме, и вот почему, несмотря на опасность, которая мне угрожает, я решился... Да! – продолжал Калиостро, поглядев с робостью вокруг себя. – Я решился вызвать покойника с того света и заставить его сказать, где спрятана духовная,

без которой его последняя воля не может быть исполнена.

– Как! – вскричал я, почти обезумев от радости. – Вы хотите сделать меня свидетелем...

– Да! И если предчувствие меня не обманывает, – продолжал Калиостро, взглянув печально на замок святого Ангела, который виден был из окна, вдали за Тибром, – если меня погребут заживо в этой обширной могиле, если ничто не спасет меня от злобы и невежества людей, то я сделаю вас моим наследником. Да!.. Я не хочу, чтоб вместе со мною погибло то, что стоило мне так дорого. Моя Лоренца не переживет меня... и ее также ждут высокие стены, тесная келья и медленная смерть!.. О! Зачем я не устоял против искушения!.. Зачем хотел утолить эту неутолимую жажду познаний... О! Если бы я мог возвратиться, забыть все!.. – Калиостро закрыл руками лицо и, помолчав несколько времени, продолжал: – Нет!.. Нет!.. Кто раз поднес эту чашу к устам своим, тот будет пить ее до конца, и какая бы горечь ни была на дне, он не должен и не может остановиться!.. Теперь ступайте! – прибавил он, пожав мою руку. –

Не забудьте! Послезавтра, в восемь часов, в Тиволи. Мы до тех пор не увидимся: я хочу эти два дня провести с моей Лоренцей. Прощайте!

На другой день я познакомился с графом Ланцелоти, а на третий, часу в восьмом после обеда, был уже в Тиволи. На дворе было душно. Хотя солнце начинало садиться, но жар все еще был нестерпим, и я не встретил почти никого из гуляющих даже подле самых каскадов, где было несколько посвежее. Прошло более часа. Я умирал от нетерпения. Вместо того чтоб любоваться великолепною картиною Тивольских водопадов, я смотрел по сторонам, не мог стоять спокойно на одном месте и ходил взад и вперед, как часовой, который ждет не дождется, чтоб его сменили. Наконец вдали, между миртовых деревьев, мелькнула белая шляпа, и через несколько минут человек в черном плаще с красным подбоем сошел под гору. Я поспешил к нему навстречу, сказал мое имя, и черный плащ, поклонись мне очень вежливо, попросил за собою следовать. С полчаса мы шли молча по тропинке, которая изгибалась по скату горы.

Адриана осталась у нас по левой руке. Пройдя поперек густую оливковую рощу, мы повернули по широкому проспекту, обсаженному тополями, и подошли к запертым во ротам довольно большого дома, у которого на лицевой стороне все окна были закрыты ставнями. Пройдя несколько сот шагов вдоль каменной стены, мы вошли узкой калиткою в обширный сад, я увидел в конце длинной аллеи красивый портик, у которого все колонны были обвиты виноградными лозами, перед ним на широкой, уставленной цветами террасе, встретил меня граф Ланцелоти. Он подал мне руку и сказал ласковым голосом:

– Я давно вас ожидаю, господин Нейгоф. Калиостро хотел, чтоб вы были свидетелем того, что будет у меня происходить сегодня. Вы друг его, следовательно, я могу положиться на вашу скромность. Прошу покорно войти, я представляю вас всему обществу.

Мы вошли в круглую залу, которая освещалась сверху стеклянным куполом. Жена хозяйина и еще какая-то пожилая дама сидели на канаве, подле них стоял высокий мужчина, меньшей брат графа Ланцелоти, а поодаль, в

темном углу, сидел человек лет пятидесяти в черном платке. Признаюсь, я очень удивился, когда, рассмотрев хорошенько этого господина, заметил на голове его скуфью римского аббата. «Что ж это значит? – подумал я. – Неужели в присутствии духовной особы Калиостро решится вызывать с того света покойника? Это что-то больно неловко!»

Вероятно, хозяин заметил мое удивление: он подвел меня к аббату и сказал:

– Вот искренний друг нашего семейства, синьор Казоти... Не беспокойтесь! Он только по своему платью принадлежит к здешнему духовенству, а не разделяет его ненависти к графу Калиостро, которого любит и уважает от всей души!

Поговорив еще несколько минут со мною, хозяин скрылся. В зале царствовала такая глубокая тишина, как будто бы в ней никого не было. Я заметил, что все посматривали на меня весьма недоверчиво, изредка хозяйка шептала что-то на ухо своей соседке и покачивала головой. Аббат также молчал как убитый. Я несколько раз начинал с ним говорить, но он всякий раз отвечал мне одним наклонени-

ем головы и улыбкою, которая походила на самую отвратительную гримасу.

Более двух часов продолжалась эта молчаливая беседа. Хозяин не возвращался, брат его ходил взад и вперед по зале, графиня продолжала перешептываться с своею соседкою, а господин аббат отправился гулять по саду. Сначала этот таинственный шепот и тишина возбуждали во мне не вовсе неприятное ощущение, это торжественное и продолжительное молчание казалось мне необходимым приготовлением к тем чудесам, которые я должен был видеть, оно располагало мою душу к принятию необычайных впечатлений и даже наводило на меня какой-то невольный трепет. Сердце мое рвалось вон из груди от нетерпения, при каждом шорохе я вздрагивал и робко озирался кругом, но когда прошло часа полтора без всякой перемены, то это однообразное молчание, прерываемое едва слышным шепотом, начало казаться незабавным. Хозяин не возвращался, и я решился наконец последовать примеру синьора Казоти, то есть отправился гулять по саду. На темно-синих небесах, вовсе не похожих на наше северное

бледное небо, сияла полная луна, и в саду было гораздо светлее, чем в зале. Я пошел по первой попавшейся мне дорожке, она привела меня к небольшой померанцевой роще, посаженной вдоль садовой стены. Прохладный ветерок доносил до меня шум Тивольских водопадов, я остановился, чтоб прислушаться к этим отдаленным звукам, в которых было что-то романтическое и музыкальное. Не прошло двух минут, как у садовой стены за померанцевыми деревьями кто-то сказал вполголоса:

– Спрячьтесь здесь в кустах, чтоб вас не заметили, когда будет надобно, я сам приду за вами. – Вслед за этим раздался шорох, и все умолкло.

«Что б это значило? – подумал я. – Неужели здесь, как в Террачине, разбойники грабят у самых городских ворот? Быть не может! Я давно бы об этом слышал. Но кто ж эти люди, которые должны прятаться в кустах, чтоб их не заметили?» Теряясь в догадках, я решился наконец возвратиться в залу и объявить графу Ланцелоти или жене его, что подле их дома есть какая-то засада. На террасе встретил

меня аббат Казоти.

– Скорее, скорее, – сказал он, – вас только одних и дожидаются.

В круглой зале никого уже не было, аббат взял меня за руку и, пройдя со мною несколько темных комнат, повел длинным коридором. Он остановился в конце его, постучал в запертую дверь, она растворилась, и мы вошли в обширную комнату, которая слабо освещалась повешенною сверху лампадою о трех рожках. Граф Ланцелоти и все остальное общество сидели на поставленных рядом креслах, я поместился в самых крайних, а Казоти стал позади меня. Занавес, повешенный во всю ширину комнаты, разделяет ее на две части. Я поглядел вокруг себя: ни на одном из присутствующих лица не было, мужчины старались, по крайней мере, казаться спокойными, но женщины не скрывали своего страха и дрожали, как в сильной лихорадке. Признаюсь, и мое сердце замирало от ужаса, но вскоре любопытство и нетерпение совершенно подавили во мне всякое чувство боязни. Прошло несколько минут в глубоком молчании. Вдруг ароматическое курение наполни-

ло всю комнату, тихо отдернулся занавес, и мы увидели графа Калиостро перед небольшим жертвенником, на котором стояла жаровня и лежала толстая книга в черном бархатном переплете. Вся эта часть комнаты освещалась огромным серебряным подсвечником о семи свечах. Калиостро был в черном платье без галстука и с распущенными по плечам волосами, лицо его было бледно, черные глаза блистали вдохновением, а из полуоткрытых уст вылетали какие-то невнятные слова. Он держал в руках золотую коробочку, из которой продолжал сыпать порошок в жаровню, из нее подымались облака зеленоватого дыма, и сильный ароматический запах распространялся более и более по всей комнате. Позади меня раздался громкий вздох, все вздрогнули.

– Я задыхаюсь! – проговорил болезненным голосом синьор Казоти. – Мне дурно!

– Ступайте вон! – шепнул граф Ланцелоти, и аббат, шатаясь как пьяный, вышел из комнаты.

Никогда не забуду взгляда, который бросил вслед за ним Калиостро, – казалось, он хо-

тел им превратить в пепел бедного Казоти. Когда все пришло опять в прежний порядок, Калиостро взял с жертвенника книгу, отошел к стороне и начал читать вполголоса. Как я ни напрягал мой слух, но не мог ничего разобрать, зато ни одно движение Калиостро не укрылось от моих глаз. Он час от часу становился тревожнее, грудь его волновалась, посиневшие губы дрожали, волосы приметным образом становились дыбом, крупные капли пота текли по лицу, и он, как будто бы изнемогая от сильного напряжения, от времени до времени переставал читать и, казалось, с трудом переводил дыхание. Вдруг вся наружность его изменилась, глаза запылали, яркий румянец разлился по бледным щекам: заметно было, что после тяжелой борьбы наступила минута одоления и торжества. Калиостро закрыл книгу и мощным ударом, который и теперь еще раздается в ушах моих, повторил трижды какое-то таинственное слово, при третьем разе, что-то похожее на электрическое потрясение, пробежало по всем моим нервам, стоящий перед жертвенником семи-светильник погас, и на нас повеяло могиль-

ным холодом. Не знаю, что происходило с другими, я могу говорить вам только о моих собственных ощущениях – мне было страшно, но этот страх вовсе не походил на тот, который при виде опасности стесняет наше сердце, он скорее напоминал это страдание, эту неизъяснимую тоску, которая в смертный час, как жадный коршун, падает на грудь умирающего грешника. Я ничего не видел, ничего не слышал, никто ко мне не прикасался, но, несмотря на это, *отгадывал* чье-то невидимое присутствие. За минуту нас было только шестеро, а теперь я чувствовал – да, господа! смейтесь надо мною, – а я точно, не видел, не слышал, а *чувствовал*, что кто-то седьмой был вместе с нами. Меж тем Калиостро бросил еще в жаровню несколько щепотей порошка, дым за клубился, поднялся аршина на три кверху и, вместо того чтобы разойтись по всей комнате, остановился неподвижно над жертвенником, мало-помалу конечности его стали принимать определенную форму, верхняя часть этого дымного облака округлилась, что-то похожее на сложенные крестом руки обрисовалось на его сере-

дине, которая начала белеть, и через несколько минут представилось нам хотя еще тусклое, но уже совершенно правильное изображение человека в белом саване. С каждым мгновением это явление делалось яснее и вещественнее, формы округлялись, черты лица стали отделяться одна от другой, и вдруг полупрозрачный образ бледного, изможденного болезнью старика, с лицом грустным, но спокойным, тихо опустился на пол и стал перед жертвенником.

– Праведный боже! – вскричал граф Ланцелоти. – Это он!

Двери с шумом распахнулись, и несколько слуг вбежало торопливо в комнату. Привидение исчезло.

– Екселенце! – проговорил один из людей. – Дом окружен солдатами!

Все вскочили с своих мест.

– Нам изменили, – вскричал хозяин.

– Кажется, ищут графа Калиостро, – продолжал слуга. – Сам синьор баржелло[104] идет сюда своих сбиров.

– Спасайтесь, Калиостро! – сказала торопливо графиня. – Вы можете задними дверьми

выйти в сад.

– Там стоят двое часовых, – шепнул слуга. Калиостро не трогался с места.

– Спасайтесь! Бога ради, спасайтесь! – закричал граф Ланцелоти. – Вы и нас погубите вместе с собою.

– Нет! – сказал Калиостро. – Все ваши усилия спасти меня будут напрасны, мой час наступил!

В коридоре раздались шаги поспешно идущих людей. Калиостро подошел ко мне.

– Я обещал сделать вас моим наследником и должен сдержать мое слово, – сказал он вполголоса, подавая мне запечатанный пакет. – Тут не более десяти слов, но этого довольно, чтоб сблизить вас с тем, от которого вы узнаете все.

Я взял пакет и спрятал его поспешно в мой карман.

– Еще одно слово, – продолжал Калиостро. – Я был обязан клятвою передать кому-нибудь мою тайну, но ничто не обязывает вас воспользоваться этим пагубным наследством. Не забывайте этого!

Тут полицейский начальник с толпою сби-

ров вошел в комнату.

– Кто здесь Калиостро? – спросил он повелительным голосом.

– Я! – отвечал граф Калиостро.

– Именем правительства, – продолжал полицейский начальник, – я беру вас под стражу.

– Позвольте спросить... – сказал граф Ланцелоти.

– И вы также, граф, – прервал полицейский, – должны явиться со мною в Дель-Говерно[105]. Ваша связь с этим негодяем – все, что я вижу в этой комнате... Но вы могли быть обмануты, и я надеюсь... Гости ваши свободны, я запишу их имена. Этого самозванца! – продолжал чиновник, указывая на Калиостро. – В замок святого Ангела, а вы, граф, из вольте ехать со мною.

На другой день меня попросили выехать из Рима. Спустя шесть лет после этого приключения я узнал, что Калиостро умер в замке святого Ангела, а жена его пропала без вести. Говорят, что она также кончила жизнь в заключении. Бедная Лоренца, как она была прекрасна!

III. НЕЗНАКОМЫЙ

Нейгоф замолчал.

– Ну что, – спросил князь Двинский, – только-то?

– А чего ж тебе еще больше? – отвечал равнодушно магистр, принимаясь снова за свою трубку.

– Как что? – вскричал Возницын. – Да разве ты не слышал?.. Нет, любезный! Если он не лжет...

– Я никогда не лгу, – прервал магистр.

– Так этот колдун, – продолжал Возницын, – заткнул бы за пояс и моего касимовского знахаря... Экий дока, подумаешь! Тот еще мертвецов-то с того света не выкликал, а этот чертов сын, Калиостро...

– Мастер был показывать китайские тени! – подхватил князь.

– А что такое было в запечатанном пакете, который он тебе отдал? – спросил Закамский.

– Несколько слов о том...

– Как делать золото? – сказал князь.

– Нет, – продолжал магистр, – тайна, которую поверил мне Калиостро, была гораздо

важнее, он открыл мне способ, посредством которого я могу призывать духов...

– И ты, верно, испытал его?

– Нет.

– Почему же ты не хотел этого сделать? – спросил я с удивлением.

– Потому что я не забыл последних слов и бедственной участи графа Калиостро.

– Ах, душенька Нейгоф! – вскричал князь. – Сделай милость, покажи мне черта!

– Что ты, что ты, князь! Перекрестись! – сказал Возницын. – Иль ты не боишься...

– Кого? Черта? Ни крошечки.

– Шути, брат, шути! А как попадешься в лапы к сатане и сделаешься его батраком...

– Чего князю бояться сатаны, – пробормотал магистр. – Тот, кто ничему не верит, и без этого принадлежит ему.

– А если так, – продолжал князь, – так почему же ты не хочешь меня потешить?

Нейгоф закурил трубку и, не отвечая ни слова, пошел бродить по роще.

– Какой чудак! – сказал Закамский.

– Что за чудак! – вскричал князь. – Он просто сумасшедший.

Я не слышал, что отвечал на это Закамский, потому что пошел вслед за магистром.

– Послушай, Антон Антоныч, – сказал я, когда мы, отойдя шагов пятьдесят от наших товарищей, потеряли их вовсе из виду, – ты несколько раз уверял меня в своей дружбе, докажи мне ее на самом деле.

Нейгоф взглянул на меня исподлобья и покачал головой.

– Ты догадался, о чем я хочу просить тебя? – продолжал я.

– Может быть. Говори, говори!

– Сделай милость, открой мне свой секрет.

– Какой?

– Ну, тот, которым ты не хотел воспользоваться.

Магистр нахмурил брови и, помолчав несколько времени, сказал:

– На что тебе это?

– На то, чтоб узнать наконец, кто из вас прав: ты или Двинский!

– И ты точно решился испытать это на самом деле?

– А почему нет? На твоём месте я давно бы уже это сделал.

– Право?

– Уверяю тебя.

Нейгоф задумался.

– Послушай, Александр, – сказал он, – я не хочу тебя обманывать, я могу тебе передать это незавидное наследство и, признаюсь, давно ищу человека, который мог бы снять с меня это тяжкое бремя, но знаешь ли, что тебя ожидает, если ты, подобно мне, не решишься им воспользоваться?

– А что такое? – спросил я с любопытством.

– Я еще молод, – продолжал магистр, – а посмотри на эти седые волосы, на это увядшее лицо, не года, не болезни, а страдания душевные провели на лбу моем эти глубокие морщины. Видал ли ты когда-нибудь, чтоб я улыбался? Ты, верно, думал, что этот вечно пасмурный и мрачный вид есть только наружное выражение моего природного характера?.. Природного! Нет, Александр! Я некогда был, так же как и ты, воплощенной веселостью, было время, когда меня все радовало, все забавляло, было время, когда мой сон был покоен, но с тех пор, как эта пагубная тайна сделалась моей собственностью, я стал совсем

другим человеком, ужасные сны, какое-то непрерывное беспокойство, а пуще всего, – промолвил Нейгоф вполголоса и оглядываясь с робостью кругом, – этот неотвязный, сиповатый голос, который и теперь... да и теперь!.. Чу!.. Слышишь, как он раздаётся над моим ухом!.. О, как этот адский шепот отвратителен! Каждый день и каждую ночь... и всегда одно и то же: «Зачем ты похитил наследство, которым не хочешь пользоваться? Я не отстаю от тебя до тех пор, пока ты не передашь его другому. Передай его... передай!»

Магистр остановился, мрачное, но почти всегда спокойное лицо его совершенно изменилось, отчаяние, страх и неизъяснимое отвращение попеременно изображались во всех чертах его лица.

– Ну, Александр! – сказал он, помолчав несколько времени. – Хочешь ли ты и после этого узнать мою тайну? Если ты поступишь, как я, то тебя ожидают те же самые мучения, а если будешь смелей меня, то, может быть... Нет нет!.. Прочь, искуститель, прочь!.. Я не хочу быть причиною его гибели!

Странное дело! Мне не приходило в голо-

ву, что Нейгоф сумасшедший, я видел, что он не шутит, верил его словам и, вместо того чтоб отказаться от своего требования, еще настоятельнее принялся просить его. Говорят, есть люди, которые не могут смотреть на гладкую поверхность глубокой реки или озера, не чувствуя неодолимого желания броситься в воду, точно такое же обаяние свершалось и надо мною: я видел всю опасность, которой подвергался, а хотел непременно испытать ее. Магистр оставался долго непреклонным, но под конец, убежденный моими просьбами и обещанием, что я не употреблю во зло его тайны, он решился мне передать ее. Вынув из бокового кармана лоскуток бумаги и карандаш, Нейгоф написал на нем несколько слов. Отдавая мне эту бумажку, он сказал:

– Ты должен поутру прийти на покинутое кладбище, на котором давно уже не совершалось никакой церковной службы, там, оборотясь на запад, очерти два круга: в одном сожги эту записку, а в другом дожидайся появления духа, но только не забывай, что если ты не хочешь сделаться рабом его, то не дол-

жен выходить из круга, пока на ближайшей колокольне не начнется благовест к обедне, остальное зависит от тебя. Смотри, Александр! Не заплати дорого за свое любопытство, не засыпай беспечно на краю бездонной пропасти, а лучше всего... Но я не могу ничего сказать тебе более... он не позволяет... он снова начинает шептать мне на ухо... Прощай!

Нейгоф пустился почти бегом в гору, и через несколько минут его дрожки застучали по дороге, ведущей вон из села Коломенского. Я возвратился к моим товарищам.

– Куда ты пропадал? – спросил меня Возницын.

– Я прошелся немного по роще.

– Вместе с Нейгофом? – подхватил князь. – И верно, выпытывал из него тайну, как познакомиться с чертом?

– Вот вздор какой! Да разве вы не заметили, что он смеялся над нами.

– Кто? Антон Антоныч? О, нет! Он говорил пресерьезно! Не правда ли, Закамский?

– Я то же думаю, – отвечал Закамский. – Мистические писатели вскружили ему немного голову.

– Немного? Помилуй! Он вовсе с ума сошел.

– Да, подчас он походит на сумасшедшего, – прервал Возницын. – Замечали ли вы, господа, что Нейгоф иногда смотрит совершенно помешанным, озирается, вздрагивает, трясет головою и как будто бы с кем-нибудь разговаривает?

– Конечно, – продолжал Закамский, – он большой чудак и даже, если хотите, ипохондрик, но вовсе не сумасшедший, он рассуждает обо всем так умно и становится странным только тогда, когда речь дойдет до чертовщины.

– Ну да! – вскричал князь. – На этом-то пункте он и помешан, у него именно то, что французы называют: *une idée fixe*[106]. Слышали ли вы про одного сумасшедшего, который исправлял в Бедламе[107] должность чичероне[108], водил по всему дому посетителей, рассказывал им истории всех больных, которые в нем содержались, и говорил так умно, что посетители почти всегда принимали его за одного из начальников дома сумасшедших до тех пор, пока не подходили к одному из

больных, который почитал себя Юпитером [109], тут их провожатый всегда останавливался и говорил им вполголоса: «Я должен вас предупредить, что этот господин называет себя Юпитером и хочет попалить огнем всю землю. Да не бойтесь! Он точно Юпитер – это правда, но ведь и я недюжинный бог: я – Нептун[110] и подпущу такую воду, что мигом потушу этот пожар».

– Куда ты девал нашего колдуна? – спросил Возницын.

– Он уехал.

– Да не пора ли и нам ехать? – сказал Закамский. – Мы, помнится, князь, с тобою сегодня в театре?

– Как же! Сегодня играет Воробьева[111], а ты знаешь, я ей протежирую. Пожалуй, без меня никто не хлопнет, когда она выйдет на сцену.

– Да, знатная актриса! – сказал Возницын, вставая. – А пострел Ожогин еще лучше!

Мы поехали, у заставы распрощались друг с другом. Возницын отправился куда-то в гости на Зацепу, Закамский и князь – в Петровский театр[112], а я – домой. Мне было вовсе

не до театра и не до визитов.

Я провел этот вечер в раздумье и всю ночь не мог заснуть. Меня вовсе не пугала мысль, что я пускаюсь на опыт, который может иметь весьма дурные для меня последствия. Желание увериться в истине и любопытство, которое доходило до какого-то безумия, не допускали меня и думать об опасности, а, сверх того, эта опасность могла быть мечтательная, быть может, Калиостро хотел только до конца играть роли обманщика и шарлатана, а Нейгоф был просто ипохондрик и полоумный, меня мучило одно только условие, которое я не знал, как выполнить: где найти покинутое кладбище, на котором давно уже не раздавались христианские молитвы? На дворе рассветало, а я все еще не спал. Желая чем-нибудь усыпить себя, я взял в руки двенадцатый том исторического словаря, который, не знаю почему, валялся на столе подле моей кровати, развернул наудачу, попал на биографию знаменитого Таверние[113] и прочел следующие слова: «Он (то есть Таверние) отправился в Москву, и лишь только в оную приехал, то и окончил бродящую жизнь свою в июле 1689

года». Тут я вспомнил, что Закамский, говоря однажды со мною об этом неутомимом путешественнике, сказал: «Он, верно, похоронен в теперешней Марьиной роще, где в его время было немецкое кладбище». «Чего же лучше, – подумал я. – Вот не только оставленное, но вообще забытое кладбище, на этом народном гулянье давно уже заросшие травой могильные камни превратились в столы, за которыми раздаются веселые песни цыган и пируют в семик[114] разгульные толпы московских жителей».

Я вскочил с постели, велел заложить мои дрожки и через час был уже за Троицкой заставой. У самого поворота с большой дороги в Марьину рощу я приказал кучеру остановиться и ожидать меня подле аллеи, ведущей в село Останкино. Солнце еще не показывалось на небе, на котором не было ни одного облачка. Не знаю, оттого ли, что легкий плащ плохо защищал меня от утреннего холодного воздуха, или отчего другого, но я помню, что у меня была лихорадка: я дрожал. Пройдя с четверть версты скорым шагом, я согрелся. Разумеется, ни одной живой души не было в роще. Вдали,

в конце широкой просеки, белелись стены трактира и несколько разбросанных между кустов палаток, далее, к Суцевской заставе, выли собаки на медвежьей травле, и только вдоль опушки ближайшей Останкинской рощи раздавалась по заре протяжная песня одного крестьянина, который выехал чем свет в поле, чтоб спяхать свой осминник. У Рождества Божьей Матери, на Бутырках, заблаговестили к заутрене. Я невольно снял шляпу, перекрестился, и мысль воротиться назад, как молния, мелькнула в голове моей. «Не искушай твоего господа!» – раздалось в душе моей, но этот благой помысл был непродолжителен, проклятое любопытство и нужда, как говорится, выдержать характер, то есть во что бы ни стало поставить на своем, заглушили во мне этот слабый отголосок детских чувств и моих первых христианских впечатлений. Я вошел в рощу.

Пройдя шагов сто по широкой просеке, я повернул на право между деревьев, тут было разбросано в близком расстоянии один от другого несколько надгробных камней. Я остановился, поглядел кругом себя: все было

пусто и тихо, как в полночь, и слабый свет, который проникал сквозь ветки деревьев, подходил более на лунное сияние, чем на блеск утреннего солнца. Я сыскал толстый сук, очертил им два круга, в одном сделал небольшой костер из сухих спичек, которые привез с собою, бросил на него таинственную записку, высек огня, подложил и, войдя в другой круг, стал дожидаться, чем все это кончится. С той самой минуты, как я занялся этими приготовлениями, робость моя исчезла и я сделался так спокоен, как будто бы занимался каким-нибудь физическим опытом. В минуту огонь обхватил записку, она запылала, в то же самое время стая птиц поднялась со всех окружающих деревьев и с громким криком понеслась вон из рощи. С одной только березы, подле которой я стоял, не слетел огромный ворон и принялся каркать таким зловецким голосом, что я снова почувствовал в себе какую-то робость. Вот прошло полчаса – все та же тишина, еще прошло столько же – все смирно вокруг, никто не является, не слышно никакого шороха, даже ветерок не колышет листья на деревьях, а солнце уже высоко.

«Что же это? – подумал я. – В самом деле, не поверил ли я сумасшедшему? Или, что еще хуже, не дурачит ли меня этот магистр?.. Ах, черт возьми!» Вот гляжу, едет мимо меня крестьянин в телеге, через минуту другой, вон мелькнул красный сарафан, вот зашевелились кругом трактира, еще полчаса – и вся роща оживится, а я буду стоять в кругу и дожидаться какого-то чуда... Он советовал мне не выходить из него, пока не заблаговестят к обеду... Слуга покорный!.. Три часа сряду быть пошлым дураком!.. «Ах ты, проклятый немец! – вскричал я, выходя из круга. – Нет, голубчик, будет с тебя и того, что я битый час простоял здесь на карауле!»

– Позвольте узнать, где большая дорога? – сказал кто-то позади меня на чистом французском языке. Я вздрогнул, обернулся: в двух шагах от меня стоял человек лет тридцати пяти в модном гороховом сюртуке с длинным висячим воротником, в круглой шляпе и щегольских сапогах с белыми кожаными отворотами. Нечаянное появление этого незнакомца так меня испугало, что я с полминуты не мог оправиться и понять, чего он от меня

хочет. Он повторил свой вопрос на самом чистом русском языке.

– Большая дорога отсюда в двух шагах, – сказал я наконец. – Я сам пробираюсь к заставе, и если вам угодно идти со мною...

– С большим удовольствием!

Мы прошли несколько шагов молча. Я поглядывал украдкой на этого господина сначала с каким-то страхом: мне все казалось, что у него под шляпою припрятаны рога, а щегольские сапоги надеты на козлиные ноги. С первого взгляда наружность его мне вовсе не понравилась, смуглое продолговатое лицо, орлиный нос, рот до ушей и светло серые блестящие глаза, на которые тяжело было смотреть, но голос такой приятный, такой гармонический, что когда он начинал говорить, то мой слух решительно был очарован.

– Я, кажется, нигде не имел удовольствие с вами встречаться? – сказал я для того, чтоб что-нибудь сказать.

– Я не более трех дней как приехал в Москву, – отвечал незнакомый, – и почти никого здесь не знаю. Мне расхвалили московские окрестности, так я хотел ими полюбоваться. У

всякого свои причуды, я люблю бродить по полям, шататься по лесу, но только не в то время, когда гуляют другие. Сегодня, вместе с утренней зарею, я выехал на заставу и, признаюсь, очень удивился, когда встретил вас в этой роще.

Незнакомый сказал последние слова с какой-то сатанинской улыбкою, от которой меня бросило в жар. «Боже мой! – подумал я. – Ну, если он подсмотрел, что я здесь делал!

– Мне показалось, – продолжал незнакомый, – что вы были чем-то заняты, вы, верно, рассматривали древние надгробные камни, которые в этой роще на каждом шагу попадаются.

– Да, я разбирал надписи.

– И верно, не позавидовали красноречию тех, которые их сочиняли? Я также прочел надписи две – одна другой глупее. Надобно сказать правду, древние заставляли говорить умнее своих покойников. Но вот, кажется, и большая дорога, – продолжал незнакомый. – Моя коляска стоит у самой заставы, и если вам не наскучило еще идти пешком...

– Извините! – прервал я, чувствуя в себе ка-

кое-то неизъяснимое желание поскорей отделаться от этого товарища. — Мне некогда... я тороплюсь в город.

Незнакомый улыбнулся и замолчал, а я махнул моему кучеру, но, лишь только он принялся за вожжи, чтоб ехать ко мне навстречу, лошади начали храпеть, становиться на дыбы, вдруг бросились в сторону, понесли целиком, по пенькам, чрез канавки, а менее чем в полминуты пристяжная лежала на боку, а из дрожек остались целыми только одно колесо и оглобли. К счастью, мой кучер также уцелел. Надобно было непременно отпрячь лошадей и отвезти изломанные дрожки на извозчике. При помощи проходящих мы скоро все уладили, один крестьянин взялся сбегать за извозчиком, а я никак не мог отговориться от незнакомого, который хотел непременно довести меня до дому. Мы подошли к заставе. Красивая венская коляска, заложённая парюю отличных вороных коней, стояла у самого шлагбаума. Мальчик, одетый английским жокеем, отворил дверцы, мы сели и шибкой рысью помчались по улице.

От Троицкой заставы до Арбатских ворот,

где я жил, будет, по крайней мере, версты четыре, однако ж мы ехали не более четверти часа. Дорогою я узнал, что мой новый знакомец называется барон Брокен[115], что он два раза объехал кругом света и теперь отдыхает, гуляя по Европе, что он, имея непреодолимую страсть к путешествиям, выучился говорить почти на всех известных языках и что русский нравится ему всех более. Не знаю, оттого ли, что он потешил мое национальное самолюбие, похвалив наш родной язык, или потому, что этот барон говорит отменно умно и приятно, но только он успел совершенно помирить меня с собою, его блестящие лукавством глаза, насмешливое выражение лица и даже эта почти непрерывная сардоническая улыбка, которая показалась мне сначала так отвратительною, не возбуждала уже во мне никакого неприятного чувства. Когда мы подъехали к воротам моей квартиры, я пригласил его войти и выпить со мною чашку чая.

– Скажите мне, – спросил я своего нового знакомца, усадив его на канаве, – долго ли вы у нас в Москве прогостите?

– Право, не знаю, как вам ответить, – сказал барон. – Если ваша Москва мне понравится, то я проживу здесь не сколько месяцев, целый год – даже два, а может быть, не погнавайтесь, уеду и через неделю. Я шатаюсь по свету без всякого плана, без всякой цели – просто для своей забавы. До сих пор я мог прожить два года сряду только в одном Париже и, вероятно, остался бы еще долее, но этот Первый консул[116] с своим порядком, с своими законами до смерти мне надоел. Народ перестал мешаться в дела правительства, по улицам тихо, тюрьмы опустели, нет жизни, нет движения, опять зазвонили на всех колокольнях – тоска, да и только! Я вижу, слова мои вас удивляют, – промолвил барон, взглянув на меня с улыбкою, – да и может ли быть иначе: вы русский, живете в православной Москве, так, конечно, этот образ мыслей должен казаться вам...

– Несколько странным – это правда, – сказал я. – Говорят, теперь можно жить в Париже, но когда он тонул в крови...

– Тонул!.. И, полноте! Это риторическая фигура. И что такое несколько тысяч людей ме-

нее или более для Парижа? Разве не бывают в больших городах повальные болезни? А как зовут эту болезнь: поветрием, тифом, чумою, гильотиною – не все это равно?

– Но что за радость жить в чумном городе? И позвольте вам сказать: когда Марат, Робеспьер, Дантон[117] и сотни других злодеев управляли Францией...

– Тогда в тысячу раз было веселее, чем теперь, – прервал с живостью барон. – Все дело зависит от взгляда. Какая-нибудь слезная немецкая драма, от которой плачет глупец, заставит вас смеяться. При Робеспьере давались точно такие же представления в Париже и во всей Франции, как некогда в древнем Риме, только число актеров, которые умирали для потехи зрителей, было поболее. А какая кипучая жизнь!.. Как проявлялась[118] она во всей своей силе и энергии!.. Представьте себе: в одном углу Парижа резали, рубили головы, в другом плясали, пели, бесновались. Сегодня одно правительство, завтра другое, после завтра третье, ну, точно китайские тени. Сегодня Дантон выше всех целой головою, а завтра он без головы, сегодня Робеспьер приказывает и

Франция повинуется, а завтра его волочат по грязи. На улицах вечный базар, все в каком-то бардаке, в чаду. Жизнь текла так быстро, опомниться бело некогда, всякий спешил наслаждаться, потому что не знал, будет ли жив завтра. А эти публичные вакханалии, эти языческие праздники, эти братские ужины, на манер спартанских обедов, эти Бруты в толстых галстуках и Горации в красных колпаках, эти французские гречанки, которые в газовых тюниках, с босыми ногами, вальсировали как безумные на балах, даваемых в память их отцов, мужей и братьев, погибших на эшафоте[119]. Все это было так пестро, так необыкновенно! Вся Франция походила в это время...

– На обширный дом сумасшедших! – сказал я.

– Не спорю! – продолжал барон. – Но это безумие, эта общая и непрерывная оргия целой нации имела в себе тьму поэзии, перед которой наша бледная общественная жизнь, с своими пошлыми приличиями, с своими обветшалыми условиями и лицемерной добродетелью, так скучна, так бесцветна, что мочи

нет! Признаюсь, я смотрел с восторгом на это брожение умов, на этот избыток жизни, они ручались мне за будущее. Французы не шли, а бежали вперед. Они были некогда религиозными фанатиками, при Филиппе жгли на кострах рыцарей храма, а при Карле IX резали протестантов[120]. Эти же самые французы, во время революции, ничему не верили, ничего не признавали, кроме богини разума, которую, скажу вам мимоходом, представляла очень недурно одна балетная фигурантка. Да, французы были тогда отменно забавны, а Париж – о! Париж был очарователен, и я еще раз повторяю вам, что в это лихорадочное, тревожное время он был точно мой город: я любил его. Вам это странно? Что ж делать! Я люблю смуты, движение, тревогу. Конечно, мир, тишина и спокойствие прекрасны, но они так походят на смерть, так напоминают могилу!..

Я слушал моего нового знакомца и несколько раз подымал невольно руку, чтоб перекреститься, все опасения мои возобновились. «Господи боже мой! Что это? Кто, кроме дьявола, будет говорить с такою любовью о

французской революции? Кто, кроме ангела тьмы, станет вспоминать с восторгом об этой человеческой бойне и жалеть, что она прекратилась?» Вероятно, барон отгадал, что происходило в душе моей: он засмеялся и, протянув мне руку, сказал:

– Не бойтесь! Я, право, не был приятелем ни Робеспьеру, ни Марату, и вовсе не то, что вы думаете. Вам странно, что я говорю шутя о французской революции? Поживите подолее, пошатайтесь по свету, так, может быть, и вы перестанете говорить о ней с таким отвращением и ужасом: ведь ко всему можно приглядеться. Когда вы узнаете хорошенько людей и все, к чему способна эта порода двуногих животных, то вы будете дивиться только одному – как они до сих пор не передушили друг друга. Вольтер называл французов полуобезьянами и полутиграми, да, все люди таковы. Род человеческий в одно и то же время так гадок и так смешон, что нет никакой середины: или, глядя на него, должно, как Гераклиту [121], беспрестанно плакать, или, как Демокриту [122], поминутно смеяться. Я выбрал последнее. Теперь вы видите, почему этот шу-

товской маскарад, этот трагикомический фарс, который мы называем французской революцией, казался для меня очень забавным... Да что об этом говорить! Вы, кажется, не любите ни политики, ни философии, я и сам их терпеть не могу. Мы живем недолго, а для умного человека так много наслаждений в жизни, что, право, стыдно терять время на эту пустую болтовню. Поговоримте лучше о другом. Прошлого года я познакомился в Карлсбаде с одной русской дамой, которая теперь должна быть в Москве. Может быть, вы ее знаете? В Карлсбаде ее называли просто русской красавицею, прекрасной Надиною, а мужа, который вовсе не красавец, кажется, зовут Алексеем Семеновичем Днепровским.

– Да, точно, они теперь в Москве, но я не знаком с ними.

– Так познакомьтесь! Вам будет у них очень весело. Жена мила как ангел, прелесть собою, а муж такой добрый, такой доверчивый, такой глупый! Отличный хлебосол, кормит прекрасно и всегда в большой дружбе с тем, кто волочитя за его женою.

– У меня есть к ним рекомендательное

письмо от моего опекуна, но, когда я приехал в Москву, они были за границей.

– Чего же лучше? Ступайте к ним... Или нет, я сегодня их отыщу. Днепроvский дал мне при расставании свой московский адрес. Я их предупредю, и мы завтра же поедem к ним вместо.

– Но я не знаю, отыщу ли мое рекомендательное письмо.

– И, полноте! Взгляните на себя: на что вам рекомендательные письма? Вот, например, я, о, это другое дело! И я могу понравиться, но, уж конечно, не с первого взгляда. Итак, это решено, приезжайте завтра ко мне, мы позавтракаем, выпьем бутылку шампанского и поговоримся, когда ехать к Днепроvским. Я живу на Тверской в венецианском доме, номер тридцать третий. До свидания! Я жду вас часу в первом – не забудьте!

Барон пожал мне руку, и мы расстались.

IV. НАДИНА ДНЕПРОВСКАЯ

Я не забыл своего обещания, и ровно в двенадцать часов был уже в венецианском доме[123]. Мальчик, одетый жокеем, побежал доложить обо мне барону.

– О! Да вы преаккуратный молодой человек! – сказал Брокен, идя ко мне навстречу. – Давайте завтракать, а потом вы скажете мне свое мнение об этом вине. Клянусь честью, такого шампанского я не пивал в самом Париже! Честь и слава вашей Москве! Я вижу, в ней за деньги можно иметь все.

Мы позавтракали, выпили по два бокала шампанского, которое в самом деле показалось мне превосходным. Барон сказал мне, что отыскал Днепровских, что они очень ему обрадовались и весьма желают со мною познакомиться.

– Мы поедем к ним сегодня вечером, – продолжал он. – Знайте наперед, что хозяин замучит вас своими вежливыми фразами и, верно, полюбит до смерти, если вы станете любезничать с его женою. Не знаю, будете ли вы довольны приемом хозяйки, на нее нахо-

дит иногда какая-то задумчивость и грусть. Если вы нападете на одну из этих минут, то, быть может, эта любезная женщина покажется вам вовсе не любезною. Изо всех ее знакомых один только муж не отгадывает причины этих меланхолических припадков, и когда б ему сказали: «Твоя жена тоскует вероятно оттого, что влюблена», так он, верно бы, отвечал: «Да отчего же ей тосковать, ведь я ее люблю?» А если б нашелся добрый человек, который сказал бы ему: «Дурак! Да она любит не тебя!» – то этот образцовый муж умер бы со смеха.

– Да почему же вы думаете, – спросил я, – что Днепровская влюблена?

– Потому, что женщина с такой романической головою и чувствительным сердцем должна непременно любить, а так как муж ее вовсе не любезен, то, без всякого сомнения, она любит кого-нибудь другого и, вероятно, тоскует о том, что не может принадлежать тому, кого любит. Это так просто, так естественно!.. А впрочем, статья может, что Днепровская никого еще не любила, быть может, ее тревожит это безотчетное желание любви,

эта потребность упиться страстью, слить свою душу с душою другого, и почему знать, – прибавил с улыбкою барон, – может быть, вы тот счастливец, на груди которого это бедное сердце забьется новой жизнью и перестанет тосковать.

Я покраснел.

– Ого! – вскричал барон. – Да вы в самом деле человек опасный! Знаете ли, как эта девственная стыдливость нравится женщинам? Вы прекрасный мужчина, живете в большом свете, вам за двадцать лет, и вы умеете краснеть!.. Ну, Днепровский, держись!

– Ему нечего бояться, – сказал я, шутя. – Нет человека, который менее моего опасен для женщины: у меня есть невеста, барон.

– Так что ж!

– Как что? Я люблю мою невесту, и хотя мы живем далеко друг от друга...

Громкий хохот барона прервал мои слова.

– Итак, вы любите ее заочно? – проговорил он, задыхаясь от смеха. – Заочно!.. Ах, сделайте милость, скажите мне, в какой части света этот счастливый уголок земли, где вы набрались таких патриархальных правил? Вы жи-

вете розно с вашей невестою и не смеете... О! Да вы прекрасный Иосиф[124], воплощенная добродетель!

– Но разве я могу принадлежать другой женщине?

– Принадлежать и любить – две вещи совершенно разные. Кто вам мешает принадлежать одной, а любить всех?

– И делиться со всеми моим сердцем?

– Сердцем! Да кто вам говорит о сердце? И что такое сердце? Сердце – принадлежность женщин, у мужчин должна быть только голова.

– Так, по-вашему, барон, постоянство...

– Постоянство! И, полноте! Что за рыцарские правила! Век Амадисов[125] прошел. Помилуйте! Кто нынче говорит об этих допотопных добродетелях? Да знаете ли, что, несмотря на вашу прекрасную наружность, вы вовсе пропадете во мнении у женщин, они станут вслух хвалить вас, а потихоньку над вами смеяться, и, воля ваша, женщины будут правы. Пусть хвастается своим постоянством тот, который и хотел бы, да не может быть непостоянным, но вы!.. Неужели вы думаете, что

природа создала вас красавцем для того, чтоб вы любили одну только женщину! Какой вздор! Одну! Когда вы можете свободно выбирать из этого прелестного цветника, от пышной розы переходить к скромной незабудке, любоваться каким-нибудь пестрым махровым цветком и бросать его при виде чистой и белой, как снег, лилии. Вы созданы для наслаждений, так наслаждайтесь! Может быть, вы скажете: женщины не цветки, они могут страдать, умирать с тоски, гибнуть от вашего непостоянства. Не бойтесь! Эти женские горести, как весенние тучи: лишь только начнут собираться, ан, глядишь, солнышко и проглянуло. Умирают с тоски только те, которые не находят утешителей. Послушайте меня: любите одних хорошеньких и почивайте спокойно: никто не умрет от вашего непостоянства.

Ничто не действует так сильно на воображение молодого человека, как эти блестящие софизмы, разбросанные в простом, дружеском разговоре, высказанные шутя и представленные в виде давно принятых истин. Это яд, который подносят ему в прекрасном

сосуде и дают выпить не разом, а понемногу, каплю по капле, чтоб он не чувствовал всей его горечи, не догадался, что в этом сосуде яд, и не помешал отравить себя наверное. Если б новый мой знакомец стал преподавать мне свои правила систематически, как науку общежития, то они показались бы мне отвратительными, но этот веселый, шуточный тон, эти пиитические сравнения, эти насмешливые фразы пленили меня своим остроумием, в них развратная мысль таилась как змея под цветами. Я был молод, ветрен, но сердце мое было еще невинно, порок не овладел им, следовательно, я уважал женщин и не верил словам барона, а несмотря на это, не смел ему противоречить и даже, чтоб не показаться смешным педантом или, как говорят нынче, *отсталым*, слушал его иногда с одобрительною улыбкою.

Я пробыл у барона часов до двух. Во все это время он говорил беспрестанно, переходя от одного предмета к другому, он все более и более раскрывал мне свою философию, нечувствительно становился смелее в своих суждениях, осыпал эпиграммами старый образ

мыслей, говорил то шутя, то с восторгом о новых идеях, о требованиях века, смеялся над предрассудками и называл предрассудком все, что я привык с детства почитать святым. Сначала, когда змея стала приподнимать из-за цветов свою голову, я испугался, но барон говорил так мило, во всех словах его заметно было такое отличное образование, такой прекрасный тон, что под конец я решительно увлекся, начал слушать его не только без досады, но даже с удовольствием, и если не совсем сошел с ума, то, по крайней мере, опьянел совершенно. Возвратясь домой, я не вспомнил даже, что пропустил почтовый день и не писал к Машеньке.

В восемь часов вечера барон заехал за мною, и мы отправились к Днепровским. Хозяин встретил нас в гостиной. Когда барон назвал меня по имени, Днепровский, пожав мою руку, сказал:

– Очень рад, Александр Михайлович, что могу с вами познакомиться, надеюсь, мы часто будем видеться. Я вас сейчас представлю моей Надежде Васильевне. Я иногда обедаю в Английском клубе, но она всегда дома, мило-

сти просим к нам каждый день.

Радужный прием Днепровского мне очень понравился, он показался мне человеком лет пятидесяти, но довольно приятной наружности, и хотя я был предубежден насчет его ума, однако ж не заметил ничего ни в его словах, ни в поступках, что могло бы оправдать мнения барона. Минут через пять вошла в гостиную молодая женщина, одетая просто, но с большим вкусом.

– Вот жена моя! – сказал Днепровский.

Я хотел подойти и поцеловать ее руку (не смейтесь, это было лет сорок тому назад), но Днепровский предупредил меня: он бросился с испуганным видом к своей жене и вскричал:

– Что ты, Надина, что с тобой? Сядь, мой друг, сядь!

– Ничего! – прошептала Днепровская, стараясь улыбаться.

– Ты совсем в лице переменялась. Тебе дурно? В самом деле, она была бледна как смерть.

– Ничего! – повторила Днепровская, садясь на кресло, которое подал ей муж. – Это прой-

дет... Вчерашний бал... Я так устала!.. Не беспокойтесь! – продолжала она, обращаясь ко мне. – Вот уж мне и лучше.

– Да, да! – вскричал хозяин. – У тебя опять показался румянец... Как ты меня испугала, Надина!

– Знаете ли. Надежда Васильевна, – сказал барон, взглянув на меня с улыбкою, – если б мой приятель был так же дурен, как я, то можно было бы подумать, что вы его испугались.

– О нет! – прервал шутя хозяин. – Александр Михайлович страшен, да только не для жен. Не правда ли, *ma chère*?[126]

Надежда Васильевна, не отвечая на вопрос мужа, пригласила меня сесть возле себя. Разговоры людей, которые в первый раз видят друг друга, почти всегда бывают одинаковы: две, три фразы о том, что погода дурна или хороша, несколько слов о городских новостях, о балах, а иногда, если один из разговаривающих бывал в чужих краях, речь пойдет о том, что в России отменно скучно, а за границей очень весело, что у нас холодно зимою, а в Италии жарко летом, или о том, как живопис-

ны берега Рейна, как высоки горы Швейцарии и как много в Париже театров. Все это очень ново, занимательно и отменно забавно, а особенно для того, кто учился не у приходского дьячка и получил какое-нибудь образование. Мой первый разговор с Надеждой Васильевной был именно в этом роде, но она говорила так мило, голос ее был так приятен, улыбка так очаровательна, что мне показалось, будто я слышу в первый раз от роду, что в Париже есть театры, а в Швейцарии высокие горы и обширные озера. Впрочем, надобно сказать правду, я гораздо внимательнее смотрел на мою прелестную собеседницу, чем слушал ее рассказы о прекрасной Франции и благословенных берегах Женевского озера; мне все казалось, что мы не в первый раз в жизни встретились друг с другом: я где-то видел эти великолепные черные глаза, эти длинные ресницы, этот унылый, но полный жизни взгляд был точно мне знаком... Вдруг что-то прошедшее оживилось в моей памяти, и я совсем некстати, даже очень невежливо, прервал ее речь вопросом, который не имел ничего общего с нашим разговором.

– У вас, кажется, есть подмосковная? – спросил я.

– Да, – отвечала Днепровская, – на двенадцатой версте от Москвы, по Владимирской дороге.

– И вы любите ездить верхом?

Этот второй вопрос, который также довольно плохо клеился к первому, заставил покраснеть Надежду Васильевну. Я повторил его.

– Третьего года я очень часто ездила верхом, – прошептала она тихим голосом.

– Итак, это были вы!

Днепровская не отвечала, но покраснела еще более, томные глаза ее заблестали радостью, и если бы я был хотя несколько неопытнее, то прочел бы в них: как я счастлива – он узнал меня!

– *Machère amie!*[127] – закричал Днепровский. – Графиня Марья Сергеевна!

Надежда Васильевна вскочила с своего места и побежала навстречу к даме лет сорока, которая входила в гостиную. Эта барыня была видного роста, но так желта и худа, так пряма, плоска и опутана золотыми цепочками,

что, глядя на нее, я невольно вспомнил эти пряничные, размалеванные сусальным золотом человеческие фигурки, до которых был в старину большой охотник. Я узнал после, что графиня великая музыкантша, то есть она говорила с восторгом об итальянской музыке, знала все технические музыкальные названия и сама, как рассказывали ее приятели, пела бы прекрасно, если бы у нее был голос.

– Поздравь меня, Надина! – вскричала она, расцеловав хозяйку. – Я слышала сегодня Манжолети и на этой неделе буду петь с нею тот самый дуэт, который пела в начале года с Марою... Ах, мой друг! Какой голос! Какая метода!.. В жизнь мою я не слыхала ничего подобного!.. Она пела... ты знаешь эту арию Чимарозы...[128] эту прелесть... Ах, вспомнить не могу!..

Я объявил уже моим читателям, со всем простодушием музыкального невежды, что не люблю итальянской музыки; следовательно, неохотно слушаю, когда о ней говорят, а особенно с этим беспредельным восторгом, который допускает одни только восклицания, мне все кажется, что передо мною играют ко-

медию и сговорились меня дурачить[129].
Чтоб не слышать возгласов этой *музыкальной*
графини, я подошел к барону.

– Сегодня поутру, – сказал он вполголоса, –
я говорил вам, что, может быть, вы тот счаст-
ливец, на груди которого бедное сердце Нади-
ны забьется новой жизнью, это было одно
предположение, а теперь!.. О! Да вы человек
ужасный!.. При первом свидании, с первого
взгляда... Ну!!!

– Что вы, барон!.. Перестаньте!

– Виноват! Я стоял позади вас и слышал
все: это не первое, а второе свидание. Теперь
я не скажу: «Ну, Днепровский, держись!» – а
подумаю про себя: «Бедный Днепровский –
терпи!»

– Да полноте! Как вам не стыдно!

– Впрочем, оно так и быть должно: мужа
прекрасных жен созданы для этого.

– Вы, верно, забыли, барон... – сказал я шу-
тя.

– Что вы помолвлены?.. О, нет! Но прежде,
чем вы сделаетесь похожим на Днепровского,
ваша будущая супруга успеет постареть, а это
совсем дурное дело. Конечно, и тут есть моно-

полия, – прибавил барон с улыбкою, – по всей справедливости, все прекрасное, – а что может быть прекраснее милой женщины? – не должно принадлежать исключительно одному, но, по крайней мере, тут будут счастливы двое, так это еще сносно, а здесь, посмотрите: ну, не грустно ли видеть такое уродливое сочетание весны с глубокой осенью? Через десять лет Надина все еще будет прекрасна, а этот Днепровский... Представьте себе, что он будет через десять лет? Старый изношенный колпак, нестерпимый брюзга, храпотун, в подагре, в хирагре[130] и в разных других лихих болячках!.. Когда в супружестве тысячи молодых людей пьют горькую чашу, вы думаете, что этот старый вампир, который заел век прекрасной девушки, останется без наказания?.. Не бойтесь!.. Найдется утешитель – не вы, так другой... А право, будет жаль!.. Посмотрите, как она мила!

С Днепровской говорили в эту минуту приятели мои, князь Двинский и Закамский, они только что вошли в комнату. Надежда Васильевна очень холодно отвечала на вежливые фразы князя, но, казалось, весьма обрадова-

лась, увидя Закамского.

– Я сейчас от моей кухни, – сказал князь. – Знаете ли что, Надежда Васильевна, ведь я уговорил ее будущей весной ехать на воды. Она никак не хотела послушаться своего доктора; но я уверил ее, что Карлсбадские воды делают чудеса, и в доказательство привел вас.

– Меня? Да какое чудо сделали со мною Карлсбадские воды?

– Вы приехали с них еще прекраснее, чем были прежде, ведь это не чудо...

Надежда Васильевна улыбнулась.

Знаете ли вы эту женскую улыбку, которая страшнее всякой злой эпиграммы, эту улыбку, за которую мы стали бы стреляться на двух шагах с мужчиною и которая на розовых губках красавицы в тысячу раз еще обиднее? Вызвать эту улыбку на уста любимой женщины – такое несчастье, с которым ничего в свете сравниться не может. Если она предпочитает другого, не обращает на вас никакого внимания и даже ненавидит вас, вы все еще можете надеяться, но когда, говоря с вами, она улыбнется, как улыбнулась Надежда Ва-

сильевна в ответ на пошлую вежливость бедного Двинского, то вы решительно человек погибший: вы должны непременно или зачахнуть с горя, или перестать любить ее.

– Клянусь честью, – продолжал Двинский, – это совершенная правда! Вы сделали еще прекраснее, и если вы мне не верите...

– Как не верить, князь, – прервала Днепровская, – вот уже третий раз, как вы мне это говорите.

– Il y a des choses qu'on ne peut assez répéter, madame! [131] – пробормотал Двинский, не зная, как скрыть свое смущение. К счастью, ему попался на глаза барон: он узнал в нем своего парижского знакомца и с радостным восклицанием бросился к нему навстречу.

– Вы ли это, Брокен? – вскричал он. – Возможно ли?..

– Да, князь, это я.

– Представьте себе: меня уверил приятель мой, Вольский, который вовсе не лгун, что вы умерли в Париже...

– На эшафоте? – прервал барон с улыбкою.

– Да, да! Он божился, что видел сам своими

Глазами...

– Как мне отрубили голову?

– Да! Он рассказывал, что вас казнили в один день с Сент-Жюстом[132] и Робеспьером.

– Скажите пожалуйста!

– И что, взойдя на эшафот, вы очень долго разговаривали с народом.

– Вот уж этого я не помню.

– Ну, можно ли так сочинять?

– Почему ж сочинять? Это правда.

– Как правда?

– Да, мне точно отрубили голову, но, к счастью, я попал на руки к хорошему доктору: он меня вылечил.

– Что за вздор!

– Право, так.

– Вы вовсе не переменились, барон.

– Да, князь, я люблю по-прежнему быть вежливым и скорее солгу сам, чем скажу о другом, что он лжет, а особенно если говорю с его приятелем.

– Какой оригинал этот барон, – сказал хозяин. – Не угодно ли вам в бостон с дамами? – продолжал он, подавая мне карту.

Я отказался. Через полчаса в гостиной ста-

ло тесно; но скоро все пришло в надлежащий порядок: партии составились, по всем углам гостиной начали козырять, и сам хозяин сел играть в пикет с одним напудренным эмигрантом, у которого в петличке висел орден святого Людовика. Надежда Васильевна пригласила в диванную остальных гостей, то есть меня, Закамского, барона, князя и двух молодых дам, из которых одна была мне знакома. Я хотел сесть подле нее на диване, но хозяйка обогнала меня.

– Садитесь здесь, против нас, – сказала она, показывая на большие вольтеровские кресла.

Барон расположился подле меня, а князь и Закамский на другом конце дивана.

– Я надеюсь, Александр Михайлович, – сказала Днепровская, – мы часто будем вас видеть. Я почти всегда дома, мое здоровье так расстроено, и если вас не пугает общество больной женщины...

– Которая одним взглядом может дать жизнь и отнять ее, – прервал князь.

– Ох! – шепнул Закамский.

Обе гостьи взглянули друг на друга и улыбнулись.

– Скажите мне, Александр Михайлович, – продолжала хозяйка, не обращая никакого внимания на Двинского, – вы постоянный здешний житель?

– Я был им до сих пор, Надежда Васильевна, но, может быть, скоро мне должно будет ехать в деревню, на свою родину...

– Так вы нас покидаете?..

– Что ж делать! У меня есть обязанности.

– Обязанности?..

– Не верьте ему! – прервал барон. – Это совершенно зависит от него.

– Вы ошибаетесь, барон, – подхватил князь, – это могло зависеть от него прежде: он еще не был знаком с Надеждою Васильевною, но теперь...

Днепровская взглянула так ласково на князя, что, верно, он подумал про себя: что это как женщины капризны! Ну, чем этот комплимент лучше прежних?

– Ах, здравствуйте, Андрей Семенович! – сказала хозяйка, привставая. – Давно ли приехали в Москву, надолго ли?

Этот вопрос был сделан худощавому старику, который вошел в диванную. Несмотря на

большой красный нос, черты лица его были довольно приятны, а в веселой и даже несколько насмешливой улыбке, заметен был ум и природная острота. Он был в немецком кафтане старого покроя, в шелковых чулках, в башмаках с пряжками, в рыжеватом парике с длинным пучком и держал в руке толстую камышовую трость с золотым набалдашником.

– Здравствуйте, матушка Надежда Васильевна! – сказал этот гость, целуя руку хозяйки. – Вчера только приехал из Калуги и за первый долг поставил явиться к вам. Здравствуйте, сударь, Василий Дмитриевич! – продолжал он, кланяясь Закамскому. – Сердечно радуюсь, что вижу вас в добром здоровье.

Хозяйка села подло нового гостя и стала с ним разговаривать, а князь, наклоняясь к Закамскому, спросил его вполголоса:

– Из какой кунсткамеры вырвался этот антик с красным носом и длинным пучком?

– Это деревенский сосед мой, Лутин, – отвечал Закамский, – весьма хороший и, не прогневайся, очень умный и просвещенный человек.

– Уж и просвещенный!

– Может быть, не по-твоему, князь, но ведь это еще вопрос нерешенный: в том ли состоит просвещение, чтоб беспрестанно кричать о нем или молча любить его. Знать наизусть имена всех хороших и дурных французских писателей, уметь при случае говорить обо всем и носить костюм своего времени – конечно, все это самые верные признаки просвещения, однако ж поверь, мой друг, можно и донашивая платье своего отца и не зная, что Дорат[133] писал дурные стихи, а Прудон [134] дурные трагедии, быть очень почтенным дворянином, хорошим помещиком и даже, как я имел уже честь докладывать вашему сиятельству, весьма просвещенным человеком.

– Что, Василий Дмитрич, – сказал Лугин, обращаясь к Закамскому, – вы совсем сделались москвичом, вовсе нас забыли и заглянуть в Калугу не хотите.

– Все не сберусь, Андрей Семенович.

– Скажите лучше, охоты нет. Видно, Москва-то вам больно приглянулась.

– Поживите с нами годик-другой, Андрей

Семеныч, так она, может быть, и вам полюбится. Право, Москва старушка добрая, немножко сплетница, любит иногда красное словцо отпустить, прикинуться француженкой, позлословить – все так! Но где найдете вы более гостеприимства, ласки, радушия?..

– Да, батюшка, что правда, то правда – гостеприимный городок. Да вот хоть сегодня, заехал я поутру к Брянским – господи, какой поднялся крик! И матушка, и дочка, и отец... «Андрей Семеныч, вы ли это?.. Сколько зим, сколько лет!.. Какое для нас удовольствие!.. Как мы рады!.. Ах боже мой!..» Я и слов не нашел, как благодарить за такой прием, думаю только про себя: «Фу, батюшки, как они меня любят!.. А за что бы, кажется?.. Ну, дай бог им доброго здоровья!» Не прошло пяти минут, вдруг поднялся радостный крик громче прежнего, гляжу: что такое?.. Пришел тиролоец с коврижками.

– Андрей Семенович! – сказала с улыбкою хозяйка. – Вы вечно нападаете на Москву.

– Помилуйте, сударыня! Я только что рассказываю.

– Расскажите-ка нам что-нибудь, – продол-

жала Днепровская, – об Алексее Ивановиче Хопрове, мы познакомились с ним в Париже. Я слышала, он живет теперь в вашей губернии.

– В пяти верстах от меня, Надежда Васильевна.

– Ну что, здоров ли он?

– Да как бы вам сказать? Не то что болен, однако ж не вовсе здоров, матушка; не худо бы его полечить.

– Что с ним такое?

– Да так, что-то вовсе одурел. Он был прежде человек хоть и не больно грамотный, а все-таки брело кое-как: нашлось бы в нашем уезде два-три дворянина не умней его; а вот с тех пор, как побывал в Париже, так бог знает что с ним сделалось! Крестьян разорил, а толкует все о правах человека; себя называет философом, а нас всех варварами и кричит в неточный голос: «Ну, скажите, бога ради, какая разница между мной и мужиком?» Я ему сказал однажды, что никакой, – так рассердился. Помилуйте, как же он не сумасшедший?

– Извините! – прервал князь. – Может

быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что этот господин Хопров прослыл у вас в Калуге сумасшедшим по той же самой причине, по какой называли абдериты[135] глупцом своего соотечественника Демокрита.

– То есть, вы изволите думать, что в нашей губернии дворяне все дураки, а умен один Хопров? Быть может, батюшка.

– Я не говорю этого, но скажите мне, что находите вы смешного в этой философической идее вашего соседа об естественных правах человека? Я сам дворянин, и даже князь, следовательно, могу рассуждать беспристрастно об этом предмете. У нас нет наследственной аристократии; но там, где она есть, скажите: за что один класс людей наделен исключительными правами и справедливо ли, что эти права переходят от отца к сыну? За что я должен уважать и кланяться каким-нибудь лордам, герцогам или испанским грандам? Уж не за то ли, что они, говоря словами Бомарше, взяли на себя труд родиться?

– Оно, кажется, как будто бы и так, ваше сиятельство, – сказал Лугин, понюхав табак из своей серебряной табакерки, – да только

вот беда, что там, где нет аристократии, чинов и званий, так уж, наверное, есть аристократия богатства. Посмотрите, батюшка, хоть на Соединенные Американские Штаты: там не станут кланяться герцогу, а также гнут шеи перед богатым капиталистом, то есть уважают в нем не доблести и великие дела его предков, но миллионы, полученные им в наследство от отца и нажитые, может быть, самым низким и подлым образом. Позвольте спросить, ваше сиятельство, неужели это уважение к богатству менее оскорбительно для нашего самолюбия, чем уважение к знамени-тому имени? Вы скажете, может быть: ну, пусть отец заслужил звание князя, графа, герцога и за свои труды или подвиги сделался из простого человека вельможею; да за что же сын его, который ничего еще не сделал для общества, получит в наследство это звание и, следовательно, некоторую часть почестей, с ним соединенных?

— Как за что, батюшка? Где же будет справедливость? Богач может передать сыну свои миллионы и вместе с ними уважение, которое мы все, грешные, имеем к богатству; и

верный слуга царский, добросовестный, неутомимый судья, ученый муж, гений, просветивший свою родину, и великий полководец, которому она обязана своим спасением, не будут иметь права передать с знаменитыми своими именами хоть часть этого невестественного богатства, этой святой и не подлежащей никакому спору собственности? В таком случае не должен ли каждый добрый отец из любви к детям избрать лучше звание ростовщика, чем служить верой и правдой своему государю и отечеству?

– Да разве все служат верой и правдой? – прервал князь. – Разве не было вельмож, которые сделались вельможами, поступая всю жизнь вопреки чести и совести?

– Правда, сударь, правда! Но ведь и богатство-то не всегда наживается честным образом, а все-таки переходит в наследство к детям. Сын богача может промотать свое наследие, сын знаменитого человека может обесчестить свое имя, следовательно, и в этом отношении они подвергаются равной участи; так позвольте же им, батюшка, и пользоваться равными выгодами или скажите решитель-

но, что здравый смысл и логика – вздор, а правосудие – старый предрассудок, потому что ваше мнение о справедливости и равных гражданских правах совершенно им противоречат. Лугин замолчал и преспокойно открыл опять свою табакерку.

– Здравый смысл! Здравый смысл! – шептал сквозь зубы князь, покачиваясь на своем стуле. – Эти господа вечно опираются на здравый смысл.

– Да на что же и опираться-то, ваше сиятельство? – прервал Лугин. – Опора хорошая – не подломится.

– Да что такое здравый смысл? Вещь совершенно арбитражная...

– То есть условная, хотите вы сказать? Не думаю. Хоть и есть русская пословица: «Что голов, то умов», а я все-таки уверен, что ум один.

– И я то же думаю, – сказал с насмешливой улыбкой барон, – но, к сожалению, мы часто называем умом и здравым смыслом то, что вовсе не ум и не здравый смысл, а один отголосок закоренелого невежества и старых предрассудков. Я уверен, что если бы князь

взял на себя труд поразвернуть эту идею, которая, по нашему мнению, совершенно противоречит здравому смыслу, то, может быть, большинство голосов осталось бы не на вашей стороне; если б он сказал...

Тут барон начал говорить с таким увлекающим красноречием, исполненные силы филантропические выходки, пересыпанные остроумными фразами так быстро следовали одни за другими, что не было никакой возможности отделить ложь от истины. Все, что ни говорил барон, казалось, носило на себе отпечаток неподдельного чувства справедливости и душевного убеждения. Он обладал вполне великой наукою посредством звучных слов и блестящих софизмов смешивать все понятия, заменять идеи фразами, употреблять кстати слова: *человечество, просвещение, европеизм, требования века*; одних пленять этими модными словцами, других удивлять новостью своих ученых выражений, и вообще всех если не убеждать, то, по крайней мере, сбивать с толку. Говорят, что будто бы эта наука и теперь еще в большом ходу. Быть может, только пора бы похоронить ее вместе с площад-

ными шарлатанами, которые из любви к человечеству лечат за деньги от всех болезней хлебными пилюлями и подкрашенной водою.

Я не стану повторять вам слова барона. Если вы читали французских философов восемнадцатого столетия, то не скажу вам ничего нового, если же вы их не читали, с чем от всего сердца вас поздравляю, то к чему *засаривать* ваше воображение, зачем охлаждать душу софизмами этих мудрецов, которые, не умея создавать ничего, старались только разрушить и, отнимая у человека все – даже надежду, – называли себя благодетелями и просветителями рода человеческого... Шарлатаны! Если бы, по крайней мере, они продавали хлебные пилюли и безвредную подкрашенную воду... Нет! Они торговали ядом.

Закамский слушал с приметным неудовольствием барона, старик Лугин улыбался и покачивал головою, а я совершенно бы увлекся его красноречием, если бы по временам какое-то внутреннее чувство не убеждало меня, что он говорит хотя и очень красно, но вовсе не добросовестно. Зато князь Двинский и дамы были в восторге, первый потому, что ба-

рон взял его сторону, а другие по чувству, которое сродно всем женщинам, – чувству благородному, но, к несчастью, почти всегда безотчетному. Все, что с первого взгляда кажется высоким и прекрасным, найдет всегда отголосок в их сердце. Они не станут разбирать, может ли общество существовать без власти и закона, могут ли быть все люди с равными правами и равным богатством, им какое дело до расстояния, которое существует и будет всегда существовать между человеком образованным и невеждою, между умным и глупцом, деятельным и ленивцем, сильным и слабым: им скажут, что все люди могут быть счастливы, что богатые и сильные не станут угнетать бедных и слабых, что все будут равны, что это возможно, что для этого надобно только искоренить все предрассудки, усыпить все страсти, сравнять все состояния, изменить нравы, обычаи, законы, а остальное придет само собою. Им скажут это, и добрые, чувствительные женщины будут слушать с восторгом этот философический бред, потому что он обещает блаженство всей вселенной, и, может быть, многим из них не придет даже

в голову, что этот новый порядок вещей помещает им ездить в каретах и носить блондовые платья.

– Да! – продолжал барон, оканчивая один из своих красноречивых периодов. – Жан-Жак Руссо говорит то же самое в своем бессмертном «Contract social»[136]: он сравнивает власть...

Тут барон вдруг остановился, робко посмотрел вокруг себя и встал.

– Что вы, барон? – вскричала хозяйка.

– Мне что-то дурно... Извините, я не могу долее у вас оставаться.

В самом деле, на побледневшем лице барона заметно было какое-то болезненное ощущение; встревоженный взор его выражал испуг. Он схватил торопливо свою шляпу.

– Не хотите ли одеколона? Спирта?.. – сказала заботливая Днепровская.

– Благодарю вас! – прошептал барон, спеша уйти из комнаты. – Это так! Прилив крови к голове... Я чувствую, что мне нужен свежий воздух... – Он прошел через гостиную мимо хозяина так скоро, что тот не успел даже этого и заметить.

– Что это с ним сделалось? – сказал князь Двинский. – Уж не оттого ли, что он говорил с таким жаром?..

– А что вы думаете? – прервал Лугин. – Ведь может быть. Я только слушал этого барона, а у меня голова закружилась.

– Как он умен! – сказала одна из гостей.

– Какой прекрасный тон! – прибавила другая.

– Какая начитанность, какое просвещение! – воскликнул князь.

– Да! Он чрезвычайно как мил! – присовокупила хозяйка.

– И, кажется, очень добрый человек, – сказал Лугин. – Как он хлопочет о том, чтоб все люди были счастливы. Дай бог ему здоровья!

– Он истинный космополит! – произнес торжественным голосом князь.

– То есть гражданин вселенной! – прервал Закамский. – Да этак жить-то ему очень легко: отечество требует иногда больших жертв, а вся вселенная может ли чего-нибудь требовать от одного человека?

– Как, Закамский! – вскричал князь. – Неужели, по-твоему, космополитизм...

– Их два рода, мой друг! – прервал Закамский. – Один духовный, другой земной. Первый ведет ко всему прекрасному, но эта чистая, бескорыстная любовь к человечеству доступна только до сердца истинного христианина, а, кажется, этим поклепать барона грешно. Другой, то есть земной, общественный, космополитизм есть не что иное, как холодный эгоизм, прикрытый сентиментальными фразами, и, воля твоя, князь, по моему мнению, тот, кто говорит не в смысле религиозном, а философском, что любит не человека, а *все человечество*, просто не любит никого.

Князь принялся было спорить с Закамским, но гость, который вошел в диванную, помешал их разговору. Я очень обрадовался, когда узнал в нем моего первого московского знакомца, Якова Сергеевича Луцкого.

– Здравствуйте, Надежда Васильевна! – сказал он хозяйке. – Поздравляю вас с приездом! Я сейчас проходил мимо вашего дома, увидел огни и по этому только узнал, что вы возвратились из чужих краев. Ну что ж, поправилось ли ваше здоровье?

– Да, я чувствую себя лучше, – отвечала вежливо, но очень холодно Днепровская.

– Слава богу! Здравствуй, Александр Михайлович! – продолжал Луцкий, взяв меня за руку. – Ты совсем меня забыл.

Я извинился недосугом. Князь Двинский кинул любопытный взор на Луцкого и, вероятно, не найдя ничего смешного в его наружности, ни в платье, весьма простом, но очень чистом и опрятном, не удостоил его дальнейшего внимания. Закамский и Лугин оба были знакомы с Яковом Сергеевичем, первый видел его у меня, а второй служил с ним некогда в одном полку. Они стали разговаривать, а я сел подле хозяйки.

– Вы давно знакомы с Луцким? – спросила она вполголоса.

– С лишком два года, – отвечал я.

– Он весьма хороший человек, мой муж без памяти его любит... я и сама очень уважаю Якова Сергеевича, но он так строг в своих суждениях, так неумолим, когда он говорит о наших страстях и пороках, а пороком он называет все, даже самые извинительные, слабости и, сверх того, требует от нас, бедных

женщин, такого невозможного совершенства, что – признаться ль вам? – я не люблю, я боюсь его.

– Вы меня удивляете! Он самый снисходительный и кроткий человек.

– Ну нет, не всегда. Впрочем, я не обвиняю его. Когда под старость человек перестанет жить сердцем, когда все страсти его умирают, весьма натурально, что он становится строже, если не к себе, то, по крайней мере, к другим. Он думает, что можно подчинить сердце рассудку, потому что его собственное сердце давно уже перестало биться для любви. Если б все старые люди почаще вспоминали про свою молодость, то были б к нам гораздо снисходительнее, но эти строгие моралисты так беспамятливы... А кстати, о памяти! – прибавила Надина, опустив книзу свои длинные ресницы, – Вы, кажется, не можете на нее пожаловаться: вы вспомнили, что тому назад почти три года...

– Мы встретились с вами около Москвы на большой дороге? Да разве я мог это забыть, Надежда Васильевна?

Днепровская взглянула на меня так мило,

что показалась мне еще во сто раз лучше прежнего.

– Я узнала вас с первого взгляда, – шепнула она вполголоса, – но, кажется, вы...

– О, поверьте, и я также!

Я солгал, и, конечно, эта ложь была не во спасение, но мне было двадцать лет, а Надина была так прекрасна! Ее черные, пламенные глаза смотрели на меня так ласково, с таким робким ожиданием... Ну, воля ваша! А эта первая ложь, право, была извинительна.

– Что, Александр Михайлович, – сказал Луцкий, подойдя ко мне, – что пишут тебе из деревни? Здорова ли твоя невеста?

– Невеста! – подхватила Днепровская.

– А вы этого не знали, Надежда Васильевна? Александр Михайлович помолвлен.

– Здравствуй, Яков Сергеевич! – закричал хозяин, входя в диванную. – Здравствуй, друг сердечный! – продолжал он, обнимая Луцкого. – Извини, что я не прислал сказать тебе – сам хотел приехать. Ну что, как ты находишь Надину? Ей воды, кажется, помогли? Да что это, Наденька, тебе опять дурно? Ты так бледна, мой друг!.. Что это такое?.. В другой раз се-

годня.

– Нет, я чувствую себя хорошо, – сказала Днепровская.

– То-то хорошо! Ох эти балы!.. Ну, Яков Сергеевич, расскажи-ка мне, что ты без нас делал? Как поживаешь? Да пойдем в гостиную: здесь тесно.

Хозяин увел с собою Луцкого.

– Вы помолвлены, Александр Михайлович? – сказала Днепровская. – Можно ли спросить – на ком?

– На Марье Михайловне Белозерской.

– Дочери вашего опекуна? Я думала, что она еще ребенок.

– Да! Она очень молода.

– А, понимаю! Эта свадьба по расчету?

«И по любви», – хотел я сказать громко, но услышанье всем, но проклятый язык мой как будто бы не хотел повернуться.

– Да это так и быть должно, – продолжала Днепровская. – В ваши года можно жениться только по каким-нибудь семейным причинам... Впрочем, это может быть и по страсти... Вы, верно, влюблены?

– Мы росли и воспитывались вместе.

– Я не о том вас спрашиваю... Вы очень любите вашу невесту?

– Как родную сестру, – отвечал я, стараясь не покраснеть.

Вот уж эта вторая ложь была гораздо хуже первой, она как тяжелый камень легла мне на душу. «Так зачем же вы солгали?» – спросят меня читатели. Зачем? Вот то-то и дело, что мы, господа мужчины, почти все такие же кокетки, как и женщины. Мы часто желаем нравиться не потому, что любим сами, а из одного ничтожного самолюбия. В женщинах мы называем это самолюбие кокетством и ужасно на него нападаем, а сами... Да что и говорить! мы и в этом отношении ничем их не лучше. Конечно, не всякий из нас, любя искренно одну, уверять в том же станет другую, но также и не всякий решится сказать прекрасной женщине, особенно если она смотрит на него ласково: «Да, точно! Я люблю, но только не вас!»

Мой разговор с Днепровскою не долго продолжался: к нам в диванную пришла музыкантша-графиня, которая кончила свою партию в рокамболь. Она завладела хозяйкою,

потом разговор сделался общим, и, когда все пошли ужинать, я уехал потихоньку домой.

V. ВЕЧЕР У БАРОНА БРОКЕНА

На другой день, вспоминая об этом вечере, я решительно был недоволен самим собою. «Что за вздор! – думал я, стараясь как-нибудь себя оправдать. – Неужели мне должно объявлять всякому, что я влюблен в Машеньку? Пусть думают себе, что я люблю ее просто как родственницу, что нужды до этого, когда в самом-то деле я не променяю ее на тысячу Днепровских... Однако ж какие прекрасные глаза у этой Надины!.. Какая очаровательная улыбка!.. Ах, Машенька, Машенька! Как я люблю тебя!.. Да! Эта Днепровская очень мила... чрезвычайно мила!.. Она вовсе не пара своему мужу. Неужели в самом деле барон прав?.. Не может быть!.. Нельзя ж с первого раза... нет, нет... я даже и нравиться не хочу никому, кроме Машеньки... Ну, а если это правда?.. Боже сохрани!.. Конечно, я могу предложить ей мою дружбу... дружбу!.. Ну да... как будто бы нельзя быть другом женщины, потому что она хороша собою?.. А если эту

дружбу назовут другим именем? Если вздумают сказать... Нет, нет... всего лучше, не стану к ним часто ездить... вот так, один или, много, два раза в месяц; буду обращаться с ней очень вежливо, очень холодно... А надобно сказать правду, она необыкновенно любезна!.. Эх, боже мой! Зачем барон познакомил меня с этим Днепровским!

Барон, как видно, был очень легок на помине: он вошел в мою комнату.

– Что с вами сделалось вчера? – спросил я моего гостя.

– Так, кровь бросилась в голову: это часто со мной случается. Ну что? Как вы провели ночь? Я не спрашиваю, что вы видели во сне...

– Право, ничего.

– Неужели? И вам ни разу не приснилась Днепровская?

– Ни разу.

– Жестокий человек!

– Эх, полноте, барон!

– Как полноте? Что вы? Да это ни на что не походит! Вот месяца через два я позволяю вам не видеть ее во сне, но теперь, при самом

начале романа...

– Да с чего вы взяли?..

– С чего? Спросите об этом у Двинского. Бедный малый в отчаянии, вы его совсем раздавили, уничтожили... Однако ж послушайте: если вы не видели Днепровской во сне, так не хотите ли с нею наяву сегодня отобедать?

– Нет, барон: я не могу сегодня.

– Так завтра?

– И завтра нельзя.

– Когда же вам будет можно?

– Право, не знаю. Может быть, недели через две.

– Через две недели?.. Скажите мне, Александр Михайлович, что это уж так водится у вас в России?

– Что такое?

– Да то, что если молодой человек понравится пре красной и милой женщине, то не он, а она должна искать случая с ним видеться.

– Вы шутите, барон!

– Право? А если я докажу вам, – продолжал барон, подавая мне письмо, которое я сообщил уже моим читателям в конце первой ча-

сти моего рассказа. – Вы знаете этот почерк?

– Нет.

– Так я вам скажу: это писано рукою Днепровской, и, чтоб вы не могли сомневаться в истине моих слов, прочтите его. Ну, – прибавил барон, дав мне время прочесть письмо, – что вы скажете теперь?

– Ничего. Если это письмо точно писано Днепровскою, то почему ж вы думаете, что тот идеал...

– С которым она третьего года встретила на большой дороге? – подхватил барон. – Кажется, Днепровская говорила с вами вчера при мне об этой встрече?

– Все это быть может, – прервал я, – но это было давно, она была тогда почти ребенком и, вероятно, теперь думает не то, что думала прежде.

– Да, это заметно, – сказал барон с насмешливою улыбкою. – Она почти упала в обморок, когда вас увидела, конечно, оттого, что ваша наружность не сделала на нее ни какого впечатления. Она во весь вечер смотрела только на вас и говорила только с вами, вероятно, потому, что вы вовсе ей не понрави-

ЛИСЬ...

– Все это ничего не доказывает, барон, но если б в самом деле я имел несчастье понравиться Днепровской...

– Несчастье!..

– То уж, конечно, не я стал бы искать случая с нею встретиться.

– Ну, – прервал барон, – на вашем месте француз был бы гораздо вежливее. Теперь я вижу, вы настоящий русский.

– И вовсе не жалею об этом.

– Как жалеть! Вы, я думаю, этим гордитесь! – На смешливый тон барона зацепил за живое мое национальное самолюбие.

– Да, барон, горжусь! – сказал я. – И что тут странного? Я уверен, вы также любите свое отечество.

– Отечество? Какое?

– А разве у вас их два?

– Может быть, и больше. Да что такое отечество? Отечество умного человека там, где ему хорошо. Я покраснел от досады.

– Если это справедливо, барон, – сказал я, помолчав несколько времени, – то вы заставите меня ненавидеть ум.

– Полноте, что вы! Ему, бедному, и от глупцов порядком достается! Да скажите мне, что такое отечество? Ваши приятели, друзья? Вы их можете иметь везде. Родные? Да от них иногда не знаешь, куда деваться. Вот, например, князь Двинский хочет уехать из Москвы оттого, что у него здесь двое дядей, три тетки и пятнадцать кузин. Итак, ваше отечество – земля, на которой вы живете? Поздравляю! Следовательно, вы должны любить голые степи, всегда непостоянную погоду, вьюги, снежные бугры, мороз в тридцать градусов. Ведь все это ваше отечество? Конечно, о вкусах спорить нечего; быть может, вам очень приятно зимою отмораживать нос, не сметь летом выехать в дорогу без шубы, в мае месяце любоваться на голые деревья, а в августе на желтые листья – все это прекрасно, но за что ж вы *обязаны* любить это даже и тогда, когда вам это не нравится? Уж не потому ли, что вы имели несчастье родиться в России, а не в Италии? Так не смейтесь над камчадалом, если он предпочитает всем ароматам Востока запах вонючей рыбы и не хочет никак променять свою землянку на ваши мраморные па-

латы.

На этот раз красноречивые софизмы барона не сделали на меня никакого впечатления.

– Ваше определение совершенно несправедливо, – сказал я. – Перенесите всех русских с их нравами, языком, обычаями и верою в другую часть света, и она сделается моей родиною. Следовательно, я признаю отечеством не землю, не поля, не леса, не реки, а это собрание людей, которое мы называем народом и который я люблю потому, что он исповедует одну со мной веру, говорит одним языком, повинуется одной власти, потому что его слава и могущество веселят, а бедствия и унижение сокрушают мое сердце. Приятелей и друзей можно найти везде – это правда, но найду ли я на чужой стороне людей, с которыми провел всю жизнь мою, которых дружба ко мне началась с самого ребячества, с которыми я могу и на краю гроба вспоминать о своей молодости. Не все дяди и тетки надоедают своим племянникам. Князь Двинский хочет бежать из Москвы от своих родных, а я убежал бы для того, чтоб навсегда остаться жить вместе с моими. Вы все, господа иностранцы,

говорите только о наших *ледяных степях*, как будто бы у нас, кроме льда и степей, ничего нет, вы думаете, что мы круглый год живем по уши в снегу. Конечно, большая часть России не может похвалиться своим климатом, однако ж и у нас солнышко иногда проглядывает и розы цветут не в одних оранжереях. Отморозить нос точно так же неприятно, как и задохнуться от жары, но я думаю, никто не обязан находить это хорошим, никто не заставляет англичан любить их вечные туманы, римлян – заразительный воздух их окрестностей, неаполитанцев – разрушительные извержения Везувия, испанцев – нестерпимый летний зной, а жителей Перувии – непрерывные землетрясения и ураганы. Они точно так же на это жалуются, как мы жалуемся на свои вьюги и морозы.

– С тою только разницей, – прервал барон, – что у них есть вознаграждения: у одних роскошная природа, у других науки, художества, просвещение, но там, где все сряду дурно...

– То есть у нас?

– Я не виноват, Александр Михайлович,

что сами откликнулись. Да к тому же я повторю только слова ваших единоплеменников. Я тысячу раз слышал это не только за границей, но даже здесь, в Москве, и могу вас уверить, что это говорят не мужики, не безграмотные, а люди воспитанные...

– Иностранцами! Да, барон, к несчастью, это правда, я сам встречал людей, из которых одни не хотят, а другие не смеют сказать доброго слова о своем отечестве, их так запугали, бедняжек, что они не верят собственным своим чувствам и даже не смеют наслаждаться, если предмет или причина этого наслаждения не привезена из чужих краев, а родилась и образовалась в их отечестве.

– Так что ж? – сказал с насмешливой улыбкой барон. – Вы, русские, народ набожный и, может быть, делаете это по чувству смирения.

– Нет, барон! Чувство, которое мертвит и убивает возникающий талант, обдаёт холодом пламенную душу художника и поэта, это чувство не может проистекать из чистого источника. Безотчетное пристрастие ко всему иноземному, желание не быть, а казаться

только просвещенным, глупость и невежество – вот основные причины этой явной несправедливости, не всех – боже сохрани от этого! – но, к сожалению, весьма многих, ко всему тому, что принадлежит нам – нам одним – без всякого раздела с другими народами.

– Послушайте, Александр Михайлович, – сказал барон. – Вы человек умный, образованный, так с вами говорить можно. Ну, будьте справедливы, скажите, что ж такое принадлежит вам одним?.. Старые предрассудки, ненависть к просвещению, фанатизм, суеверие...

Эти слова возмутили мою русскую душу: в ней пробудились чувства справедливости и негодования, усыпленные сладкими речами барона.

– Вы ошибаетесь, – сказал я, – мы ненавидим не просвещение, а то, что вы называете просвещением, мы не восстанем против законной власти, не превращаем публичных танцовщиц в богинь разума, церквей в конюшни и театры, не хвастаемся своим безверием, не стараемся закидать грязью небеса – нет, барон! Благодаря бога, народ русский ве-

рует, народ русский любит царей своих! Он верит, что всякая власть от господа, потому что верит словам Спасителя.

Лицо моего гостя вытянулось на целый аршин. Я продолжал.

– Да, барон! Мы не покинули еще старой привычки, в радости благодарить бога, в горе прибегать к нему с молитвою, мы думаем, что без религии нет просвещения, и, несмотря на пример вашей просвещенной Франции, уверены, что не палачи, а одно время и общее мнение могут искоренять предрассудки. Если все это, барон, по-вашему, невежество, так дай бог, чтоб мы его никогда не променяли на ваше просвещение.

В жару разговора я не замечал, что барон совсем изменился в лице: глаза его сверкали, но щеки были так бледны, и все черты выражали такое тревожное, болезненное состояние, что я испугался.

– Вы, кажется, нездоровы? – вскричал я. – Что с вами?

– Ничего! – прошептал барон, закрывая платком лицо. – Пройдет!.. Я вижу, мне должно непременно пустить кровь... Вот и про-

шло!.. Знаете что, Александр Михайлович? Будемте вперед говорить о чем-нибудь другом: от этих философических диспутов у меня всегда кровь бросается в голову. Да и к чему нам спорить? У каждого свой взгляд: вы видите вещи одним образом, я другим. Ну что? Скажите мне: вы решительно не едете со мною к Днепровской?

– Право, не могу.

– Так приезжайте сегодня вечером ко мне. Я встретил здесь много карлсбадских знакомых, они почти все иностранцы, и я хочу дать им послушать ваших московских цыган. Мы поужинаем, выпьем шампанского, не станем говорить о политике и, право, проведем время очень весело.

Я дал слово барону. Он пробыл со мною около часа, рассказывал мне о своих путешествиях, и, между прочим, весьма много об Испании, в которой, по его словам, он прожил более двух лет. Говоря об окрестностях Гранады, он пленил меня своим пиитическим воображением. И подлинно, нельзя было не дивиться жизни, с которою барон описывал этот земной рай, эти вечно голубые небеса

счастливой Андалузии. Слушая его, мне казалось, что я гуляю вместе с ним по очаровательным садам Хенералифа[137] и люблюсь великолепными остатками роскошной Альгамбры[138]. Барон простился со мною, заставил меня повторить снова обещание приехать к нему вечером.

Я отправился к нему часу в восьмом. В прежних комнатах барона дожидался меня жокей, с которым я был уже знаком. Он попросил меня на дурном французском языке идти вслед за ним и сказал мне дорогою, что его господин переменял квартиру и занимает теперь почти весь бельэтаж венецианского дома. В передней встретили меня двое слуг в богатых ливреях, а в зале и у дверей всех гостиных стояли официанты... Меня поразило великолепное убранство комнат. Бронзы, зеркала, картины, мраморные статуи, все было очаровательно. Я не мог также не заметить, что сюжеты картин и мраморных групп были все без исключения более чем анакреонтические. Барон ожидал меня в угольной комнате, он сидел на турецком оттомане, обитом какой-то восточной тканью, подле него, на ма-

лахитовом столике из серебряной жаровни, клубился благовонный дым, а в широком зеркале, которое занимало почти всю стену над диваном, отражался тусклый хрустальный шар, который, опускаясь с потолка, отделанного палаткою, освещал всю комнату.

– Что это, барон! – сказал я. – Какое великолепие! Какая роскошь!

– Да, эти комнаты довольно опрятны, – отвечал барон, пожимая мою руку. – Садитесь, Александр Михайлович, вот здесь, подле меня.

– Неужели они были всегда так убраны? – спросил я.

– О нет! Я отделал их на мой счет.

– Да когда же? Помилуйте?.. Когда вы успели?.. Ну, право, это волшебство!

– А что вы думаете? – прервал с улыбкою барон. – Быть может.

– Откуда взялись эти картины, мраморы?..

– Из ваших меняльных лавок, а остальное из магазинов. Я не знал прежде, долго ли проживу в Москве, и для того не хотел заводить себя домом, но теперь это дело решенное: я остаюсь у вас, по крайней мере, на год. Сего-

дня назвались ко мне гости, а в том числе и дамы...

– Как дамы? – вскричал я. – Что ж вы не сказали? Я в сюртуке.

– Ничего! Ведь это не ваши чопорные русские барыни. Я не хотел принять их в старой моей квартире и вот, как видите, в два дня довольно порядочно отделал эти комнаты. Надобно сказать правду, у вас в Москве можно найти все, конечно вчетверо дороже, чем где-нибудь, но я не слишком хлопочу о деньгах. Меня гораздо более пугала мысль, что в России мне не на что будет их тратить.

Нашему разговору помешал приезд гостей. Через четверть часа, когда их собралось человек десять, мы перешли в гостиную. Сначала хозяин знакомил меня с своими приятелями, но под конец он едва успевал сам сказать по несколько слов с каждым вновь приезжающим гостем. В числе их было пять итальянцев, почти столько же англичан, два или три немца и, кажется, двое русских, а остальные все французы. Все они, казалось, принадлежали к хорошему обществу, все, даже англичане, говорили самым чистым французским

языком, но из всех этих различных физиономий не было ни одной, которая пришлась бы мне по сердцу. Многие из гостей были весьма замечательной наружности, некоторые могли даже назваться красавцами, и у всех глаза блистали умом, но что-то лукавое и предательское проглядывало почти на всех лицах. Меня особенно поразила физиономия одного молодого человека: вдохновенный и вместе мрачный взгляд, исполненная презрения улыбка и спокойствие, похожее на ту минутную тишину, которая так страшна для мореходца, которая, как предтеча бури, возвещает гибель и смерть, – все это выразалось с такою силою на его бледно-мраморном челе, в его мощных огненных взорах, что я не мог скрыть своего любопытства и спросил о нем у хозяина.

– Ага! – сказал барон. – Вы заметили необычайную физиономию этого поэта?

– Так он стихотворец?

– Да, стихотворец, но только не приторный Расин, не щеголеватый Вольтер, не жеманный Попе[139], не правоверный Клопшток [140], и, конечно, не ваш физик-поэт или по-

эт-физик Ломоносов, вдохновенный певец, грозный как бурное море, неумолимый враг всех предрассудков и детских надежд человека, певец неукротимых страстей и буйного отчаяния, готовый на развалинах мира пропеть последнее проклятие тому, что мы называем жизнью. О, если бы вы знали, сколь ко энергии в этой необычайной душе, с какой силою срывает он покров с горькой истины, как убивает все счастье, всю надежду в сердце человека...

– Что вы, что вы, барон? – прервал я почти с ужасом. – Да вы описали мне падшего ангела, Мильтонова Сатану...[141]

– И, полноте! Сатана Мильтона почти набожная старушка перед этим гигантом. Я вам предсказываю: он создаст новый мир поэзии, и когда мощный голос его раздастся по всей Европе...

– А он еще не раздавался?

– О нет еще! Никто, кроме меня, не знает его стихов, этот секрет между им и мною. Ему торопиться нечего. Теперь, быть может, его поймут в одной Франции, а для его гения нужен простор.

– Дай бог, чтоб ему не было никогда просторно. А как зовут его?

– Его зовут, – сказал барон вполголоса, – или, лучше сказать, его будут звать... Но, извините!.. Я вижу, приехали дамы...

VI. МОСКОВСКИЕ ЦЫГАНЕ

Барон побежал навстречу к двум молодым женщинам. Одна из них была видного роста, другая целой головою ниже, одна высока и стройна, как пальма, другая воздушна и легка, как бабочка. Правильные и даже несколько резкие черты лица первой, черные как смоль локоны, которые падали на ее атласные плечи, глаза томные и как будто бы усталые, но которые при встрече с вашими готовы были вспыхнуть и прожечь ваше сердце, – все изобличало в ней пламенную итальянку, можно было побиться об заклад, что в порыве страсти она не остановится и умереть за своего любовника, и зарезать его собственной рукою. Вторая – прелестная блондинка с голубыми глазами, которые блистали веселостию и умом, она была так грациозна, так пленительно улыбалась и так ловко показывала

свою ножку, обутую почти в детский башмачок, что не было никакой возможности ошибиться и не узнать в этой милой шалунье очаровательную парижанку. Обе они одеты были по последней тогдашней моде, то есть раздеты немного поболее нынешних балетных танцовщиц. Когда эти дамы вошли в гостиную, почти все мужчины окружили их, каждый торопился сказать им что-нибудь приятное, кроме поэта и одного рослого итальянца, который, сидя за огромным круглым столом, строил пирамиды из импералов. Не прошло пяти минут, как вся эта толпа любезников отхлынула от красавиц и поместилась вокруг стола: итальянец начал метать банк. Хозяин подвел меня к дамам, которые вдруг осиротели, как оставленные Дидоны[142].

– Рекомендую вам моего приятеля, – сказал барон, – он не играет в карты и будет вашим кавалером. Синьора Карини! – продолжал он, обращаясь к итальянке. – Мой приятель не любит или, лучше сказать, не понимает итальянской музыки: обратите его на путь истинный, а вы, мамзель Виржини, постарайтесь ему вскружить голову, только я вам гово-

рю вперед, это нелегко: он помолвлен и влюблен до безумия в спую невесту.

Синьора Карини взглянула на меня так быстро, что, казалось, хотела опалить своим взглядом, а мамзель Виржини захохотала как резвое дитя, и, указывая на канаве, сказала:

– Садитесь здесь! Вот так – между нами.

– Как вы хорошо делаете, что не играете в карты, – шепнула итальянка. – Посмотрите на этих игроков: походят ли они на людей? С какою жадностью смотрят они на эти кучи золота! Это их божество, их идол!

– Не правда ли, – прервала с улыбкою Виржини, – есть идолы, которым поклоняться гораздо приятнее?

– Не поклоняться, а любить, как любят в Италии, – сказала синьора Карини.

– Да! По-вашему, – подхватила француженка, – с кинжалом в руках? Фи! Я ненавижу эту африканскую любовь. Французы боготворят женщин, а мы делаем их счастливыми и всегда расстаемся друзьями. Будет с нас и того, что мы твердили беспрестанно: «Свобода или смерть», если б вместо этого стали говорить: «Вечная любовь или смерть», то я ушла б на

край света, в Америку, в Сибирь!.. Да, да, в Сибирь, и хоть это снежное царство должно быть настоящим адом...

– Оно превратится в рай, когда вы будете в нем жить. – Эта пошлая вежливость невольно сорвалась у меня с языка.

– Вы очень любезны! Но что я говорю? Я совсем забыла, что вы любите свою невесту и, верно, хотите любить ее вечно?

Не знаю почему, но мне вовсе не хотелось говорить о Машеньке с этими бойкими красавицами, вместо ответа я уклонилась.

– О, я вижу, барон хотел пошутить над нами! – продолжала француженка.

– Я была в этом уверена, – прервала синьора Карини. – Невеста почти жена, а жена и любовь, как я ее понимаю, могут ли иметь что-нибудь общего между собою? Любить более своей жизни, любить на краю могилы и до последнего вздоха не признавать ничего, кроме любви, можно только тогда, когда и нас точно так же любят. А что такое женитьба? Какую жертву приносит девушка, выходя за вас замуж? Вы прекрасный мужчина и будете вечно принадлежать ей, она отнимает

вас у всех женщин и пристроит себя к месту – прекрасное доказательство любви! Да почему вы знаете, быть может, и малейшая жертва показалась бы ей непреодолимым препятствием, быть может, она отдает вам свою руку потому только, что вы прежде других за нее посватались? Она будет вам верна – да это ее обязанность, она станет любить вас – да за это превознесут ее похвалами, как добродетельную женщину. Нет! Пусть она не изменяет вам, несмотря на убеждения родных, на слезы отца и матери, пусть любит даже и тогда, когда весь мир назовет эту любовь преступлением... О, тогда и я позволю вам любить ее вечно и не замечать, что есть другие женщины на свете!

– Ах, та сһйге! Вы меня пугаете! – вскричала Виржини. – Не слушайте ее, – продолжала она, обращаясь ко мне, – эта бешеная любовь хороша только в трагедиях. Усыпать свой путь цветами, ни на чем не останавливаться, а скользить по жизни и стараться, срывая розу, не уколоть себя шипами – вот философия французов, и, поверьте, она, право, лучше всякой другой.

Официант подал нам на золоченом подносе в хрустальных бокалах ароматический ананасный пунш. Дамы отказались, я последовал их примеру.

– Что это вы не пьете? – вскричала Виржини.

– Боюсь опьянеть еще более, – отвечал я с улыбкою.

– Так что ж? Тем лучше: вы будете откровеннее. Возьмите.

– Я никогда не пью пунша.

– Так начните.

– Хоть вместе с нами, – сказала итальянка. Обе дамы взяли по бокалу.

– Попробуйте теперь спросить стакан воды, – шепнула Виржини, погрозив мне своим розовым пальчиком.

Я выпил мой стакан пунша и должен был выпить еще другой, чтоб помочь моим соседкам, которые поделились меж собой одним бокалом. Мы не опьянели, но я сделался гораздо развязнее и смелее, а мои дамы несравненно ласковее. Виржини задирала свою приятельницу, шутила со мною и беспрестанно смеялась, чтоб показать свои жемчужные зу-

бы. Огненные взоры итальянки становились час от часу нежнее. Сначала она призналась, что ревность – чувство неприятное, что можно расстаться с своим любовником, не зарезав ни его, ни себя, а под конец согласилась с француженкою, что любовь становится блаженством и счастьем нашей жизни тогда только, когда она свободна, как воздух, и прихотлива, как дитя. Наш разговор делался ежеминутно живее, обе мои соседки старались очаровать меня, обе они были очень милы и, признаюсь, если я не пускался еще в любовные объяснения, то это потому, что не мог решить, которая из них мне более нравится.

Меж тем игра кончилась, хозяин подошел к нам.

– Вы много выиграли? – спросила его Виржини.

– О, конечно, много! – отвечал барон. – Все понтеры остались без копейки, а я ничего не проиграл.

– Да кто же выиграл?

– Разумеется, кавалер Казанова. Разве он умеет проигрывать?

– Всегда, когда играю с милыми женщина-

ми, – сказал, подойдя к нам, высокий итальянец.

– Право? – вскричала француженка. – Вы до такой степени любезны?..

– Вольно ж вам было не понтировать, мамзель Виржини? Вы испытали бы это на самом деле.

– Как мне жаль, Казанова, что вы игрок! – сказала синьора Карини, – Эта страсть когда-нибудь вас погубит.

– Что же делать! – отвечал итальянец. – Я люблю все сильные ощущения, люблю, чтоб сердце мое замирало, и одна азартная игра, эта адская забава, производит еще какое-то впечатление на мои чувства. Ах, синьорина! Они вовсе притупились под свинцовой кровлею венецианской тюрьмы.

Мне давно хотелось взглянуть на этого Казанову, который пожаловал сам себя в кавалеры, вероятно потому, что вежливые французы зовут отъявленных плутов «кавалерами промышленности» (*chevaliers d'industrie*)! Этот картежный шулер и патентованный вор, всегда готовый стреляться на двух шагах за честь свою, был очень видный мужчина, но в

жизнь мою я не видал лица наглее и бесстыднее. Он не только у нас в России, где уж привыкли баловать иностранцев, но везде умел втираться в хорошее общество, всех обыгрывать, сыпал деньгами и о дружеских связях своих с знатными людьми и королями говорил с такой неподражаемой простотою, что добрые москвичи не смели даже и усомниться в истине его слов. По желанию дам этот знаменитый шарлатан принялся было нам рассказывать, как он вырвался из рук венецианских инквизиторов, но хозяин не дал ему кончить и попросил всех в столовую.

В прекрасно освещенной зале приготовлен был роскошный ужин, померанцевые деревья, фарфоровые вазы с цветами, серебряные корзины с бархатными персиками, душистыми ананасами и янтарным виноградом отражались в великолепном зеркальном плато. На хорах загремела музыка, и все гости уселись за стол. Барон поместил меня по-прежнему между двух красавиц. Мы сидели очень тесно, при малейшем движении руки мои невольно прикасались к рукам моих соседок. Когда резвая Виржини наклонялась ко мне,

ее дыхание сливалось с моим, и в то же время я чувствовал с другой стороны, как шелковые кудри итальянки скользили по моей щеке. В таком близком расстоянии друг от друга не нужно говорить громко: обе они перешептывались со мною, а кто из нас в цвете молодости не испытал, как очарователен этот женский шепот, как соблазнительны эти приветливые речи, когда они говорятся вполголоса, тайком от других, как тревожат они наше сердце и волнуют кровь. Я почти ничего не ел, но зато пил очень много. Сколько я ни отговаривался, все было напрасно: мои соседки не хотели ничего слышать.

– Я буду пить с вами из одной рюмки, – шептала мне на ухо итальянка, пожимая мою руку.

– Oh, il faut vous griser, vous serez charmant! [143] – повторяла беспрестанно Виржини, умирая со смеху. Меж тем общий разговор становился час от часу шумнее, по временам он совсем заглушал музыку. Вот пробка первой бутылки шампанского полетела в потолок.

– От этого вина вы, верно, не откажетесь? –

шепнула синьора Карини. – Его пьют за здоровье друзей своих.

– Так он выпьет два бокала, – сказала француженка, – только не забудьте, – прибавила она так тихо, что я с трудом мог разобрать, несмотря на то что розовые ее губы почти касались моей щеки, – не забудьте: первый за мое здоровье! Слышите ли, за мое! – повторила Виржини, и ее прелестная, обутая в атласный башмачок, ножка прижалась к моей. Я не совсем еще потерял рассудок, но все чувства мои были в каком-то упоении, а голова начинала порядком кружиться. Вдруг музыка замолкла, хозяйин встала с своего места и, держа в руке бокал шампанского, сказал:

– Господа! Я предлагаю тост, мы пьем за вечную славу просветителей человечества, знаменитых французских философов и главы их, бессмертного Вольтера.

– Виват! – закричали почти все гости.

– Честь и слава истребителю предрассудков! – проревел один толстый англичанин, выливая за галстук свой бокал шампанского.

– Да здравствует Вольтер! – пропищал какой-то напудренный маркиз. – Я знаю на-

изусть его «Орлеанскую деву» – великий человек!

– Долой Вольтера! – прошептал один растрепанный француз, который сидел подле поэта. – Не надобно Вольтера! Он был аристократ!.. Да здравствует Жан-Жак Руссо!..

– Приятель принца Конде и герцога Люксембургского! – прервал с улыбкою хозяин.

– Он не был с ними знаком – не был! – закричал француз. – И если кто осмелится говорить противное...

– Тише, господа, тише! – сказал итальянец Казанова. – Я предложу вам тост, который, верно, понравится. Да здравствуют богатые дураки, оброчные крестьяне всех умных людей!

– Да, да! Честь и слава дуракам: они созданы для нашей потехи! – закричал толстый англичанин, выливая за галстук второй бокал шампанского. – Годдэм![144] – прибавил он, пощелкивая языком. – Что за дьявольщина? В этом проклятом вине нет никакого вкуса!

– Не надо дураков! – сказал маркиз, стараясь выговаривать каждое слово и едва шевеля языком. – Я не люблю дураков: они слыш-

КОМ ГЛУПЫ.

– Да здравствуют прекрасные женщины! – закричал один из гостей.

– Я пью охотно! – подхватил другой. – Моя жена дурна собою.

– Да здравствует вино!

– Только хорошее.

– Виват!.. Гоп, гоп!.. Гура!

Шум становился час от часу сильнее, по-минутно летали пробки, и шампанское лилось рекою.

– К черту бокалы! – закричал хозяин. – В стаканы, господа, в стаканы!

– Браво!.. Долой бокалы.

– Тише, тише!.. – сказал Казанова. – Наш поэт встает: он хочет говорить. Слушайте!.. Слушайте!

– Господа! – сказал поэт. – Вы пили в честь французских философов, которые писали, я предлагаю тост за вечную славу их учеников, знаменитых философов, которые действовали. Первый бокал в честь главы их, в честь того, кто не знал сожаления к другим и не требовал его для себя, который играл жизнью людей, потому что презирал и жизнь и чело-

века, который был неумолим, как смерть, грозен и велик, как морская язва, который...

– Фи!.. Что это? Не надо! – раздалось со всех сторон. – Мы не хотим пить за эту воплощенную чуму – не хотим!.. Да здравствуют женщины, вино и веселье!.. Виват!.. Семпер[145] – виват!

Поэт взглянул с презрением на всех гостей.

– Так! Я опередил мой век! – прошептал он мрачным голосом. – Веселись, глупая толпа, веселись! Ты не можешь понимать меня!

– Вы ошибаетесь, милорд! – закричал косматый француз. – Я понял вас и пью вместе с вами.

Я не принимал участия в этих тостах, но никак не мог отделаться от моих соседок и должен был выпить за их здоровье по бокалу шампанского. За десертом они уговорили меня попробовать столетнего венгерского, и, когда ужин кончился, я с трудом мог приподняться со стула. Чувствуя, что мне нужно было освежиться, я подошел к открытому окну. Все было пусто на улице. Ночь была темная, небеса покрыты тучами, но, несмотря на это, мне показалось, что я вижу бесчисленное

множество звезд, некоторые из них падали на землю, одна ярче всех других рассыпалась над самой улицей и осветила человека в сером платье, который стоял, прижавшись к стене противоположного дома. Казалось, он делал мне какие-то знаки. Вдруг из ближайшего переулка потянулся длинный ряд людей, одетых в траурные плащи, каждый из них нес в руке зажженный факел, за ними везли под балдахином черный гроб. Через минуту вся погребальная процессия выбралась на большую улицу. При ярком свете факелов я без труда мог рассматривать, что человек в сером платье протягивал ко мне с умоляющим видом свои руки, и, когда свет от одного факела отразился на лице его, я невольно воскликнул:

– Что это?.. Это Яков Сергеевич Луцкий?.. Зачем он здесь?.. На улице?.. Так поздно?..

– Что ж вы нас оставили, вежливый кавалер? – раздался позади меня голос Виржини.

Вдруг все исчезло: и похороны и Луцкий, все покрылось непроницаемым мраком, вдоль по улице загулял сильный ветер, вдали слышался какой-то жалобный крик, кто-то

промчался верхом, и из окна соседнего дома сказали вполголоса:

– Скорей, скорей! Она умирает!

– Да что вы смотрите на улицу? – сказала итальянка. – Пойдемте с нами!

Я молча подал ей руку, и мы вместе с прочими гостями вошли в другую залу. Она была так ярко освещена, что сначала глазам моим сделалось больно, мне казалось, что все окна, картины и даже стены были усыпаны огнями. На одном конце ее стояло человек десять цыган, и почти столько же цыганок сидело на стульях. Мои дамы, поместясь как можно ближе к последним, посадили и меня вместе с собою. Одна из цыганок с бледным, истомленным лицом и большими черными глазами запела тихим, но весьма приятным голосом какую-то цыганскую песню. Сначала протяжные и унылые звуки ее голоса раздавались одни по зале, вдруг, как внезапный удар грома, грянул хор, мотив переменялся, темп из протяжного превратился в быстрый, с каждой нотой усиливалось крещендо, все живей, быстрее, и вдруг опять прежняя тишина, опять один тихий, заунывный голос, и вот

снова бешеный хор, и снова он замирает посреди неоконченного аккорда.

– C'est ravissant! [146] – закричал растрепанный француз.

– То ли еще вы услышите! – промолвил, кажется, в первый раз один русский барин. – Таничка! – продолжал он, обращаясь к цыганке, которая, окончив песню, сидела, задумавшись, на стуле. – Хватите-ка удалую! Да знаете, по-нашему, чтоб потолок затрещал.

Все цыгане столпились в кружок позади своих женщин. Видный собою, кудрявый, с черными усами бандурист вышел вперед. Он ударил по струнам, смуглые, но чрезвычайно выразительные лица цыганок оживились, глаза их засверкали, и оглушающий хор, в котором, казалось, ни одна, йота не клеилась с другой, загремел и разразился, как ураган, в самых чудных и неожиданных перекатах. Беспреданно один голос покрывал другой, резкая рулада заглушалась громким визгом, бессмысленный вопль и буйный свист мешались с гармоническими голосами женщин. Все в этом хаосе звуков было безумием, и в то же время все кипело какой-то исполненной

силы неистовой жизнью. Надобно доказать правду: кто, не оглохнув, может слушать это пение без отвращения смотреть на судорожное кривлянье цыганок, на их нахальные движения и беснующиеся лица, тот, без всякого сомнения, будет увлечен этим музыкальным бешенством и вряд ли усидит спокойно на месте. Почти все гости плясали на своих стульях, косматый француз задыхался от восторга, и даже мрачный поэт улыбнулся с удовольствием и сказал:

– Прекрасно, прекрасно!.. Это настоящий хор демонов!

Не помню, сколько времени продолжалось это пение, только под конец отуманенная вином голова моя совершенно отяжелела, все предметы начали двоиться в глазах, лица, гостей казались мне попеременно то черными, то белыми – одним словом, я находился в каком-то полусонном состоянии, в котором ложь и истина поминутно сменяют друг друга: то вместо потолка я видел над собою чистое, покрытое звездами небо, то люстра превращалась в огромную человеческую голову, усыпанную сверкающими глазами, я чувство-

вал, однако ж, и это был не обман, что Виржини держала в своей руке мою руку, а итальянка шептала мне на ухо слова любви, которые, несмотря на мою опьяненность, казались для меня весьма понятными. Вдруг кто-то закричал:

– Да, да! Пора плясать!

– Плясать, плясать! – повторили все гости.

Цыгане собрались в кучу, пошептали меж собою и почти насильно вытолкнули вперед плясуна в бархатном черном у полукафтанье. Лицо его показалось мне знакомым. Вот одна молодая цыганка затянула плясовую песню, хор подхватил, она притопнула ногою, задрожала, закинула назад голову и с визгом вылетела из толпы.

– Ну!.. Пошла писать! – закричал русский барин, припрыгивая на своем стуле.

И подлинно *пошла писать!* Если есть что-нибудь безумнее разгульной цыганской песни, так это их пляска. Представьте себе сумасшедших или укушенных тарантулом, которые под звуки самой буйной, заливной песни не пляшут, а беснуются, представьте себе женщину, забывшую весь стыд, упившуюся

вином и сладострастием вакханку, в ней – по выражению простого народа – все косточки пляшут. Она визжит, трясется всем телом и пожирает глазами своего плясуна, который подлетает к ней с неистовым воплем, коверкается и, как одержимый злым духом, делает такие прыжки и повороты, что глаз не успевает за ним следовать.

Все гости были в восторге, растрепанный француз аплодировал, стучал ногами, поэт улыбался, а русский барин, посматривая с неизъяснимым наслаждением на цыган, кричал:

– Живей, живей, ребята!.. Подымайте выше... Славно, Дуняша!.. Ай да коленце!.. Славно!.. Ходи браво! Ей вы!.. Жги!

Все внимание мое было обращено на плясуна. Я уже сказал, что лицо его казалось мне знакомым, и, сверх того, оно представляло совершенную противоположность с его удалою пляскою. Он извивался как змей, выделял ногами пречудные вещи, и в то же время во всех чертах лица его выражалась такая грусть, такое страдание, что, глядя на него, мне и самому сделалось грустно. Вдруг этот

плясун, который держался все поодаль, подлетел к моим соседкам и, расстилаясь мимо их вприсядку, кивнул мне головою. Если б я мог вскочить со стула, то уж, верно бы, вскочил. Представьте себе: я узнал в этом плясуне приятеля моего, магистра Дерптского университета, фон Нейгофа. Я хотел спросить, как он попал в цыгане, но язык мой не шевелился, глаза начали смыкаться, все потемнело, подле меня раздался громкий женский хохот, потом как будто бы меня облили холодной водою. Я сделал еще одно усилие, хотел приподняться, но мои ноги подкосились, голова скатилась на грудь, и я совершенно обеспамятел.

Часть третья

I. МАСКАРАД

На другой день я проснулся или, лучше сказать, очнулся часу в двенадцатом. Голова моя была тяжела как свинец. Сначала я не мог ничего порядком припомнить: мне все казалось, что я видел какой-то беспутный сон, в котором не было никакой связи, но мой слуга, которого я кликнул, вывел меня тотчас из заблуждения.

– Где это, сударь, – спросил Егор, – вы изволили так подгулять?

– Где? Как где? Да разве я где-нибудь был?

– Эге, барин, как память-то вам отшибло! Да вас вчера гораздо за полночь привезли откуда-то в карете. Ну, Александр Михайлович, вы, видно, изволили хлебнуть по-нашему!

– Что ты врешь, дурак!.. Однако ж постой!.. В самом деле... Ведь я был вчера у барона?.. Так точно!.. Я пил шампанское...

– Ну вот, извольте видеть!

– Постой, постой!.. Мамзель Виржини... синьора Карини...

– Что такое, сударь?..

– Луцкий... похороны... фон Нейгоф в цыганском платье... что это такое?..

– Не выпить ли вам водицы? – шепнул Егор, покачивая головой.

– Здравствуй, Александр! – сказал Закамский, входя в комнату. – Что это?.. В постели?.. Ты болен?..

– Да! У меня очень болит голова, – отвечал я, надевая мой халат и туфли. – Я вчера поздно приехал домой, за ужином пил это проклятое шампанское...

– Где?

– У барона Брокена.

– Скажи, пожалуйста, откуда выкопал ты этого барона?

– Я с ним познакомился несколько дней тому назад.

– Кто он такой?

– Кажется, богатый человек, он путешествует по всей Европе и, может быть, долго проживет у нас в Москве.

– А что у него вчера был за праздник?

– Так, вечер. Пели цыгане, играли в карты, ужинали...

– Да кто ж у него была?

– Почти все иностранцы.

– А иностранок не было? – спросил с улыбкою Закамский.

– Как же! Две дамы: одна итальянка, другая француженка, и обе прелесть!

– Право! Так тебе было весело?

– Да, конечно, сначала, но под конец я был в каком-то чаду, бредил, как в горячке, и видел такие странные вещи...

– Что такое?

– Да как бы тебе сказать? В комнате хохот, песни, цыгане, а на улице похороны, на небе какой-то фейерверк... В комнате за мной ухаживали две прекрасные женщины, а на улице, против окна, стоял Яков Сергеевич Луцкий, делал мне знаки, манил к себе... И все это я видел – точно видел.

– А много ли ты выпил рюмок вина?

– Право, не помню.

– Вот то-то и есть! Кто пьет без счету, так тому и бог весть что покажется.

– Да это еще не все. Представь себе: ведь

наш приятель, Нейгоф, мастерски пляшет по-цыгански.

– Что, что?

– Да! Он вчера и пел и плясал вместе с цыганами.

– Вчера? В котором часу?

– Часу в первом ночи.

– Ну, Александр, видно же, ты порядком нарезался! Да знаешь ли, что бедняжка Нейгоф очень болен? Я вчера просидел у него большую часть ночи, и с ним именно в первом часу сделался такой сильный и продолжительный обморок, что я ужасно испугался – ну точно мертвый! Теперь, слава богу, ему лучше. Да что это, Александр? Ты, кажется, вовсе пить не охотник, а такие диковинки мерещатся только записным пьяницам с перепоею. Наш важный и ученый магистр плясал по-цыгански!.. Ну, душенька, ты решительно был пьян.

– Я и сам начинаю то же думать, – сказал я, потирая себе голову, – я могу тебя уверить, что это в первый и последний раз.

– Послушай, Александр, – сказал Закавказский, помолчав несколько времени, – ты не

ребенок, а я не старик, так мне читать мораль вовсе некстати, а воля твоя, этот барон мне что-то больно не нравится. Он умен, очень умен, но его образ мыслей, его правила...

– Не беспокойся, мой друг, он не развратит меня.

– Дай-то бог!

– Скажи мне, Василий Дмитрич, давно ли ты видел Днепровских.

– А, кстати! Алексей Семенович о тебе спрашивал, а жена его препоручила мне просить тебя сегодня на вечер.

– Сегодня я никуда не пойду: я нездоров.

– Полно нежиться, Александр! Ну, что за важность – голова болит! Приезжай сегодня к Днепровским. Знаешь ли что? Ты очень понравился и мужу и жене, а особенно жене... Да не красней: тут нет еще ничего дурного. Она поговорит с тобой о луне, о милой природе, ты прочтешь ей «Бедную Лизу». «Наталью, боярскую дочь»[147], быть может, поплачете вместе, да тем дело и кончится. Я хорошо знаю Днепровскую: она немного ветрена, любит помечтать, слетать воображением в туманную область небытия, посантименталь-

ничать, поговорить о какой-то неземной любви, но уж, конечно, никто на свете, даже любящая московская старушка, не найдет ничего сказать дурного об ее поведении, и поверь мне, если ты желаешь сохранить дружбу Надины, то советую тебе не пускаться с нею в любовные изъяснения. Тут я вспомнил о письме, которое показывал мне барон, и невольно улыбнулся.

– Ого! – сказал Закамский. – Какая самодовольная улыбка! Да ты решительно смотришь победителем. Видишь, какой Пигмалион!.. [148] Сколько людей старались напрасно оживить эту прекрасную статую, а он, как Цезарь, пришел, увидел, победил!.. Ну, брат Александр, заранее поздравляю тебя с носом!

Я любил Машеньку, а Днепровская мне только нравилась, но самолюбие... Ох, это самолюбие!.. Посмотришь: человек сходит с ума от женщины, забывает все приличия, делает тысячу дурачеств, губит свою будущность, теряет друзей, идет стреляться за эту женщину на двух шагах – одним словом, все приносит ей в жертву, и вы думаете, что он страстно ее любит?.. О, нет! Он не хочет только, чтоб она

любила другого, для него нестерпима мысль, что этот *другой* может сказать: «Она оставила его для меня». Если б эта женщина умерла, то, быть может, он не вздохнул бы о ней ни разу, но она изменила, то есть *предпочла* ему другого, и он, в минуту бешенства, готов решиться на все. На смешки Закамского расшевелили во мне это демонское самолюбие. Остаться с носом – мне!.. Когда из одного великодушия я отвергаю любовь, которую мне так явно предлагают... Ах, черт возьми!.. Это обидно!.. Так я же докажу Закамскому, что если многие из его приятелей и, может быть, он сам, остались с носом, то уж, конечно, я не прибавлю числа этих забракованных волокит... Сначала докажу ему это, а после... ну, разумеется, уеду из Москвы, женюсь на моей невесте... Да, да!.. Несколько месяцев Надине, а потом всю жизнь Машеньке, всю до самой смерти!

Прощаясь с моим приятелем, я почти дал слово, что мы вечером увидимся у Днепровских.

Весь этот день я пробыл дома. Часу в седьмом вечера, в то время, как я собирался уже ехать, мой слуга подал мне письмо: оно было

от Машеньки. Когда я увидел почерк этой милой руки, сердце мое забилося от радости, я забыл все – и пленительную улыбку Надины, и ее черные пламенные глаза, встревоженное самолюбие замолкло в душе моей, в ней воскресло и оживилось все прошедшее. В этом почти детском письме не было ни сантиментальных фраз, ни *проникнутых* сильным чувством слов, которые *жгут* бумагу. С первых строк можно было отгадать, что моя невеста не читала «Новой Элоизы»[149], она не описывала мне любви своей, но зато каждое слово в письме ее дышало любовью, в каждом слове, как в зеркале, отражалась ее чистая, небесная душа. Машенька рассказывала мне о своих занятиях, о том, как они праздновали день моего рождения, как служили молебен. «Ах, братец! – говорила она. – Как мне было тяжело не плакать во время молебна! Но я боялась огорчить маменьку и молилась за тебя богу, как за чужого, но зато уж после!..»

Я прочел несколько раз сряду это письмо, я целовал его, прижимал к сердцу и кончил тем, что отправился, но только не к Днепровским, а к Якову Сергеевичу Луцкому, у кото-

рого я давно уже не был. Он принял меня с обыкновенным своим радушием, и хотя беседы его вовсе не походили на забавную болтовню князя Двинского, а и того менее на философические разговоры и резкие суждения барона Брокена, но я не видел, как прошел весь вечер. Его светлая, исполненная библейской простоты речь, его кротость, ласковый прием и даже этот смиренный приют – простой, но чистый и веселый его домик, все вливало какую-то неизъяснимую отраду в мою душу. Казалось, она отдыхала от всех житейских сует и утомительных забав света – ей было так легко! О, как свободно дышишь под кровлей истинного христианина! Кажется, будто б целая атмосфера мира и спокойствия тебя окружает. Порок прилипчив, но и добродетель передается душе человека, когда он не бежит от нее, как от заразы. Всякий раз после беседы моей с Луцким я чувствовал себя добрее и моя привязанность к невесте увеличивалась, его дружба и любовь к Машеньке, эти два ангела-хранителя моей юности, спасли меня от гибели.

Я приехал домой часу в одиннадцатом но-

чи, прочел еще раз письмо Машеньки и заснул самым тихим и спокойным сном.

Прошло недели две, в которые я ни разу не был у Днепровских. Барон заезжал ко мне почти каждый день, он звал меня опять на вечер, но я отделался вежливым образом, несмотря на то что мне иногда очень хотелось увидеть и мамзель Виржини, и синьору Карини, с которыми я нигде не мог повстречаться. Казалось, барон дал себе слово очаровать меня своей любезностью и умом, каждый день я открывал в нем новые достоинства. Этот чудный человек был в одно и то же время поэт и ученый, какие встречаются очень редко, играл с неподражаемым искусством на скрипке и рисовал, как отличный художник. В течение этих двух недель он успел так со мною сблизиться, что мы уж говорили друг другу *ты*, и как будто бы век были знакомы. Несколько раз он заговаривал со мною о Днепровской, смеялся над моей жестокостью и спрашивал шутя: скоро ли проглянет на небе звезда бедной Надины? Наконец сам Днепровский заехал ко мне, чтоб узнать, для чего я их покинул. Я оправдывал

себя нездоровьем, службою, обещал загладить свою вину и продолжал по-прежнему к ним не ездить. Однажды барону совсем было удалось свести меня с Надиною. Мы гуляли с ним по Тверскому бульвару, день вышел ясный, и хотя мы дышали вовсе не летним воздухом и солнце уж плохо грело, но весь бульвар был усыпан народом, перед нами шли две дамы в белых атласных дульетах.

– Ну что? – шепнул мне барон. – Твое гранитное сердце молчит?

– А что такое? – спросил я.

– Так ты не узнаешь? Видишь эту стройную даму – вот та, что идет с левой стороны?.. Ведь это Днепровская.

– Право?

– Послушай! Если мы к ней не подойдем, так это будет очень невежливо.

– Я тебе не мешаю.

– Да подойди и ты. Полно, полно! – продолжал он, таща меня за руку. – Что за ребячество! Это уж ни на что не походит!

Надобно сказал правду, я и сначала не очень упирался, а под конец пошел едва ли не скорее моего товарища. Вдруг он вырвал

из моей руки свою руку, бросился в сторону и исчез в толпе гуляющих. Почти в ту же самую минуту повстречался со мною старик Луцкий, он сказал мне, что, пробираясь к себе домой, попал нечаянно на это гулянье. Я прошел с ним до конца бульвара и потом отправился домой. На другой день барон сказал мне, что увидел в толпе одного знакомого, которого никак не ожидал найти в Москве, и что, покинув меня на несколько минут, не мог уж после никак со мною повстречаться.

Вот однажды, спустя месяца полтора, вечером, часу в десятом, я сидел дома один. На улице был ветер, мелкий снег пополам с крупью стучал в окна моей комнаты, ложиться спать было еще рано, а ехать куда-нибудь в гости поздно, так я от нечего делать читал один современный журнал, которого название показалось бы в наше время вовсе не забавной шуткою. Помнится, его называли: «Прохладные часы, или Аптека, врачующая от уныния разными медикаментами, составленными из старины и новизны». И надобно признаться, эти «Прохладные часы» были самыми скучными часами в моей жизни. Я пе-

реставал читать, зевал, потом, для разнообразия, дремал, а там опять зевал – одним словом, не знал, что делать и куда деваться от скуки. Вдруг кто-то подъехал к крыльцу, я обрадовался и побежал навстречу к моему гостю. Это был барон.

– Здравствуй, Александр Михайлович! – закричал он. – Как я рад, что застал тебя дома! Хочешь ли потешить меня и очень весело провести сегодняшней вечер?

– Как не хотеть! Я умираю от скуки.

– Поедем в маскарад к графине Дулиной.

– Я ее не знаю.

– Ну, вот эта страстная музыкантша, которую ты видел у Днепровских.

– Да я с нею не знаком.

– Нет нужды! У меня есть лишний билет. Я привез с собою два домино, мы замаскируемся, нас никто не узнает, а мы будем интриговать целый мир. Ты найдешь там много знакомых, станешь говорить только с тем, с кем сам захочешь, и уедешь тогда, когда тебе вздумается. Ну что – давай?

Разумеется, я согласился, бросил под стол «Прохладные часы» и через несколько минут,

закутанный с головы до ног в широкое домино, отправился вместе с бароном.

Подъезжая к огромному дому графини Дулиной, мы попали в ряд и, по крайней мере, с четверть часа дожидались нашей очереди. Не знаю, как это случилось, но только два или три нищенских цуга, которые тащились позади нашей лихой четверни, подъехали первые к подъезду, наконец дошло дело и до нас. Вот мы в сенях низких, плохо освещенных, запачканных, но очень обширных, по обеим сторонам толпы слуг: одни залиты золотом, другие оборваны, одни держат в руках салопы, шали, шубы, другие, набив ими огромные мешки, располагаются преспокойно вздремнуть на этих временных пуховиках, в то время как их господа станут веселиться на бале. Русский слуга вообще любит соснуть, это весьма и естественно: он ничем не занят, ему не о чем думать, следовательно, если он не пьяница, то дремлет оттого, что ему скучно, а если любит выпить, так спит для того, чтоб выспаться и явиться в трезвом виде к столу, во время которого обыкновенно вся услуга должна быть налицо.

Мы взошли во второй этаж дома по парадной лестнице, уставленной лакеями в богатых ливреях и засаленных галстуках. От небольшой прихожей, где мы отдали швейцару свои билеты, начинался целый ряд ярко освещенных, обитых штофом и роскошно убранных гостиных. Повернув направо, мы прошли через длинную столовую в огромную танцевальную залу. В ней гремела музыка и человек триста давили друг друга, чтоб дать место длинному польскому, пар в тридцать, который разгуливал по зале. Почти все гости были в маскарадных платьях, но по большей части без масок, мужчины в простых венецианах и трехугольных шляпах, а женщины в разных характерных костюмах. Сначала я во все растерялся, яркий свет, пестрота, непрерывное движение, шепот частых разговоров, пронзительный визг и хохот масок, оглушающий польский с трубами и литаврами, жар, духота – все это вместе подействовало на меня как сильный прием опиума: я совершенно одурел, но это продолжалось недолго. Минут через пять, когда я совсем уж угляделся, повстречалась со мною хозяйка дома, она вме-

сте с Надиною Днепровскою пробиралась сквозь толпу вон из залы. На Днепровской был костюм швейцарской пастушки. Она была так мила в этом живописном наряде, эта круглая соломенная шляпка, из-под которой лились волною ее черные кудри, этот пестрый корсет, который обхватывал ее прелестную грудь и гибкий стан, все было в ней так очаровательно, что я, желая еще раз на нее полюбоваться, вышел вслед за ними в столовую.

– Ах, та сійге! Как некстати разболелась у тебя голова! – говорила графиня, прощаясь с Днепровскою.

– Мне и самой очень грустно, – сказала томным голосом Надина, – но если б вы знали, что я чувствую!.. Только, бога ради, не говорите ничего Алексею Семеновичу: он испугается, не кончит своей партии... а мои головные боли, право, ничего: они всегда проходят сном. Прощайте, графиня!..

Днепровская уехала, а я воротился опять в танцевальную залу. Около часу ходил я из комнаты в комнату, зевал, смотрел, как играли в бостон, выпил стакана два лимонаду и

не мог надивиться на эту разноцветную толпу, которая, казалось, очень веселилась, тогда как я чувствовал одну усталость и скуку. Со мною встречалось много знакомых, но я не смел никого задирать, мне все казалось, что меня с первого слова назовут по имени. Наконец, увлекаясь общим примером, я решился пуститься в разговоры и подлетел к трем дамам, которые сидели рядом в одном углу залы. Это были, как я узнал после, родные сестры Л***, все три очень зрелые, то есть самой меньшей из них было лет шестьдесят. Эти добрые старушки имели слабость белиться, румяниться и сурмить брови, а так как они в то же время не могли вытянуть и разгладить всех морщин, то их лица совершенно походили на восковые, дурно сделанные маски. Эти три девицы были в каких-то греческих хитонах, и я вообразил, что они одеты Парками [150].

– Почтенные сестрицы, – сказал я, – куда вы девали ваше веретено, прялку и ножницы? Без этих принадлежностей никто не отгадает, что вы Парки.

Представьте мое удивление! Вдруг эти

неподвижные, окрашенные кармином губы зашевелились, глянцовитые лбы наморщились, три пары бездушных глаз засверкали гневом, а позади меня раздался шепот негодования и громкий смех веселых масок. Многие из гостей, находя мою шутку слишком дерзкою, стали добиваться, кто я такой, в одну минуту составилась около нас кружок. Я вовсе потерял голову, не знал, куда деваться, и с радостью провалился бы сквозь землю, к счастью, необычный шум в другом углу залы разогнал эту тучу. Все бросились туда толпою. Там происходила сцена гораздо интереснее той, в которой я был действующим лицом, она также была следствием совершенно невинной ошибки. Когда я вместе с другими подошел к тому месту, где шумели, один молодой человек, бледный, растрепанный, пробивался, как безумный, сквозь толпу, за ним гналось человек пять, они успели остановить его, в то же время выносили на руках из залы женщину средних лет, в сильном обмороке. Через несколько минут все объяснилось. Этот молодой человек, только что приехавший из провинции, пострадал ужасным образом за свою

вежливость. Против него сидела дама, закутанная с головы до ног в черный венециан. Она была в белом платье, и, на беду, клочок этого платья выглядывал у самых ее ног из-под венециана, который в этом месте распахнулся. Молодой человек был очень близорук и не носил очков, потому что тогда это было еще вовсе не в моде. Вот ему показалось, что дама в черном платье уронила белый платок. Какой удобный случай доказать столичной публике, что у нас и в провинциях молодые люди отменно вежливы и чрезвычайно ловки! Благовоспитанный юноша не долго колебался, боясь, чтоб его не предупредили, он бросился, как полоумный, проломил локтем картонное брюхо какого-то турецкого паши, сбил с ног арлекина, подлетел к бедной барыне и вдруг, с размаху, поднял платок.

В ту самую минуту, как я слушал одного из гостей, который рассказывал другому об этом приключении, подошла ко Мне маска в голубом домино и круглой мужской шляпе.

– Здравствуйте, Александр Михайлович! – пропищала она, протягивая мне свою руку. Мне нетрудно было отгадать, что, несмотря

на круглую мужскую шляпу, со мною говорила женщина. Маленький шелковый башмачок и крошечная ручка в лайковой перчатке, разумеется, не могли принадлежать мужчине, но я не мог понять, как она могла узнать меня, когда я во все время не снимал ни разу моей маски и промолвил только несколько слов, да и то не своим голосом.

– Скажите мне, – продолжало голубое домино, – что вам за охота душиться в этой зале? Посмотрите, свечи тухнут от жара. Пойдемте в другие комнаты, там гораздо свежей.

– Куда вам угодно, прекрасная маска! – сказал я. – С вами я готов идти на край света.

– О, я поведу вас не так далеко! Пойдемте, пойдемте! Мы прошли несколько гостиных, диванную и остановились в роскошном будуаре, которым оканчивалась вся амфилада парадных комнат.

– Отдохнемте здесь, – шепнула маска, садясь на покойную, обставленную цветами козетку. Я сел подле нее. – Ну что, Александр Михайлович, не правда ли, что здесь гораздо прохладнее?

– И несравненно приятней. Но скажите,

почему вы меня узнали?

– Я колдунья.

– Не может быть: все колдуньи старухи.

– Да кто вам сказал, что я молода?

– Кто? Вы сами. Я уверен, что этой маской прикрыты и розовые губки, и жемчужные зубы, и тысяча других прелестей, да, к счастью, глаза-то вам спрятать не можно.

– Вы худой отгадчик. Впрочем, так и быть должно: вы ничего не отгадываете.

– Неужели?

– Ну трудно ли, например, отгадать, что тем, которые вас любят, очень грустно не видеться с вами по целым месяцам, а вы, кажется, этого не отгадываете.

– Я вас не понимаю.

– Скажите: хорошо ли забывать старых знакомых? Разрывать приятельские связи без всякой причины и платить за искреннюю дружбу каким-то холодным ледяным равнодушием, которое во сто раз несноснее всякой вражды и ненависти? Ну! Теперь вы отгадали, кто я?

– Виноват! И теперь не отгадал

– Так вы решительно не хотите меня

узнать? – сказала маска своим голосом.

– Что ж это? – подумал я. – Мне кажется, этот голос... Да нет, она сейчас уехала домой.

– Ну что ж вы молчите? – продолжало голубое домино. – Понимаете ли, Александр Михайлович, как это обидно для моего самолюбия? Вы не узнаете меня даже и по голосу! Но истинная дружба снисходительна: я вас прощаю. Впрочем, может быть, вы полагаете себя обязанным отвергать дружбу, которую предлагает вам женщина: у вас есть невеста...

– О, мне нечего бояться! – сказал я веселым голосом. – Моя невеста далеко отсюда.

– Вы шутите, – прервало с живостью голубое домино, – а я вовсе не шучу. Неужели и вы также разделяете почти со всеми это унижительное мнение о нашем поле, неужели вы думаете, что молодая женщина не может быть другом мужчины без того, чтоб не изменить своим обязанностям? Нет, Александр Михайлович, не обижайте женщин! Я чувствую по себе: я могу любить, быть другом мужчины и, не краснея, смотреть в глаза своему мужу. «Но злословие, – скажете вы, – но этот бездушный тиран, чудовище, прозван-

ное *общим мнением*, этот ханжа и лицемер, которого мы называем светом и для которого всего важнее наружность, он восстанет против самой чистой, святой дружбы, придумает, прибавит, растолкует по-своему каждый поступок, отравит своей ядовитой желчью каждое слово, каждое движение...» Быть может! Но чего люди не перетолкуют в дурную сторону? Они живут злословием и клеветой. Мы привыкли уважать мнение света, а, посмотрите, до какой степени оно и ничтожно и несправедливо. Когда молодая девушка имела несчастье выйти замуж за человека, который почти втрое ее старше, и если заметят, что в груди этой женщины бьется сердце, то ничто уже не спасет ее. Лишнее слово, сказанное мужчине не вовсе старому и безобразному, неосторожный поступок, небольшая ветренность – одним словом, все послужит к ее обвинению. Если она молчалива и задумчива, то скрывает в душе своей тайную страсть; если весела и разговорчива со всеми, она кокетка, если любезна только с некоторыми, то уж, верно, любит того из них, кто чаще с ней танцует и дружнее с ее мужем. Если ж она, чтоб

заставить молчать злословие, решится не выезжать... О, тогда клевета становится еще ужас-вес! Тогда уж не догадываются, а просто утверждают: она не смеет показаться в свет! «Муж увез ее в деревню, засадил дома – и очень, очень умно сделал! – будут шептать добрые старушки. – Какой ужасный деспотизм! Ах, как она несчастлива!» – «Бедный, как он жалок!» – заговорят молодые женщины, посматривая на какого-нибудь ловеласа, который надоедал ей своим волокитством. «Поздненько за ум хватился, – скажут пожилые мужчины, – давно бы пора!» – «Как глуп этот муж, – начнут кричать молодые люди, – да неужели он думает, что его двадцатилетняя жена вовсе без сердца? Он должен был ожидать этого. Ну, возможно ли?.. И как требовать, чтоб она была верна своему мужу, когда он годится ей в дедушки!» И эти же самые люди, которые не хотят верить, что любить мужа-старика и быть ему верною, возможно, без всякого сожаления закидают грязью бедную женщину, если она, по несчастью, оправдает их мнение. Теперь я спрашиваю вас: стоит ли эта бессмысленная, злая толпа, чтоб в

угоду ее прихоти мы подавляли в душе нашей самое чистое и благородное чувство? И какую пользу принесет нам эта жертва? Никакой! Нет, Александр Михайлович! Пусть боятся злословия и предрассудков те, которым нужна людская похвала, чтоб прикрыть ею отвратительную истину, но, поверьте мне, в ком совесть чиста, тот может и должен презирать мнение света.

Один русский поэт, теперь уже почти забытый, но некогда весьма любимый, а особенно теми, которые имели счастье знать его лично, сказал:

*Что всякой логики сильнее
Прекрасной женщины слова.*

Я испытал эту истину на себе. Я мог бы сказать этой замаскированной красавице, что дружба и любовь – родные сестры и что при старом муже молодой друг опаснее врага, что жить в свете и презирать мнением света не может никто, потому что общее мнение почти всегда или, по крайней мере, очень часто имеет своим основанием истину, что сплетни злых старух, вздорная болтовня молодых ба-

рынь и вранье пустоголовых ветрогонов никогда не повредят репутации женщины, если она желает искренно исполнять свои обязанности, что, жалуясь на злословие людей, мы почти всегда более или менее даем повод к этому злословию и что народная пословица: «Дым без огня никогда не бывает» – хотя и не русская, а часто сбывается на святой Руси. Теперь все бы это пришло мне в голову, но тогда я думал совсем не о том, прислушиваясь с большим вниманием к голосу голубого домино, я уверился под конец что со мною разговаривает Днепровская. «Боже мой, как она мила! – думал я. – Как все то, что она говорит, справедливо! Сколько ума, сколько прелестей!.. Но неужели она притворилась больной для того только, чтоб съездить домой и переодеться?.. Уж не ошибаюсь ли я?..»

– Мне кажется, прекрасная маска, – сказал я, – мы не давно с вами познакомились – месяца два или три – не более? Не так ли?

– О, нет! Мы давно знаем друг друга, и если вы не отречетесь от ваших собственных слов...

– От моих слов?

– Да! Или, что почти одно и то же, если вы всегда говорите правду...

– Я никогда не лгу.

– Это испытать нетрудно, – сказала маска, распахнув свое домино. – Смотрите.

Черный бархатный спенсер, отделанный как гусарский доломан, золотыми шнурками, напомнил мне тотчас мою первую встречу с Днепровской.

– Так это вы? – вскричал я.

– Вы узнали это платье?

– С первого взгляда. Да неужели это то самое?

– Да! – отвечала Днепровская вполголоса. – Я берегла его. Оно было на мне, когда мы встретились с вами в первый раз.

«Ну, – подумал я, – какому другу-мужчине пришло бы это в голову? То ли дело друг-женщина!»

– Скажите мне, – продолжала Днепровская, – за что вы нас покинули.

– Я так занят службою...

– Александр Михайлович! Я вижу сквозь вашу маску, что вы покраснели. Зачем говорить неправду! Признайтесь, мой ласковый

прием, моя откровенность до смерти вас перепугали? Что ж делать! Притворство мне во все несродно: с первого взгляда я почувствовала к вам дружбу и не хотела скрывать этого чувства. Если б вы не были женихом, то, быть может, и я не была бы так откровенна, но вы почти женаты, я замужем, так для чего же было мне хитрить и прикидываться равнодушною, когда я от всей души обрадовалась, увидя вас в моем доме. Вы не умели понять меня, Александр Михайлович, и, как честный человек, решились не ездить к женщине, которой вы имели несчастье понравиться, – не правда ли?

«Проклятый барон! – подумал я. – Он все ей пересказал».

– Теперь я, кажется, уверила вас, – продолжала Надина, – что дружба – не любовь. Хотите ли быть моим другом? – прибавила она таким робким голосом, с таким обворожительным чувством боязни и любви, что я, увлеченный минутным порывом, сказал с восторгом:

– Хочу ли я быть вашим другом?.. О, с радостью, с блаженством!..

Днепровская молча протянула ко мне руку и отвернулась: она хотела скрыть от меня свои слезы, но я видел, точно видел, как они капали из-под маски на ее белый батистовый платок. Я покрывал поцелуями эту прелестную ручку, которую держал в своей руке, и чувствовал сквозь перчатку, что она холодна как лед. Несколько минут мы не говорили ни слова.

– Вы будете к нам ездить? – шепнула наконец прерывающимся голосом Надина.

– Какой вопрос!

– Честное слово?

– Клянусь вам...

– Не клянитесь, а приезжайте завтра вечером. Но тише! Кажется, сюда идут.

Князь Двинский и приятель мой Закамский, оба без масок, подошли к дверям комнаты, в которой мы сидели.

– Полно, князь, перестань! – говорил Закамский. – Как тебе не стыдно!

– Напротив, мой друг! Очень стыдно. Ребенок свел ее с ума, а я... ах, черт возьми!..

– Да с чего ты взял?

– С чего?.. Послушай, Закамский! Если б де-

ло шло о Горации или Виргилии, даже о французской словесности, то я бы не пикнул перед тобою: ты человек ученый – тебе и книги в руки. Но дело идет о женщине, так теперь твоя очередь, извольте, сударь, молчать: эта грамота вам не далась! Да помилуй, разве ты слеп? С тех пор, как твой благочестивый Грандисон[151] побывал у нее в доме и вдруг перестал ездить, что с ней сделалось? Куда девалась ее любезность и эти розовые щечки, которыми ты так любовался?

– Да, это правда, она похудела, но разве это что-нибудь доказывает?

– Конечно, ничего, да почему же всякий раз, когда назовут при ней по имени твоего приятеля, эти бледные щеки становятся опять розовыми?.. И бывает же счастье людям, которые не умеют им пользоваться!

– Все это вздор, князь! Правда только, что она с некоторого времени почти всегда нездорова. Вот хоть сегодня, полчаса не могла пробыть в маскараде.

– А что? Ты думаешь, она уехала домой?

– Я сам видел.

– И я видел, да не верю. Тут есть какая-ни-

будь хитрость. Хочешь ли в заклад?.. Она опять здесь, только в маске.

– Почему ты это думаешь?

– Так, мне кинулся в глаза один розовый башмачок... Или я вовсе в этом толку не знаю, или эта ножка... Да погоди, дай мне только еще раз повстречаться...

– Злой человек! – шепнула Надина. – Они идут сюда... Пойдемте в залу.

Мы сошлись в дверях с князем; он вежливо посторонился, взглянул с улыбкою на голубое домино Днепровской, потом на меня и шепнул что-то своему товарищу.

– И, нет! – сказал громко Закамский. – Он не знаком с графинею.

Мы поспешно прошли через все гостиные и смешались с толпою, которая по-прежнему теснилась в зале.

– Оставьте меня! – сказала Днепровская. Я не успел еще отойти в сторону, как Двинский подошел к Надине и сказал вполголоса:

– Как я рад, beau masque[152], что вы так скоро выздоровели.

– Вы ошиблись: я вас не знаю, – отвечала Надина, разумеется, не своим голосом. Она

хотела от него уйти, но не было никакой возможности продрасться сквозь толпу.

– Скажите, – продолжал Двинский, – здоров ли *monsieur votre eroux*?[153] Он, верно, играет в вист?

Днепровская молчала.

– Не бойтесь! – шепнул князь. – Я не назову ни вас, ни его по имени. Да что с вами такое было? Верно, от духоты? Напрасно вы опять сюда пришли. Вот в этой угольной комнате, где вы сейчас были, гораздо прохладнее. А кстати! У вас, кажется, была там консультация с вашим доктором? Я тотчас узнал его. Искусный медик! Он вас непременно вылечит. Я вышел из терпения.

– Милостивый государь! – вскричал я, схватив за руку князя. – Чего хотите вы от этой дамы?

– Чего? Какой нескромный вопрос! – сказал князь, взглянув на меня с насмешливой улыбкой.

– Вы с нею вовсе не знакомы.

– Неужели? Позвольте хоть немножко! Не так коротко как вы – о, это другое дело!.. Но я бы вам советовал получше переменять ваш

голос, а то – знаете ли что? Вот хоть Днепровский уж очень недогадливый человек, а тотчас вас узнает и, право, догадается, что вы только к нему не хотите ездить в гости.

Я совсем растерялся и не знал, что отвечать, к счастью, Надина, пока я говорил с князем, успела перейти в другую сторону залы и скрыться в толпе. С четверть часа я искал ее по всем комнатам. Со мною повстречался барон.

– Помилуй! – сказал он. – Что ты так бегаешь? Я насилу мог тебя догнать.

– Не видел ли ты, – спросил я, – маску в голубом домино и мужской круглой шляпе?

– Не беспокойся, – отвечал барон, – я проводил ее до кареты. Ну что, мой друг, мы завтра вечером вместе?

– Да!

– Какое счастье! Наконец вы умилощивились! Знаешь ли, мой друг, у меня гора с плеч свалилась? Я люблю тебя, а ты был так смешон, так смешон!.. Двинский прозвал тебя Грандисоном, а ее Кларисою...[154]

– Двинский!.. Если б ты знал, какой негодяй этот Двинский!

– Не сердись на него, мой друг, его роль также не очень забавна! Он без ума влюблен в Днепровскую, а она его терпеть не может.

– Да разве это ему дает право быть дерзким! – И, душенька! Да кого бьют, тот всегда кричит: ведь ему больно! Этот избалованный женщинами повеса может ли спокойно видеть торжество соперника, который не хочет даже воспользоваться своею победой?

– Какой я соперник? Что за победа? Я обещал Днепровской быть ее другом и больше ничего. Да поверь, барон, она и сама не думает о любви. О, мой друг! Если б ты знал, какая эта чистая, неземная душа!..

– Ого! – вскричал барон. – *Неземная душа!*.. Да это, кажется, любимое ее словцо?.. Ну, я вижу, в ученике прок будет: он переимчив. Однако ж скоро два часа. Что, тебе надоело шататься?

– Очень.

– Так поедем. Забрось меня домой и ступай в моей карете. Тебе надобно выспаться. Днепровский ужинает очень поздно, а завтра он тебя без ужина не отпустит – предобрый человек!

Когда я приехал домой, Егор подал мне письмо: его привез дворецкий Ивана Степановича Белозерского, присланный в Москву закупить годовую провизию. Я взглянул на адрес и покраснел: он был написан рукою Машеньки. Я мог обманывать других, называть любовь дружбою, уверять всех, что Надина в меня влюблена, но во мне была еще совесть, а она говорила совсем не то.

II. ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ

Я стал ездить к Днепровским, сначала раза два в неделю, а потом почти каждый день. С приятелем моим, Закамским, я встречался очень редко и в продолжение четырех месяцев заезжал только два раза к Якову Сергеевичу Луцкому. Бывало, каждую неделю я писал к моей невесте, а теперь иногда забывал почтовый день и, чтоб оправдать себя, лгал без всякого стыда и зазрения совести: то письмо пропадало, то Егор забывал отдать его или опаздывал отнести на почту.

Днепровская вела себя очень осторожно. Мы редко оставались наедине, а когда это случалось, то говорили о нашей дружбе, о сча-

стве двух душ, которые понимают друг друга, читают вместе «Новую Элоизу», «Вертера» [155], Августа Лафонтеня[156]. Закамский отгадал: мы трогались, плакали, раза три принимались перечитывать «Бедную Лизу», «Наталью, боярскую дочь» и «Остров Борнгольм», но что более всего нравилось Надине, что мы знали оба почти наизусть, так это небольшой драматический отрывок «Софья»[157], особенно замечательный по своему необычайному сходству с сочинениями французских романистов нашего времени. Читая его, мы, так сказать, *предвкушали* наслаждение, которое доставляет нам теперь молодая французская словесность. Этот литературный грех великого писателя, едва начавшего свое блестящее поприще, не помещен в полном собрании его сочинений и, быть может, многие из моих читателей не имеют о нем никакого понятия. Вот в чем дело: Софья, молодая и прекрасная женщина, точь-в-точь одна из героинь Бальзака или Евгения Сю[158], вышла замуж по собственной своей воле за г-на Доброва, шестидесятилетнего старика, такого же снисходительного и услужливого мужа, каков мосье

Жак в романе известного Жорж Санда[159], или, лучше сказать, благочестивой г-жи Дюдеван. У этого Доброва бог весть почему живет какой-то француз Летъен, он соблазняет Софью. Софья решается сказать об этом своему мужу и просит у него позволения уехать с своим любовником в брянские леса. Старый муж удивляется, не верит, но Софья объявляет ему, что она уже три года в интриге с французом и что сын, которого Добров называет своим, не его, а ее сын. Старик начинает кричать, шуметь, предает ее проклятию, с ним делается дурно, потом он приходит в себя, плачет, импровизирует ужасные монологи, просит у жены прощенья, становится перед ней на колени. Но Софья женщина с характером, она говорит пречувствительные речи, а все-таки не хочет с ним остаться и просит позволенья уехать с французом. Наконец великодушный муж соглашается, закладывает карету, и добродетельная супруга отправляется с мосье Летъен в брянские леса. Все это, как изволите видеть, очень натурально, но конец еще лучше. Жить вечно в лесу вовсе не забавно: француз начинает скучать и от нечего де-

лать волочится за Парашею, горничной девушкой Софьи. Барыня замечает, ревнует, француз крадет у нее десять тысяч рублей и уговаривает Парашу бежать с ним в Москву. Софья их подслушивает, кидается на француза, режет его ножом, потом сходит с ума, бегает по лесу, разговаривает с *бурными ветрами* и кричит: «Моря, пролейтесь!» Подлинно сумасшедшая! Ну, какие моря в брянских лесах? К концу довольно длинного монолога, который напоминает сначала Шекспира «Царя Лира», а под конец его же «Макбет», Софья подбегает к реке, кричит: «Вода, вода!» – бро-сается с берега и тонет.

Однажды, это уж было зимою, часу в девя-том вечера, я заехал к Днепровским. Мужа не было дома, несмотря на ужасную вьюгу и мо-роз, он отправился в Английский клуб. Пади-на была одна. Она сидела задумавшись перед столиком, на котором лежала разогнутая кни-га, мне показалось, что глаза у нее заплака-ны.

– Что с вами? – спросил я. – Вы что-то рас-строены?

– Так, ничего! – отвечала Надина. – Я чита-

Ла...

– Софью? – сказал я, заглянув в книгу.

– Да. Странное дело, я знаю наизусть эти прелестные сцены и всякий раз читаю их с новым наслаждением.

– Чему же вы удивляетесь? Одно посредственное теряет вместе с новостью свое главное достоинство, но то, что истинно, превосходит...

– Поверите ли? – продолжала Надина. – Мой муж, которого я уговорила прочесть этот драматический отрывок, говорит, что в нем нет ничего драматического, что пошлый злодей Летъен походит на самого обыкновенного французского парикмахера, что Софья гадка, что муж ее вовсе не жалок, а очень и очень глуп. Боже мой! До какой степени может человек иссушить свое сердце! То, что извлекает невольные слезы, потрясает нашу душу, кажется ему и пошлым и смешным? Я уважаю Алексея Семеновича: он очень добрый человек и любит меня столько, сколько может любить, но, согласитесь, Александр Михайлович, такое отсутствие всякой чувствительности в человеке, с которым я должна

провести всю жизнь мою, ужасно! На этих днях мы смотрели с ним драму «Ненависть к людям и раскаянье»: я обливалась слезами, в креслах все плакали, а мой Алексей Семенович...

– Неужели зевал?

– Хуже! Вздумал утешать меня и сказал почти вслух: «Да полно, друг мой, не плачь! Ведь это все выдумка!» К счастью, в ложе подле нас сидела княгиня Вельская, – вот та, что в разводе с мужем, – она зарыдала так громко, что никто не расслышал его слов. Бедная Вельская! Для нее горесть и отчаяние Эйлалии были вовсе не выдумкою. Под конец ей сделалось дурно, ее вынесли из театра. Ах, как жалка эта женщина! Вы ее знаете?

– Да, я что-то слышал, кажется, она убежала от своего мужа.

– Но вы не знаете всех обстоятельств: это целый роман. Жертва обольщения и непреодолимой страсти, она сохнет, страдает здесь в Москве, в то время как ее бездушный муж живет преспокойно в Костроме и не хочет никак с нею помириться!.. Чудовище!..

– Мне кажется, – сказал я шутя, – этот муж

до некоторой степени извинителен.

– И, полноте! – вскричала Надина. – Я еще поняла бы это, если б он, как Мейнау, возненавидел людей, скрылся в какую-нибудь пустыню, а то нет! Он служит губернским предводителем, дает пиры и растолстел так, что гадко смотреть!

– Скажите пожалуйста!

– Вы смеетесь, Александр Михайлович? Вам вовсе не жаль этой бедной Вельской? Вот участь всех женщин, которые умеют сильно чувствовать и любить! Ну, пусть ханжи и лицемерки преследуют их своим злословием, но мужчины?.. Да знают ли эти строгие судьи, что такое жить в вечной борьбе с самой собою?.. Знаете ли вы, что любовь для женщины все? Эта любовь заменяет для нее все сильные ощущения, все страсти, которые попеременно владеют душою мужчин. Для вас есть слава, знаменитость, бессмертие, для вас открыт весь свет – служба, рассеянье, свобода, – все поможет вам исцелиться от любви; но это еще ничего: когда мужчина хочет победить страсть свою, то должен бороться с одним собою, он может убежать случая быть

вместе с той, которую любит, и если захочет, то никогда не встретится с нею, а бедная женщина!.. Мы с вами только друзья, Александр Михайлович, но представьте себе, – это одно предположение, – вообразите, что мы страстно любим друг друга, и тогда скажите мне: где найду я защиту от вас и от самой себя? Я не стану принимать вас, но могу ли я запретить вам казаться мне на глаза? Кто помешает вам преследовать меня везде, встречаться со мною на каждом шагу? Вас не связывают ни строгие обязанности, ни приличия света, вы не стыдитесь, вы даже не скрываете любви своей – вы мужчина. Когда в тишине ночи, тайком от всех, я буду стараться залить горькими слезами этот стон, который пожирает мою душу, когда после необычайных усилий мне удастся забыть на минуту ваш милый образ, который не покидает меня ни днем, ни ночью, когда я начинаю уже благодарить бога за то, что он возвратил мне спокойствие, – вы снова являетесь передо мною, и снова этот ад – нет! этот рай, но недоступный, но созданный не для меня – представится моему воображению, воскреснет в моем сердце, а все это

для того, чтоб снова растерзать его на части! Я женщина, Александр Михайлович! Я не приду говорить вам первая о любви своей, вам только стоит быть недогадливым, и эта страсть навсегда останется для вас тайною, но вы... вам это позволено, вы можете даже притворяться, играть комедию, всклепать на себя любовь, которую вовсе не чувствуете, – вы мужчина. Обвиняйте же после этого бедную Вельскую, кляните ее за то, что она видела отчаянье того, кто был мечтою всей ее жизни, и не могла сказать ему: «Я не люблю тебя!»

Никогда еще Надина не была так прелестна! Я слушал ее с восторгом.

– Скажите мне. Надежда Васильевна, – спросил я, – как с такой пламенной душою, с такой способностью любить страстно, вы могли...

Я остановился.

– Договаривайте! – сказала Надина. – Вы хотите сказать, как я могла выйти замуж за Алексея Семеновича?

– Признаюсь, это для меня совершенная загадка. Наши бабушки не смели, да и не могли выбирать себе женихов. Живя всегда взапер-

ти, они должны были поневоле верить на слово какой-нибудь подкупленный свахе и во всяком случае повиноваться беспрекословно воле родителей, но теперь...

– Теперь! – прервала с жаром Надина. – Да разве убеждения и просьбы отца и матери не те же приказания? Разве мнение света, семейственные обязанности и приличия не те же четыре стены, которыми ограничивалась свобода наших бабушек? Для вас это непонятно, Александр Михайлович, да и как понять мужчине эту женскую неволю, которую все согласились называть свободой? Не правда ли, мы царствуем в обществе? Мы приказываем, а вы повинуетесь? Но вы, покорные рабы, делаете все, что вам угодно, а мы, самовластные царицы, должны всегда делать то, чего хотят другие. Зачем я вышла за Днепровского?.. Меня хотели пристроить, Александр Михайлович! Понимаете ли, пристроить, то есть дать право жить своим домом, принимать у себя гостей, делать визиты одной, носить чепчик и называться дамою. Вы видите, во всех этих причинах моего замужества и речи нет о том, буду ли я счастлива с тем, кто назовет меня

своей женою.

– Но, по крайней мере, сердце ваше было свободно? Когда вы вышли замуж, вы не любили никого?.. Вы молчите, – продолжал я, – быть может, вопрос мой слишком нескромен?..

– О, нет! – сказала Надина. – Но я не знаю, как вам отвечать. Да, я была равнодушна ко всем мужчинам, и если предпочитала тех, с которыми была знакома, так это потому, что они чаще других танцевали со мною и я могла разговаривать с ними свободнее, чем с каким-нибудь незнакомым кавалером, которому подчас бедная девушка не знает, что и отвечать. Конечно, в числе моих знакомых были и такие, которые нравились мне своей наружностью, умом, но я любила их точно так же, как мы любим хорошие картины и умные книги, с тою только разницей, что из этих красавцев и умников мне нельзя было составить для себя ни картинной галереи, ни библиотеки, следовательно, я их любила даже менее, чем книги и картины, которые принадлежали мне. Одним словом, решительно все мужчины, которых я видела, не оставляли

никакого впечатления в душе моей.

– Итак, вы никого не любили до вашего замужества?

– Нет, Александр Михайлович, я не хочу вас обманывать. Смейтесь надо мною, если хотите, а я скажу вам всю правду: я любила существо, созданное моим воображением. Сердце мое говорило, что этот идеал не мечта, что он существует, я не знала, встретимся ли мы когда-нибудь в этой жизни, но не сомневалась, что и он тоже тоскует обо мне. «Какая наивность!» – подумаете вы. Да, Александр Михайлович, я точно была ребенком, жалким, смешным ребенком, я не могла создать наружного образа, который не существовал бы в природе, следовательно, могла и встретиться с моим идеалом. Но как смела я надеяться, что он также мечтает обо мне, также ждет с нетерпением этой встречи и будет смотреть равнодушно на всех женщин до тех пор, пока не встретится со мною? Одна из моих приятельниц так ясно доказала мне безумие этой надежды, что я решила исполнить волю моих родных, вышла замуж, и даже предпочла всем женихам Алексея Семенови-

ча. Мне не нужно было его обманывать: он почти втрое меня старше, следовательно, не мог и требовать от меня ничего, кроме дружбы.

– А ваш идеал, Надежда Васильевна? Вы никогда с ним не встречались?

– К чему желать мне этой встречи? Я принадлежу другому. Это вовсе не ответ на мой вопрос, Надежда Васильевна.

– Ах, Александр Михайлович! Было время, когда я каждую ночь засыпала с утешительной мыслью: быть может, завтра мы встретим друг друга. Но теперь!.. Конечно, я могла бы еще быть счастлива, совершенно счастлива, если б он, встретясь со мною, захотел понять любовь мою, если б он постиг вполне это чувство, в котором нет ничего земного. Днепровскому я отдала мою руку, я клялась быть верной женою и сдержу свое обещание, но ему – о, с каким бы наслаждением я отдала ему свое сердце, свою душу, все помышления свои!.. Я жила бы его жизнью, он был бы моей судьбою, его ласковый взгляд – моим блаженством, его улыбка – моим земным раем! Здесь мы были бы счастливы, а там – вечно нераз-

лучны!

Днепровская замолчала. Все мои чувства были очарованы, все прошедшее изгладилось из моей памяти, да, я должен признаться, в эту минуту я принадлежал совершенно Надежде.

– Но зачем себя обманывать? – продолжала она, не отнимая руки, которую я прижимал к груди моей. – Оно прошло, это время детских надежд и заблуждений! Мужчина с непорочным сердцем, мужчина, способный понять эту пламенную страсть души, это чувство, в котором все чисто, как чисты ясные небеса... Нет, нет! Этот идеал еще менее возможен, чем тот, о котором я некогда мечтала!..

– Надежда!.. – вскричал я.

– Жена в диванной? – раздался за дверьми голос хозяина.

Надежда вскричала и побежала навстречу к своему мужу.

– Здравствуй, мой друг, здравствуй! – сказал Днепровский, входя в диванную. – Здравствуйте, Александр Михайлович! Бога ради, Наденька, чаю скорей, чаю! Я совсем замерз!

Днепровская позвонила в колокольчик.

– Если б ты знала, – продолжал Алексей Семенович, повалясь в вольтеровские кресла, – какие были со мною приключения! Представь себе: только я приехал в клуб, стал скидывать шубу, хватать – поздравляю! – и кошелек и книжку с деньгами, все забыл дома! Что будешь делать? Скорей назад!.. Откуда ни возмись, приятель ваш, барон Брокен. «Куда?.. Зачем? Помилуйте! Да на что вам деньги? Берите у меня, сколько вам угодно». Ты знаешь, мой друг, что я этого терпеть не могу. Я отказался, барон стал меня уговаривать, а там заговорил о том, о сем, слово за слово, да продержал меня с полчаса в передней. Умный человек этот барон – очень умный, а такой болтун, что не приведи господи! Уж он меня маял, маял, насилу вырвался! Лишь только я вышел на улицу, вдруг из переулка какой-то сорванец на лихой тройке шмыг прямо на возок! Его пристяжная попала между моих коренных, мои лошади начали бить, его также, а там уже я ничего и невзвидел, знаю только, что очутился на Дмитровке и что мой возок лежит на боку. Я кое-как из него выполз... глядь: господи боже мой! – упряжь перепута-

на, дышло пополам, человека нет, кучер бежит позади, один фореитор усидел на лошади! Что делать? Дождаться долго, дай возьму извозчика. Как на смех, ни одного! Авось встречу какого-нибудь Ваньку... Иду – нет как нет! Ну, словно стоворились! Поверишь ли, вплоть до дому все шел пешком, да уж зато как и передрог! Холод, ветер, эта дурацкая медвежья шуба запахнуть не хочет, топырится в стороны – смерть, да и только! Ах, матушка, скорей чаю! Бога ради, скорей! Дай душу отвести!

– Сейчас подадут, – сказала Надина, – а ты меж тем сядь поближе к камину – вот так! Бедняжка! В самом деле, как он озяб!..

Через несколько минут подали чай, и, когда Днепровский совсем обогрелся, Надина спросила, не прикажет ли он заложить сани или другую карету?

– Нет, моя душа! – вскричал хозяин. – Теперь ни за что не поеду. Ты не можешь вообразить, какая погода. Пусть себе князь Андрей Ильич играет с кем хочет, а я слуга покорный!.. Постой!.. Мне кажется, я слышу голос барона?.. Что это ему вздумалось?

Днепровский не ошибся: это точно был барон.

– Что с вами случилось, Алексей Семенович? – сказал он, войдя в комнату. – Поехали на минуту и вовсе пропали. Уж не вы ли, Надежда Васильевна?

– Нет, барон, – прервал хозяин, – я сам не хочу ехать, меня разбили лошади.

– Что вы говорите?.. Однако ж вы не ушиблись.

– Слава богу, нет, но так прозяб, так устал, идучи пешком домой, что теперь ни за какие блага в мире не тронусь из комнаты.

– А ведь я к вам послом: князь Андрей Ильич...

– Без меня не может составить своей партии в три и три? Да воля его, а я сегодня с ним не игрок.

– Сжальтесь над бедным князем! Вы знаете, он ни в бостон, ни в рокамболь[160] не играет.

– Уж это не мое дело.

– Сделайте милость, поедemте! Я в четырехместной карете: вам будет и тепло и покойно. Вы не можете вообразить, как тоскует

бедный князь, на месте не посидит, ходит из комнаты в комнату и от нечего делать выпил две кружки сельтерской воды, того и гляди, примется за третью. Что вы, уморить, что ль, его хотите?

– Нет, барон, ни за что не поеду.

– Решительно?

– Решительно.

– Ну, если так, позвольте же и мне у вас остаться.

– Милости просим.

– Не хотите ли, Алексей Семенович, в пикет?

– Очень рад! Эй, малый! Стол, карты.

– Да не лучше ли нам сесть в гостиной?

– И здесь хорошо.

– Там лучше: пикетная игра требует большого внимания, а здесь Надежда Васильевна начнет разговаривать с Александром Михайловичем о своем Карамзине, пойдут споры, заслушаешься, снесешь четырнадцать, пропустишь карт-бланш... Нет, право, Алексей Семенович, сядемте лучше там!

– Пожалуй! По мне, все равно.

Барон и Днепровский сели играть в гости-

ной, а я остался опять вдвоем с Надиной, но минута очарования прошла: я совершенно опомнился. Напрасно Днепровская старалась приметным образом начать снова прежний разговор – я не понимал, чего она хочет. Стал говорить о французской словесности, о драмах Коцебу, о новом романе Августа Лафонтена. Надина слушала меня с задумчивым и рассеянным видом, потом стала жаловаться на головную боль и часу в одиннадцатом ушла на свою половину, оставив меня, барона и Днепровского ужинать втроем.

Я приехал домой гораздо за полночь. Мой слуга спал крепким сном в передней и не вышел меня встретить со свечою. Идя ощупью по лестнице, я как-то оступился и зашиб правую ногу. Сгоряча мне показалось, что это ничего, но часа через два боль до такой степени усилилась, что я должен был послать за доктором.

III. ДРУЖЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА

Во всю ночь я не мог заснуть ни на минуту и на другой день, несмотря на скорое пособие врача, мне не только нельзя было встать с постели, но и даже не мог притронуться к больной ноге. Я не чувствовал никаких лихорадочных припадков, голова моя была свежа, и когда я лежал спокойно, то и нога не очень меня тревожила, следовательно, я мог свободно думать, размышлять, вспоминать о прошедшем и поверять на просторе собственные мои чувства. Я не мог в них ошибаться. Днепровская пленяла меня своим умом и красотою, любовь ее льстила моему самолюбию, но я любил одну Машеньку, и каждый раз, когда оставался наедине с собою, эта любовь с новой силою оживала в душе моей. Когда я был розно с Надиною, то постигал возможность и расстаться с нею, и забыть ее навсегда, но расстаться с Машенькою, истребить эту первую любовь из моего сердца, забыть ее – о, нет! – я чувствовал, что это совершенно невозможно. Последний разговор мой с Надиною не выходил у меня из головы.

Она любила меня, в этом я давно уже не сомневался, но я надеялся, что у нас никогда не дойдет до объяснения, а вчера она почти призналась мне в любви своей, и я сам – что грех таить! – готов был поклясться у ног ее, что люблю ее страстно... Да, я точно это чувствовал, по крайней мере, в ту минуту, когда прижимал ее руку к моей груди и она шептала своим очаровательным голосом: «Здесь мы были б счастливы, а там вечно неразлучны!» Что, если б Днепровский несколькими минутами позже воротился домой?.. От одной этой мысли меня обдавало холодом. Конечно, князь Двинский стал бы смеяться надо мною, барон постарался бы доказать, что все эти клятвы в вечной любви, как следствие минутного восторга и какого-то морального опьянения, ничем нас не обязывают, но я думал совсем иначе. Отец моей невесты, прощаясь со мною, сказал, что тот, кто оболестит невинную девушку или разведет мужа с женою, никогда не будет его сыном. Эти слова врезались в мою память. Я знал, что мой опекун сдержит свое слово, что он будет неумолим, и, признаюсь, начинал чувствовать вполне всю

опасность моего положения.

Прошло дней десять, а я все еще не мог вставать с постели. Барон навещал меня каждый день, сидел со мною часов до пяти сряду и сделался под конец совершенно необходимым для меня человеком. Мало-помалу я начал свыкаться с его образом мыслей, разделять его понятия о разных предметах и перестал пугаться его философии. Хотя барон не успел сделать из меня решительно вольнодумца, но сильно поколебал все прежние мои верования, и я не чувствительно дошел до того, что иногда умничал и философствовал не хуже его, то есть порол такую дичь, что и теперь как вспомню об этом, так мне становится и совестно и стыдно.

Однажды барон приехал ко мне часу в десятом вечера.

– Ну что? – сказал он, садясь подле моей постели. – Как ты себя чувствовал?

– Я совершенно здоров, и если б только мог ступить на ногу...

– А ты все еще не можешь?

– Не могу.

– Прошу покорно!.. Ну, если это продол-

жится еще месяца два?..

– Два месяца? Что ты! Я с тоски умру.

– И, полно, не умрешь! Ты очень великодушно переносишь это несчастье, но бедная Надина!.. Начинаю за нее бояться, она так исхудала, что на себя не походит. Как эта женщина тебя любит!

– Послушай, барон! – прервал я. – Что тебе за охота говорить беспрестанно об этой любви, которую я не должен да и не могу разделить, не потому, чтоб я считал это за какое-нибудь ужасное преступление, – прибавил я, заметив насмешливую улыбку барона, – о, нет! Но ты знаешь, чего я боюсь.

– Ты боишься пустяков, мой друг. Да неужели ты в самом деле думаешь, что разведешь Днепровского с женою? Какой вздор! Надина женщина умная, она знает, чего требует от нас общество. Обманывай мужа сколько хочешь, только живи с ним вместе.

– А если наконец этот муж догадается...

– Что жена его любит другого? Да, это может случиться, если ты долго не будешь видеться с Надиною.

– Помилуй, барон! Мне кажется, что луч-

шее средство...

– Заставить влюбленную женщину надевать тысячу глупостей? Да, мой друг! Помнишь ли ты, что было в маскараде?..

– Как не помнить! Я никогда не забуду, с какой наглостью и бесстыдством этот князь Двинский...

– Ну, так подумай хорошенько! Что, если бы ты некстати погорячился да наговорил дерзостей князю...

– Так что ж?

– Как что? Беда! Публичная ссора, скверная история дуэль. Что, ты думаешь, Двинский стал бы молчать? Нет, душенька! На другой же день вся Москва заговорила бы, что ты в интриге с Днепровской: ведь ты дрался за нее с князем. Нашлись бы хорошие люди, написали бы к вам в губернию, и тогда ступай, уверяй своего опекуна, что ты ни в чем не виноват, что ты не хотел и даже не думал встретиться с Днепровской в маскараде, – поверит он тебе! Теперь скажи мне: неужели Надина, эта умная, знающая все приличия женщина, решилась бы переодеваться, бегать за тобою в маскараде и подвергать себя явной опасно-

сти, когда могла бы преспокойно видеться с тобою у себя дома?

– Да, это правда.

– Вот то-то и есть, любезный друг! Ну, не лучше ли для тебя быть в самом деле виноватым, но так, чтоб никто не знал об этом, чем без всякой вины прослыть любовником Днепровской? Поверь моей опытности, Александр Михайлович: если ты хочешь, чтоб эта страсть оставалась для всех тайною, по крайней мере, до твоей свадьбы, так не приводив отчаяние эту бедную Надину. Ты не можешь себе представить, каких дурачеств готова наделать самая умная женщина, когда вовсе потеряет голову, а это с ней непременно случится: она привыкла тебя видеть каждый день, и вот уже скоро две недели...

– Но что ж мне делать? Ты видишь, я не могу к ней ехать.

– А кто мешает тебе с нею переписываться?

– Переписываться? Что ты, барон?

– А что? Страшно? Ах ты ребенок, ребенок! Да и чего ты боишься? Разве я говорю тебе, чтоб ты писал к ней любовные письма? Пи-

ши что хочешь, только пиши: а если б тебе и случилось иногда обмолвиться ласковым словом, так что ж? Большая беда!

– Нет, воля твоя, барон, я никогда не решусь начать этой переписки.

– Право? Так ты и отвечать не будешь?

– Отвечать? На что?

– А вот прочти, так узнаешь, – сказал барон, подавая мне запечатанное письмо без надписи. Я развернул его, оно было от Падины.

– Не знаю, отчего замирало мое сердце, когда я читал это письмо: в нем не было и слова о любви. Надина говорила только о дружбе, о нетерпеливом желании скорее со мною увидеться, о своей скуке и об этих тиранских условиях света, которые мешают бедной женщине навестить больного друга, – одним словом, это письмо вовсе не походило на любовное, и я чувствовал, что не отвечать на него было бы не только невежливо, но даже глупо.

– Прикажете мне быть вашим почтальоном? – спросил барон.

– Сегодня уже поздно.

– Так я заверну к тебе завтра поутру. А что,

можно мне, как общему вашему другу и доверенной особе, взглянуть

– Пожалуй! Тут вовсе нет секретов.

– Бедняжка! – сказал барон, пробежав письмо. – Как она старается упрятать в тесную раму дружбы это чувство, которое не имеет никаких пределов. Напрасный труд: злодейка любовь так и рвется наружу! Ну, я на твоём месте не стал бы её так мучить! Да скажи ей хоть шутя, что ты её любишь, выговори первый это слово! Ведь она женщина! «Послушай, Александр: когда в тебе есть хоть искра милосердия, то ты должен непременно это сделать.

– А что будет после?

– То же, что и теперь, только ей будет легче, а тебе веселее.

– Но ведь это должно скоро кончиться: я через несколько месяцев уеду в деревню.

– Так что ж? Разве ей от этого будет легче, что ты расстанешься с нею навсегда, не сказав ей ласкового слова? Поверь, мой друг, тебе самому будет приятно вспомнить, что ты подарил несколько счастливых минут женщине, которая без памяти тебя любила. Одна-

ко ж прощай! Мне пора ехать: надобно сказать Днепровской, что я исполнил ее поручение, что ты в восторге от ее письма... Это не совсем правда, но, воля твоя, я солгу, чтоб потешить эту бедную Надину. Не мешает также ее предупредить, что она получит завтра ответ, это даже необходимо: Днепровская так тебя любит, что ее должно приготовить к этой радости.

На другой день поутру барон отвез мое первое письмо к Надине, в тот же день вечером я получил от нее другое и, разумеется, отвечал. Барон приезжал каждый день меняться со мною письмами, говорил мне беспрестанно о Днепровской, то воспламенял мое воображение описанием ее прелестей, то возбуждал во мне ревность, тревожил самолюбие – одним словом, не давал мне очнуться ни на минуту.

Не помню, в котором – кажется, в пятом или шестом классе, Надина, восставая против предрассудков и мелочных условий общества, говорила мне: «Согласитесь, Александр Михайлович, что мы сами стараемся сделать нашу жизнь, и без того вовсе незавидную,

еще тошнее и несноснее. Эти законы общества, эти приличия, которые мешают нам предаваться вполне самым невинным наслаждениям, – кто создал, кто придумал их? Мы сами. Как часто, например, я говорю *ты* – это милое дружеское *ты* – человеку, к которому совершенно равнодушна, и не смею его сказать вам: вы также... *вы!*.. *вам!*.. Боже мой!.. Чувствуешь ли ты... Чувствуете ли вы, Александр Михайлович, как обдает холодом это ледяное, бездушное *вы*, которое так и отталкивает нас друг от друга? Я еще не испытала, но я понимаю, какое блаженство слышать это *ты* из уст того... кого мы называем своим другом! Я думаю, Александр Михайлович, *вы*, который не смеете нарушать закон общества, *вы*, верно, слышали, что они позволяют стихотворцам говорить *ты* всем без исключения? Знаете ли что? Попробуйте, напишите ко мне письмо в стихах».

Ну, как было не потешить бедной Надины! Я не умел писать стихов и потому отвечал прозой, но письмо мое начиналось этим приветливым *ты*, которое так сближает двух друзей и которое нельзя сказать прекрасной

женщине без того, чтоб сердце ваше не заби-
лось быстрее обыкновенного.

– Что ты такое написал Днепровской? –
спросил меня на другой день барон. – Она
вчера была так счастлива! Я не мог нагля-
деться на нее, когда она читала твое письмо:
глаза ее блистали радостью, и в то же время
она плакала; но как завидны были эти слезы!
Счастливец! Ему стоит сказать одно привет-
ливое слово, и прелестная женщина, у ног ко-
торой лежит вся Москва, готова сама умереть
у ног его от восторга и радости!

Прошло месяца полтора, я все еще не мог
выезжать. Переписка моя с Днепровской про-
должалась по-прежнему, с тою только разли-
цей, что о дружбе не было и в помине. Не
знаю, кто первый из нас промолвился, но мы
уже говорили о любви, разумеется, о любви
чистой, возвышенной, небесной, но которая,
однако ж, приметным образом начинала ми-
риться с землею и становилась с каждым
днем вещественнее. Надина тосковала о том,
что не видит меня, не слышит моего голоса, а
мне было досадно, что я не могу прижать ее
руку к моему *чистому* сердцу и покрыть эту

милую ручку невинными поцелуями.

Однажды поутру барон не привез ко мне письма от Надины.

– Прошу на меня не гневаться! – сказал он. – Я был у Днепровской, застал ее одну, мы говорили о тебе, но когда, прощаясь с нею, я заметил, что уезжаю с пустыми руками, то она покраснела, хотела что-то сказать, однако ж ничего не сказала:

– И не отдала тебе письма?

– Нет.

– Что ж это значит?

– Право, не знаю. Может быть, так – женский каприз! Ведь я думаю, ей не за что на тебя сердиться?

– Кажется, нет.

– Уж не хочет ли она?.. А что в самом деле, от нее это станется.

– Что такое?

– Да так! Она давно уже тоскует о том, что тебя не видит.

– Как, барон! Ты думаешь?..

– Да, я думаю, что вместо письма она сама к тебе придет.

– Ко мне?..

– Ну!! Побледнел: испугался!.. Дитя!.. Счастлив ты, что я твой приятель: уж как бы я над тобой посмеялся!

– Но рассуди сам, барон, как это можно?

– Конечно, конечно! Забыть до такой степени все приличия!..

– Ну, если кто-нибудь узнает...

– Что она была у тебя в гостях?.. В самом деле, что скажут тогда о тебе?

– Эх, барон! Не обо мне речь!..

– Как не о тебе? Ну, долго ли молодому человеку замарать свою репутацию. Конечно, ты не можешь помешать Днепровской войти в твою переднюю и не уверишь никого, что она приходила в гости к Егору; но, по крайней мере, совесть твоя будет чиста. Да, да, мой друг, не принимай ее!

– Ты шутишь, барон.

– Какие шутки! Ведь дело идет о твоей репутации. Знаешь ли что? Всего лучше, прикажи запереть ворота: постучится, постучится, да пойдет прочь.

– Какой ты несносный человек! Разве я боюсь за себя? Бога ради! Ступай, уговори ее...

– Чтоб она к тебе не ездила? А если Дне-

провская скажет: «С чего, сударь, вы взяли, что я хочу сделать это дурачество? Разве я вам говорила об этом?»

– В самом деле, барон, с чего ты взял?.. Ну, может ли быть, чтоб она решилась?..

– Не ручайся, любезный! Когда женщина влюблена, то готова на все решиться. Да о чем ты хлопчешь? Уж я тебе сказал: ворота на запор, так и дело с концом.

Насмешки барона произвели обыкновенное свое действие: они заглушали во мне голос рассудка, заставили молчать совесть, и под конец нашего разговора я сам начал смеяться над этим детским малодушием, остатком моего деревенского воспитания, по милости которого самый обыкновенный поступок казался для меня ужасным.

Когда барон уехал, все опасения мои возобновились. Весь этот день я провел в непрерывной тревоге, при одной мысли о том, что я увижу Надину, сердце мое замирало... Но от чего? От удовольствия или боязни? Право, не знаю! Мне было страшно подумать, что Надина ко мне приедет, и в то же время я боялся до смерти, что она не решится на этот смелый

поступок. Вот наступил вечер, нетерпение мое возрастало с каждой минутой. Проедет ли карета, залает ли собака, скрипнет ли дверь, меня от всего бросало в лихорадку, при малейшем шорохе в передней у меня захватывало дыхание. Одним словом, если б в это время доктор пощупал мой пульс, то сказал бы наверное, что у меня горячка с пятнами. Часу в девятом вечера, когда я начинал уже думать, что барон ошибся в своих догадках, мой Егор растворил потихоньку дверь и, просунув ко мне свою заспанную рожу, шепнул:

– К вам, сударь, пришла какая-то барыня!

– Сюртук, скорей сюртук! – проговорил я, задыхаясь. – Ну, ну!.. Хорошо!.. Ступай, проси! А сам пошел вон!

– Куда-с?

– Куда хочешь! В лавочку, в кабак, к черту! Только чтоб здесь тебя не было.

– Слушаю-с! – сказал Егор с такой значительной и вместе обидной улыбкою, что я непременно вцепился бы ему в волосы, если б имел время его поколотить. – Пошел вон, дурак! – закричал я. Егор исчез. Дверь снова отворилась. Женщина, закутанная в широкий

салопа и повязанная турецким платком, который закрывал до половины ее лицо, вбежала в комнату. Она протянула ко мне руки, хотела что-то проговорить, но не могла и почти без чувств упала на стулья, которые стояли подле самых дверей. Это была Надина. Несмотря на мою больную ногу, я кое-как подошел к ней.

– Вы ли это, Надежда Васильевна? – сказал я трепещущим голосом. – О, как я вам благодарен! Вы решились посетить меня.

– Вы!.. Опять это несносное «Вы» – прошептала Днепровская.

– Надина! Друг мой! Днепровская подала мне руку.

– Ах, как бьется мое сердце! – сказала она. – Что я сделала!.. Что подумают обо мне, если узнают?..

– Не бойтесь... не бойся ничего, Надина! – прервал я, отогревая моими поцелуями ее оледеневшие руки. – Мы одни, совершенно одни, и никто в целом мире не узнает...

– Но ты, Александр, что можешь ты подумать о женщине, которая решилась на такой безумный поступок? О, мой друг, не обвиняй

меня!

– Что ты говоришь, Надина, мне обвинять тебя!

– Ах, Александр! Ты мужчина, ты не поймешь меня! Быть так близко от тебя, знать, что ты болен и не видеться с тобою, не слышать твоего голоса – нет! это было выше всех сил моих! Если б ты знал, что я вытерпела! Сколько раз в эти бесконечные ночи тоски и страданий я думала: он здесь один, он болен, и никто не позаботится о его покое! Бедный друг мой! Ах, я отдала бы полжизни, чтоб в эту минуту быть твоей сестрою, чтоб иметь право провести всю ночь без сна у твоего изголовья, усыпить тебя в моих объятиях, перекрестить с любовью, когда ты заснешь...

Вдруг послышался стук кареты; она остановилась у моего крыльца.

– Эй, кто тут? Человек! – сказал кто-то громко в передней.

– Боже мой! – шепнула Надина. – Это голос моего мужа.

Лишь только она успела спрятаться в мой кабинет и захлопнуть двери, вошел ко мне Алексей Семенович Днепровский.

– Здравствуйте, Александр Михайлович! – сказал он. – Вот холостая-то жизнь: ни одной души в прихожей! Ну, что, как ваша нога?

– Немного лучше, – отвечал я таким странным голосом, что Днепровский испугался.

– Что это? – вскричал он. – Да у вас, никак, лихорадка? Вы так бледны, голос дрожит... Не послать ли за доктором?..

– Нет, не беспокойтесь! Это ничего. Прошу покорно садиться!

Днепровский сел против меня.

– Я очень перед вами виноват, Александр Михайлович, – сказал он. – Вот уже две недели собираюсь вас проведать, да все как-то было недосужно. Сегодня моя Надежда Васильевна не велела никого принимать, я было хотел остаться с нею, да она меня протурила. Чем, дескать, ты будешь заниматься весь вечер? Тебе будет скучно. Ступай, мой друг, в Английский клуб. Нечего делать, поехал! Завернул с визитом к графу Ильменеву, от него отправился в клуб, да вдруг дорогою-то мне и пришло в голову: чего ж лучше? Заеду навестить Александра Михайловича.

– Покорнейше вас благодарю!

– Да что это, в самом деле, вы так захирели? Вот скоро третий месяц. Уж как тужит о вас моя Надежда Васильевна! Она было хотела сама вас навестить, да вышло маленькое обстоятельство...

– Что такое?

– Так! Глупости, сплетни! Ох уж эта Москва! Никого не оставит в покое.

– Вы меня пугаете!

– Оно, конечно, вздор, да неприятно. Представьте себе, оттого, что вы часто у нас бывали, что мы вас любим, что жена к вам ласкова, стали делать такие странные заключения. Разумеется, я этим презираю, я знаю мою Надежду Васильевну: это ангел и телом и душою. Может быть, она немного ветрена, неосторожна, но сохрани боже, чтоб я дозволил себе и малейшее подозрение. Вы также, Александр «Михайлович, редкий молодой человек. Если бы я не знал, это вы скоро женитесь и что вы любите вашу невесту, то и когда бы не поверил этой гнусной клевете.

– Какой клевете?

– Да вот недели две тому назад я получил безымянное письмо, в котором меня уверяют,

будто бы вы страстно влюблены в мою жену и что она вам отвечает.

– Какая бесстыдная ложь! – вскричал я, чувствуя, что вся кровь бросилась ко мне в лицо. – И вы не знаете, кто этот подлый клеветник?

– Почему мне знать? Да не сердитесь, Александр Михайлович! Клянусь вам честью, я этому не верю. Это какой-нибудь жалкий волокита, который хотел отомстить моей жене за то, что она, может быть, порядком его отделала. Ведь есть такие негодяи, право есть! Вы молодой Человек, исполненный чести, благородный, вы не только не решитесь оклеветать невинную женщину, вам не придет даже в голову, что можно быть приятелем с мужем и стараться развратить его жену, а то ли еще бывает на белом свете! а Вас, Александр Михайлович, я истинно уважаю и, верно бы, не помешал моей жене навестить вас в болезни, но вы знаете наше московское общество – стоит только одному мерзавцу пустить в ход какую-нибудь клевету, а там уж только держись: переиначут каждое слово, перетолкуют каждый поступок в другую сторону... Конеч-

но, можно бы этим пренебречь, есть пословица: «Волка бояться – в лес не ходить», да ведь есть также и другая: «С волками быть – по волчьи выть».

– Но я желал бы знать, кто этот безымянный...

– И, Александр Михайлович, на что? Не удалось укусить, так черт с ней!

– Здорово, Александр! – сказал князь Двинский, входя комнату. – А! Алексей Семенович! И вы также навестили больного.

Я принял очень холодно князя, но, казалось, он не хотел того заметить и уселся преспокойно подле Днепровского.

– Что ваша Надежда Васильевна? – спросил он. – Я давно не имел удовольствия ее видеть. Правда ли, что она все нездорова?

– Нет, слава богу! От кого вы это слышали?

– Так неправда? Скажите пожалуйста! А меня уверяли, что она так похудела, что на себя не походит.

– Какой вздор!

– Вот ты, Александр, так точно похудел, – продолжал Двинский. – Бедняжка! Третий месяц!.. Ну, наделал же ты горя!.. То-то, я думаю,

слез-то, слез!

– Помилуй, князь! – сказал я, стараясь улыбнуться. – Кому обо мне плакать? Невеста моя не знает, что я болен.

– Какая невеста! – прервал князь. – Эта речь впереди. Я говорю тебе о здешних красавицах.

– Охота тебе говорить вздор.

– Да, да, конечно! Ну, что ты прикидываешься таким смиренником?.. Не верьте ему, Алексей Семенович! Он настоящая женская чума: та исхудала, другая зачахла, та с ума сошла, эта на стену лезет! Такой ловелас, что не приведи господи!

– Послушай, Двинский! – прервал я с досадою. – Мне становится скучно слышать...

– Правду! – подхватил князь. – Кто до нее охотник, мой друг? Вот если б я сказал, что ты воплощенная добродетель...

– Да полно, князь!..

– Извольте видеть, Алексей Семенович, мы, грешные люди, живем попросту, нараспашку. Вот я, например, не скрываю: отъявленный повеса, подчас сам на себя набалтываю, а этот, святой муж, все исподтишка!.. Ну,

брат Александр, счастлив ты, что наши барыни боятся пересудов. Что, если б они были по-смелее? Ведь проезда бы не было на твоей улице! Впрочем, – прибавил князь, смотря пристально на кресла, которые стояли у дверей, – почему знать, может быть, втихомолку и теперь навещают нашего больного; я даже готов биться об заклад... Э!.. Александр Михайлович! Что это у тебя здесь на креслах?.. Постой-ка... Ого! Давно ли ты завелся такими щеголеватыми платочками?.. Батистовый... с розовыми каемочками... Ну!!!

Я обмер. Днепровская второпях забыла этот платок на креслах.

– Что, господин больной, попались! – закричал с громким смехом Алексей Семенович.

– Что это такое? – сказал Двинский, рассматривая платок. – Мне кажется, я знаю эту каемочку... Да! Точно так! Алагрек... розетки по углам... Где, бишь, я ее видел?

Я взглянул украдкой на Днепровского, он уж не смеялся.

– Никак не могу вспомнить! – продолжал князь. – А! Да вот, кажется, заметка!.. Это

должны быть начальные буквы...

– Позвольте! – вскричал торопливо Днепровский. – Позвольте!.. Кажется, это мой платок...

– Пойдите, пойдите!.. Да!.. Точно! Вторая буква та самая, которой начинается ваша фамилия, да первая-то... Нет, Алексей Семенович, платок не ваш.

– Так чей же? – прервал запальчиво Днепровский.

– Про то знает хозяин.

– Право, не знаю, – сказал я, – у меня был барон, так, может быть...

– Барон или баронесса, – подхватил князь, – какое нам до этого дело. Ах, Алексей Семенович! Не в пору мы с вами приехали.

Вдруг двери распахнулись, и барон Брокен вошел в комнату.

– Я опять к тебе, – сказал он, кланяясь Днепровскому и князю. – Здравствуйте, господа! Послушай, Александр, не оставил ли я у тебя белый батистовый платок с розовыми каемочками?

– Вот он! – сказал князь. – Это ваш платок?

– Нет. Это платок Надежды Васильевны.

– Жены моей? – вскричал Днепровский.

– Да! Я обещал ей сегодня поутру приискать две дюжины точно таких же платков и взял один на образец. Когда я был у тебя, Александр, так, видно, как-нибудь вытащил его из кармана вместе с моим. Представь себе: захожу в магазин, хватился – нет! На беду, я заезжал сегодня домов в десять – как отгадать, где оставил! Такая досада! А делать нечего, пришлось опять у всех побывать. Уж я ездил, ездил...

– Ну что? – спросил Днепровский, у которого лицо снова просияло. – Есть ли такие платки в здешних магазинах?

– Точно таких, кажется, нет.

– И я то же думаю, – продолжал Алексей Семенович, постукивая с важностью двумя пальцами по своей золотой табакерке. – Я купил эти платки в Париже, да нелегко было и там их достать: насилу захватил одну дюжину.

Я вздохнул свободно. Князь Двинский молчал и посматривал недоверчиво то на меня, то на барона, который продолжал разговаривать с Днепровским, потом подошел ко мне и

сказал вполголоса:

– Ну, Александр Михайлович, поздравляю тебя: ты нажил себе препроворного и преуслужливого друга! Ах, черт возьми! Да эта развязка годится в любую комедию!

– Послушай, князь! – сказал я, пожав крепко его руку

– Тише, тише! – прервал Двинский. – У меня болит палец. Да не горячись, мой друг: кто прав, тот никогда не сердится. Куда вы отсюда? – продолжал он, обращаясь к Днепровскому.

– В Английский клуб.

– А я собирался к вам.

– Неужели?.. Ах, как жаль!

– Но, может быть, я застаю Надежду Васильевну?

– Она дома, только не очень здорова и никого сегодня не принимает.

– Право? Так знаете ли что? Я сейчас из клуба: там всего человек десять – скука смертная! И если вы хотите непременно сделать партию, так поедemте к вам. Вы зайдете взглянуть на вашу больную, а я вас подожду в кабинете, велю приготовить стол, карты, да

так-то наиграемся в пикет, что вы и завтра в клуб не поедете.

– А что вы думаете?.. Мне и самому хотелось быть сегодня дома: жена больна...

– Вот то-то и есть! Может быть, ей сделалось хуже. Вам должно непременно ее проведать. Поедемте! Прощай, Александр! – прибавил князь с насмешливой улыбкой. – Ты останешься не один, тебе будет весело.

У меня кровь застыла в жилах. Бедная Надина! Боже мой! Муж не найдет ее дома, все подозрения его возобновятся! Проклятый Двинский!

– Прощайте, Александр Михайлович! – сказал Днепровский. – Что прикажете сказать моей Надежде Васильевне? Я думаю, можно ее порадовать: вам, кажется, лучше.

Днепровский и князь вышли, барон заговорил со мною не помню о чем, но когда снег закрипел под полозьям тяжелого возка и вслед за ним съехали со двора парные сани князя Двинского, барон подбежал к дверям моего кабинета, растворил их и сказал торопливо:

– Скорей, Надежда Васильевна, скорей!.. Не

надобно мешкать ни минуты!

Едва живая, бледная, как мертвец, Надина вышла из кабинета.

– Я догадываюсь, – продолжал барон, – вы пришли сюда пешком, Надежда Васильевна. Ступайте в моих санях, и я вам ручаюсь, что вы будете в вашей спальне, разденетесь и успеете лечь в постель прежде, чем Алексей Семенович приедет домой.

– Ах, барон! – прошептала Надина. – Вы избавитель мой!..

– После, после!..

Через несколько секунд сани барона Брокена промчались по улице, и он вошел опять ко мне в комнату.

– Ну, счастливо мы отделались! – сказал барон, садясь на мою постель.

– Ах, как я тебе благодарен, мой друг! – вскричал я. – Если б не ты...

– Да, я приехал в пору.

– Но скажи, как ты мог так скоро найтись?..

– А вот как. Я заехал к тебе из любопытства: мне хотелось узнать, ошибся ли я в моих догадках или нет. Вдруг вижу, у тебя на дворе

экипаж Днепровского и князя. «Вот беда! – подумал я. – Ну, если Надежда Васильевна у него?» Я вошел потихоньку в твою гостиную, подслушал ваш разговор и, кажется, явился очень кстати, чтоб выручить тебя из беды. Ну, Александр, надобно сказать правду, ты вовсе не умеешь владеть собою: на тебе и до сих пор лица нет. А какое лицо было у бедного Алексея Семеновича, когда я вошел в комнату! И теперь не могу вспомнить без смеха!.. Волосы дыбом, глаза выкатились вон, вся рожка на сторону!.. Ах, батюшка! Вот уж никак не ожидал! Я думал, что он самый добрый и смирный муж. Прошу покорно! Да, этот Днепровский настоящий Отелло!.. Ну, Александр, надобно быть осторожным. Умный человек не так опасен: он шуметь не станет, но ревнивый дурак – беда! С ним никак не уладишь, пойдет кричать на всех перекрестках, что его Жена изменница, что у нее есть любовник, над ним станут смеяться, это правда, да будет ли забавно Надежде Васильевне и весело тебе?.. А все этот Двинский!.. Что он помучил вас в маскараде, это еще извинительно, но ссорить жену с мужем, стараться ему открыть

глаза – фи, какая гадость! Это низко, подло!.. Послушай, Александр, надобно порядком проучить этого князя.

– Проучить! Да, как? Не сам ли ты, барон, говорил мне, что если я буду иметь какую-нибудь историю с князем, то вся Москва закричит...

– Да, правда! Тебе нельзя, а должно непременно зажать рот этому негодяю. Знаешь ли что? Если хочешь, я возьму на себя этот труд.

– Ты?

– Да! Я заставлю его молчать.

– Смотри, барон, не ошибись: Двинский не трус.

– Так что ж? Можно заставить и храброго человека быть скромным: мертвые молчат, мой друг.

– Что ты говоришь, барон, – вскричал я с ужасом.

– Что, опять испугался? Да не бойся, Александр, я не убью его из-за угла камнем, не зарежу на улице, не задушю сонного! Зачем? Когда можно достигнуть той же самой цели, не нарушая условий общества. Я застрелю его при свидетелях, с соблюдением всех форм,

всех приличий, без которых, разумеется, благовоспитанному человеку нельзя никак убить своего противника.

– Ты хочешь его вызвать на дуэль?

– Да.

– Но к чему ты придерешься?

– К чему? Вот о чем хлопочет! Трудно найти причину для дуэли! Не так взглянул, вот и все тут!

– Да почему ты думаешь, что не он тебя убьет?

– Меня, – повторил с улыбкою барон. – Не беспокойся, я совершенно уверен в противном. Скажи только мне, что *ты* этого хочешь, а там уж мое дело.

– Но князь тебя ничем не обидел, за что ж ты сделаешься его убийцею?

– Не я, мой друг! Я просто орудие, которым ты можешь располагать по своей воле. Прикажи – и завтра же князь уймется вратъ, да и пора: поврал довольно.

– Нет, барон, во всяком случае, убить человека ужасно, но употребить для этого своего приятеля, а не самому стать против него грудью, убить его хладнокровно, не подвергая се-

бя никакой опасности, – нет, нет! Это дело разбойника, а я никак не решусь на такой гнусный поступок.

– То есть, – прервал барон, – если б ты, так же как я, в тридцати шагах попадал без промаха в туза и должен был бы стрелять первый, то не стал бы драться на пистолетах?

– Нет!

– О, великодушный юноша! Жаль! Опоздал ты родиться. В старину тебя поставили бы рядышком с Баярдом, а теперь, не прогневайся, любезный друг, мы все народ грамотный, все знаем «Дон Кихота»... Впрочем, это твое дело, хочешь, чтоб я избавил тебя от этого князя – изволь! Не хочешь – воля твоя! Только смотри, он наделает вам хлопот. Чу!.. Вот, кажется, воротились мои сани... да, точно! Теперь отправлюсь к Днепровским. Я уверен, что Алексей Семенович нашел свою Надежду Васильевну в постели, однако ж все-таки лучше взгляну сам. Прощай.

IV. ФИЛОСОФИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР В ХАРЧЕВНЕ

Недели через две после описанного в предыдущей главе приключения, я совсем выздоровел и начал по-прежнему ездить к Днепровским. Алексей Семенович принимал меня довольно ласково, но я не заметил уже в его обхождении со мною этого радушия и простоты, которые составляли отличительную черту его характера. Несмотря на собственные слова Днепровского, мне нетрудно было догадаться, что безымянное письмо произвело сильное впечатление на его душу. Нельзя было сказать решительно, что он ревнует меня к своей жене, – постороннему человеку это не пришло бы и в голову, но я сам не мог в этом сомневаться. Если я заставал его одного с Надиною, то он ни за что уже не выходил из комнаты, по крайней мере, до тех пор, пока мы оставались втроем. Днепровский перестал ездить в Английский клуб, обедал каждый день дома и выезжал только тогда, когда у жены были гости или она сама делала визиты, – одним словом, я мог видеться с

Надиною очень часто, но только почти всегда при людях. Разумеется, переписка продолжалась, барон по-прежнему был нашим поверенным. Хотя он пользовался всей моей доверенностью, однако ж я не был в полном смысле его Сеидом, но Днепровская – о, барон совершенно завладел ее рассудком! Она видела его глазами, мыслила его головою, и, конечно, не было сумасшедшего поступка, на который бы не решилась, если б барон сказал, что она должна это сделать.

Так прошла вся зима. Несмотря на мою любовь к Машеньке, я не мог без горя подумать, что должно месяца через два уехать из Москвы и расстаться навсегда с Надиною. Когда я представлял себе ее отчаяние, то сердце мое обливалось кровью. «Бедная Надина! – думал я иногда. – Нет, она не перенесет вечной разлуки со мной! Ах, почему я не могу отдалить еще на несколько месяцев эту ужасную минуту!.. Но чего ты хочешь, безумный? Если б Надина была свободна, решился ли бы ты покинуть для нее свою невесту?.. О, конечно, нет!.. Так зачем же откладывать то, что необходимо?.. Зачем? Но я буду навсегда принадле-

жать Машеньке, мы будем неразлучны до самой смерти, а что остается Надине?.. Одно грустное воспоминание, несколько, может быть, счастливых минут в прошедшем и целый век горя в будущем. Жить без надежды, без ожиданий, жить для того только, чтоб чувствовать свои страдания, – да разве это жизнь?.. Бедная, бедная Надина! Ты желаешь еще более моего отдалить неизбежный час нашей разлуки, но кто может тебя обвинить в этом? Неужели путешественник, перед которым раскрывается беспредельная пустыня, не должен сметь отдохнуть несколько минут на берегу прохладного источника и утолить свою жажду, потому что за этим источником ждет его неминуемая смерть?»

Вы видите, любезные читатели, что я, по милости барона, стал в короткое время весьма порядочным софистом. В самом деле, ну как не выпить водицы тому, кого томит жажда? Конечно, лучше бы было этому страннику вовсе не ходить туда, где ожидает его верная гибель или, по крайней мере, не терять попустому время и, пока еще возможно, вернуться скорей домой, но тогда бы он поступил благо-

разумно, а софисты этого терпеть не могут, да и как им любить здравый смысл и благоразумие? Какая от них прибыль? Ну что за радость, например, доказывать, что солнце греет? Кто этого не знает? Нет, попытайтесь, докажите, что от него холодно, – это будет совершенный вздор, не спору, да зато уж есть где уму-разуму расходиться, ни с кем не столкнешься, никого не встретишь, будешь один в своем роде и непременно украсишь чело свое или лавровым венком гения, или, может быть, дурацким колпаком, но, по крайней мере, ни в каком случае не станешь на ряду люде» обыкновенных. О, как постигли эту истину наши современные французские писатели! Посмотрите, как скучна, как бесцветна добродетель и как обольстителен и любезен порок в их сочинениях? Прочтите их модные романы, трагедии Виктора Гюго, драмы Александра Дюма, быть может, вам сделается гадко, но уже, конечно, вы не скажете: фу, как это пошло! Правда, с некоторого времени и эти гениальные мерзости начинают казаться пошлыми, но что ж делать: такова участь всего земного.

*...Все в мире суета,
А более всего стремление к сла-
ве...*

И это также очень пошло, однако ж правда. Если в числе приятелей ваших есть какой-нибудь знаменитый дипломат, великий полководец, гениальный поэт или ученый муж в роде барона Гумбольдта[161], то потрудитесь спросить его об этом за несколько часов до его смерти.

После всего, сказанного мною, читатели, вероятно, не удивятся, когда узнают, что я прочел без большого горя письмо от моего опекуна, в котором он предлагал мне прожить еще год в Москве. «Я не сомневаюсь, мой друг, – говорил он, – что ты любишь по-прежнему свою невесту, но вы оба так молоды, время не ушло, к тому же мне что-то кажется, что московское житье не очень тебе надоело, поживи еще годик в белокаменной, повеселись, мой друг, и приезжай к нам тогда, когда ты уверишься на самом деле, что мирный деревенский уют и тихая семейная жизнь во сто раз предпочтительнее всех шумных и блестящих забав света. Расставаясь с

нами, ты плакал, а теперь я хочу, чтоб, выехав за городскую заставу, ты ни разу не вздохнул о Москве». Разумеется, я отвечал на это письмо, что не принимаю предложения моего опекуна, я жду с нетерпением минуты, когда мне можно будет отправиться в деревню, но что, может быть, *дела по службе* задержат меня долее, чем я желаю.

Вот наступил май месяц. Вся Москва экипажная, конная и пешая побывала в Сокольниках. Стали разъезжаться по деревням, подмосковные оживились, помещики отдаленных губерний давно уже отправились по домам в своих укладистых дормезах и рогожных кибитках, нагруженных немецкими мадамами, французскими мусье и разноцветными картонами с Кузнецкого моста. Число карет на городских гуляньях уменьшилось приметным образом. Петровский театр опустел, и суетливая Москва затихла, присмирела, как богач, который промотался на праздниках и переехал жить с Тверской к Илье Пророку, или за Крымский брод к Серпуховским воротам. Днепровские уехали в подмосковную. В первый раз Алексей Семенович не послушал-

ся своей жены, которая хотела остаться в городе, и когда она сказала, что здоровье не позволяет ей жить так далеко от Москвы, то он объявил ей, что их врач, Густав Федорович фон Гиль, согласился за три тысячи рублей прожить с ними все лето в подмосковной. Графиня Дулина взяла сторону мужа, и Надина должна была наконец отправиться в деревню. Я так привык почти каждый день видеться с Днепровской, что первое время нашей разлуки показалось мне бесконечным. На пятый день – это было в субботу – барон отдал мне от нес письмо, в котором она просила меня приехать на другой день в их подмосковную.

– Мне очень жаль, – сказал барон, – что я не могу ехать вместе с тобою, у меня завтра обедает человек десять приятелей, а тебе я не советую ездить одному. Ты знаешь Алексея Семеновича: он, как хозяин, сочтет обязанностью занимать своего гостя, то есть уморит тебя на ногах. Сначала примется показывать свои оранжереи, конюшни, хлевы, пильную мельницу, образцовую ферму, потом или запряжет в бильярд, или засадит в пикет, или

начнет рассказывать про свои путешествия, только уж ты от него никак не отвяжешься, он вопьется в тебя, прирастет к тебе, и бедной Надине не удастся сказать с тобою двух слов. Поезжай с кем-нибудь из твоих знакомых, так авось не все эти бедствия обрушатся на твою голову и тебе можно будет хоть на минутку перевести дух.

В этот же самый день я повстречался на Тверском бульваре с приятелем моим, Закамским, предложил ему ехать вместе со мною в подмосковную к Алексею Семеновичу. Он охотно согласился, и мы, чтоб сделать эту поездку еще приятнее, условились ехать из дома верхами вплоть до самой деревни Днепровского.

На другой день, после обедни, я приехал к Закамскому, мы позавтракали, сели на коней и ровно в двенадцать часов отправились в путь. День был теплый, но по временам легкие облака застилали весеннее солнышко, оно, как прихотливая красавица, то пряталось за них, то появлялось снова, чтоб через минуту опять исчезнуть. По улицам раздавались песни, фабричные, мещане и мужики, с

праздничными, то есть пьяными, рожам, толпились у питейных домов. Поминутно мелькали экипажи, то московские щеголихи и красавицы мчались в венских колясках по улице, то медленно тащился цугом какой-нибудь огромный рыдван, в котором почтенный бригадир с своей бригадиршею, с детьми и внучатами ехал в Останкино или Кусково подышать чистым воздухом. Как восковые фигурки на вербах, разрумяненные и набеленные купчихи, вместе со своими бородатыми супругами, неслись мимо нас на рысистых конях, красивые тележки и широкие рессорные дрожки стонали под тягостью этих полновесных пар. Кое-где встречались с нами молодые франты на английских клеперах[162], лихие наездники на беговых дрожках и вовсе не удалые кавалеристы на водовозных клячах с отрубленными хвостами. Все торопились ехать за город: охотники до прекрасных видов пробирались к Симонову монастырю, в Коломенское, на Воробьевы горы, а те, для которых самый лучший вид не стоит рюмки шампанского, спешили в Тюфели[163] и в знаменитые Марьины рощи, где с утра до вечера

разгульный народ пьет, веселится и слушает цыганские песни.

Мы ехали шагом.

– Кажется, день будет хорош, – сказал я, – впереди все небо очистилось.

– Да, впереди чисто, – отвечал Закамский, – а взгляни-ка назад!

– И, мой друг, ничего! Эти облачка пройдут стороною.

– Ты это зовешь облачками? Посмотри, какой там проливной дождь!

– Мы от него уедем.

– Да! Если воротимся домой.

– Да что за беда! Ну, помочит дождем, так что ж? Большая важность!

– По мне, как хочешь, только если он захватит в поле, так нитки сухой на нас не оставит.

У самой заставы дождь стал накрапывать. Мы не доехали еще до конца слободы, как он загудел и хлынул как из ведра.

– Пожалуйте сюда, господа! Сюда, под навес! – закричал видный детина в красной рубашке и белом фартуке.

Этот парень стоял у ворот невысокого, но

довольно длинного дома с выбитыми стеклами, запачканными стенами и низкой дверью, над которой прибита была вывеска с изображением зажаренного поросенка и надписью: «Не прогневайтесь!» – тогда еще не знали модного французского слова, не писали на вывесках: *расторация* или *растирация*, а просто: харчевня. Мы отдали подержать наших лошадей молодому парню в красной рубашке и вошли в дом. Лишь только мы переступили через порог, нас обдало густым спиртным воздухом, напитанным испарениями хлебного вина и крестьянской хмельной браги. В одном углу обширной комнаты, за прилавком или стойкою, сидел краснощекий хозяин харчевни, кругом его на полочках расставлены были чайные чашки, штофы, рюмки и стаканы, на прилавке лежали калачи, каравай паюсной икры, два окорока ветчины, счеты и несколько рублей медными грошами. У самых дверей два старика, один в изорванной шинелишке, другой в долгополом сюртуке, играли в шашки, подле них стоял в замасленной ливрее, с невыбритой бородою и повязанный, вместо галстука, какой-то черной ветош-

кою полупьяный лакей. В другом углу за большим столом гуляло человек десять мужиков. Перед ними, в огромной яндове[164], стояла хмельная брага, которую хозяин, вероятно, величал полпивом. За отдельным столом, уставленным бутылками с пивом и полштофами ерофеича[165], сидело четверо гуляк, которые, казалось, только что ушли из острога. Один из них в плисовом полукафтানে, растрепанный, с подбитым глазом и выщипанной бородою, двое с усами, в оборванных венгерках, а четвертый какое-то двуногое животное, с красным носом и отвратительной рожею, что-то похожее на отставного подьячего или выкинутого из службы квартального офицера. Они забавлялись, слушая горбатого старика, который, потряхивая своей взъерошенной бородою, свистал соловьем, кривлялся и корчил преудивительные хари.

Наш приход не произвел никакого впечатления на пирующих, один только лакей, увидев входящих господ, поправил галстук и застегнул на две остальные пуговицы свою лифрею. Работник в белом, довольно чистом, фартуке предложил нам занять порожний

стол, который стоял поодаль от других. Мы уселись.

– Ну! – сказал Закамский. – Нравится ли тебе эта фламандская картина?

– Нет, любезный друг! Она вовсе не привлекательна. Что за рожи.

– Да ты смотришь на этих мерзавцев в изорванных венгерках и сюртуках: это записные пьяницы, бездомные мещане, отъявленные негодяи, которые по шести месяцев в году гостят на съезжих, это тот самый презрительный класс людей, которых и в Германии, и во Франции, и везде называют подлой чернью и которая водится только по большим городам. Нет, мой друг! Ты погляди на этих мужичков, вот что сидят за большим столом. Признаюсь, я очень люблю смотреть на этот добрый работающий народ, когда в воскресный день он поразгуляется, распотешится и за ковшом браги забудет свою бедность и тяжкий труд целой недели. Какие добрые, веселые лица! Видишь этого пьяного старика, вот что стоит посреди комнаты, – посмотри! – он, вероятно, размышляет и не может понять, куда девалась дверь, в которую он вошел.

Закамский не успел договорить, как этот пьяный мужик подошел к нашему столу и упал перед нами на колени.

– Что ты, братец? – спросил я.

– Виноват, батюшка! – завопил мужик. – Я пьян!

– Вижу, любезный!

– Прости, бога ради! Хмелен – больно хмелен!

– Вот то-то же, старичок! – сказал важным голосом Закамский. – Не годится пить через край. Ну, что хорошего? Приедешь домой, стыдно перед детьми будет.

– Стыдно, батюшка! – повторил старик, заливаясь слезами. – Видит бог, стыдно!.. Виноват!

– Добро, бог тебя простит, ступай, ступай!

Мужик встал, утер рукавом глаза и, расправляя усы, сказал Закамскому:

– Ну, поцелуемся!

– Не надобно, любезный, не надобно! – закричал мой приятель, отодвигая свой стул.

– Хочешь – поднесу!

– Не хочу, братец, не хочу!

– Ой ли? Так поднеси ты... Поцелуемся!

– Эй, дядя Филипп! – закричали мужики. – Полно! Не балуй!.. Что ты там озорничаешь?.. Не тронь господ!

– Дядя Филипп! – сказал видный детина, подойдя к старику. – Подь-ка сюда, подь!

– Пошел прочь!

– Да ты послушай!

– Эй, Ванька, отцепись!

– Пора домой, дядя, а не то ведь тетка Матрена забранит.

– Ой ли?

– Уж я те говорю! Вишь ты как грузен!.. Выпьем еще бражки, да и с богом.

– Еще?.. Пойдем, Ванюха, пойдем!

Они подошли к большому столу.

– Ну, брат Иван, – сказал один из мужиков, поглаживая свою бороду, – вот полпиво так полпиво! Не браге чета! На-ка, Ваня, посмакуй! – прибавил он, подавая молодому детине жестяной стакан.

Иван хлебнул, зажмурил глаза, облизнулся, потом осушил разом весь стакан, крякнул и, проведя рукой от шеи до пояса, промолвил:

– Спасибо, Кондратьич!.. Ай да пиво!.. Неча сказать, не пожалели хмельку!.. Вот так мас-

лом по сердцу!.. Ну, парень, знатно! Лучше сыченой браги!

– Слышишь, Закамский, – сказал я, – как они расхваливают свое пиво? Неужели оно в самом деле не дурно?

– А вот попробуем, – отвечал Закамский. – Эй, молодец! Бутылку полпива! Вот того самого, что пьют мужички.

Нам подали бутылку. Я налил себе стакан, хлебнул и чуть-чуть не подавился.

– Фуй, какая гадость! – сказал я. – И это пьют люди!

– Да еще похваляют, мой друг. Бедные! Вот следствие ужасного неравенства сословий: мы тешим свой прихотливый вкус шампанским, а этот добрый, рабочий народ должен пить такую мерзость!

– Но разве ты не видишь, Александр, что эту мерзость крестьянин пьет с истинным наслаждением?

– Что ж это доказывает? Что бедность убивает не только моральные, но даже и физические способности: притупляет вкус и превращает человека почти в животное.

– Право? Ну, Александр! Видно, барон на-

шел в тебе понятного ученика. Прошу покорно, каким ты стал философом.

– Кажется, не нужно много философий, чтоб убедиться в этой истине. Неужели ты в самом деле думаешь, что крестьянин лишен от природы способности различать дурное от хорошего? Попробуй дать ему шампанского.

– А если оно вовсе ему не понравится?

– Заставь его выпить в другой, в третий раз, и не беспокойся: он его полюбит.

– Тем хуже, мой друг! У него будет одним наслаждением менее и одним горем более.

– Как так?

– Разумеется, брага ему опротивит, а шампанского купить будет не на что. Правда, он может сделаться плутом, мошенником, вором и пить если не шампанское, так донское вволю – по крайней мере, до тех пор, пока не попадет в острог. Как ты думаешь, Александр, не лучше ли, чтоб ему нравилась дешевая гривенная брага, чем дорогое заморское вино? Да и к чему? Ведь дело-то в наслаждении, а не в цене, за которую он покупает это наслаждение.

– Но я уверен, что он тогда бы наслаждался

еще более.

– Едва ли, мой друг! Впрочем, во всяком случае лучше, чтоб он не желал того, что для него невозможно.

– Да как ты хочешь, чтоб он не желал этого?

– Как? А вот послушай. Вольтер в одной из своих трагедий, вовсе не думая, сказал великую политическую истину и разрешил этот вопрос. Помнишь ли, что отвечает Заира наперстнице своей Фатиме[166], которая удивляется, что ее госпожа, заключенная в четырех стенах сераля, не вздыхает о свободе и наслаждениях образованных народов?

– Как не помнить! *On ne peut d'isirer se qu'on ne connait pas.*

– То есть: нельзя желать того, чего мы не знаем.

– Я понимаю, что ты хочешь сказать. Конечно, тому, кому суждено остаться вечно слепым, лучше не знать, что есть на небе солнце, но зачем же он должен быть слепым, зачем это неравенство состояний?

– Затем, что это равенство состояний точно так же невозможно, как и всякое другое.

Возьми трех человек: одного с большим умом и деятельностью, другого с обыкновенным рассудком и охотою трудиться и, наконец, третьего без того и другого, одели их поровну, и ты увидишь, что через несколько лет первый разбогатеет, второй будет жить без нужды, а третий сделается нищим и, чтобы не умереть с голоду, пойдет в нахлебники к богачу или в работники к тому, который пользуется умеренным состоянием. Ты скажешь, может быть, что много есть богатых глупцов и лентяев в то время, как есть умные и деятельные люди, которые терпят во всем недостаток, но это уже следствие не первобытной причины, а наследственного права и права собственности, а ты, вероятно, согласишься со мною, что эти права, на которых основано благосостояние всякого общества, принадлежат к самым необходимым и священным правам человека.

– Конечно, – сказал я, досадуя на логику моего приятеля, – с первого взгляда ты как будто говоришь дело, но я все-таки не могу быть одного с тобою мнения, потому что тогда надобно будет мне согласиться на другое

предложение, которое совершенно противно моему образу мыслей. Если бедный не должен желать того, чего иметь не может, то, следовательно, его не должно и просвещать, потому что просвещение, умножая его потребности и желания, которых он удовлетворить не может, сделает его еще несчастнее, чем он был прежде.

– Разумеется.

– Вот уж в этом-то, Закамский, никто с тобою не согласится.

– Я это знаю. Величайший из софистов восемнадцатого столетия, Жан-Жак Руссо, намекнул однажды, что земное просвещение делает человека несчастнее, и эту неоспоримую истину, одну, которую он сказал в простоте души своей, одну, для которой ему не нужно было прибегать к красноречивым софизмам, называют все заблуждением великого таланта и решительным парадоксом.

– Так ты думаешь, Закамский...

– Да, я думаю, и даже уверен, что это богатство моральное, которое мы называем просвещением, точно так же, как и богатство вещественное, не может быть в равной степени

уделом всех людей.

– Что это, Закамский! – вскричал я. – Да неужели ты в самом деле ненавидишь просвещение?

– Нет, мой друг! Истинное просвещение дар божий: оно прекрасно! Но если ты говоришь о просвещении, основанном на одной мудрости земной, то это совсем другое дело: это просвещение как огонь, а с огнем надобно обращаться умеючи, он греет нас по зимам, освещает ночью, да зато от него подчас гибнут целые города. Холодно жить в доме без огня, не спорю, а еще будет холоднее, если дом то сгорит и придется жить на улице.

– Так, по-твоему, его лучше не топить?

– Как не топить, да только осторожно, а лучше всего надобно выбирать хороших истопников. Впрочем, что об этом говорить? Слова не помогут. Все, мой друг, идет к определенной цели. Беззаботное дитя счастливее взрослого человека, но разве ты можешь сказать ребенку: оставайся вечно ребенком! Нет, мой друг! Он сделается юношей, узнает страсти, познакомится с горем, опыт разочарует все его мечты, он утратит свою веселость, и хотя

поздно, но отгадает наконец, что счастье не для нас, а там начнет стареть, дряхлеть и умрет, как все умирает на этом свете.

– Неужели ты хочешь мне доказать, что просвещение есть только необходимое зло?

– Просвещение! Да прежде надобно еще знать, что мы называем просвещением? Если, например, у тебя есть приятель, человек образованный, ученый, душою привязанный к наукам, исполненный любви к изящным искусствам, то, вероятно, ты назовешь его человеком просвещенным?

– Разумеется.

– Ну, поди же, спроси у своего барона и у этой толпы глупцов, которые удивляются его премудрости, и ты увидишь, что этого недостаточно. Если твой приятель не сходит с ума от каждой новой идеи, если он не преклоняет безусловно колен перед теми, которые, разрушая все, не могут создать ничего, если он без разбора не топчет в грязь все то, что им угодно называть предрассудком, и если, сверх того, он верует по убеждению своего сердца и не требует математических доказательств тому, что можно постигнуть одной только ду-

шою, то они решительно назовут его невеждою или, по крайней мере, отсталым и закоснелым старовером, и самый безграмотный из этой толпы двуногих животных умрет со смеха, когда ты станешь доказывать, что твой приятель человек просвещенный. Не умеешь подписать своего имени, но только разделяй их образ мыслей, нападай на то, на что они нападают, кричи вместе с ними, и они скажут, что ты *идешь за веком* и даже опередил его. Впрочем, и я уверен, Александр, что просвещение не одно – их два, мой друг.

– Вот уж этого я решительно не понимаю! Мне кажется, просвещение, как противоположность невежества, должно быть везде одно и то же.

– Полно, так ли, Александр! И божье солнце освещает землю, и кровавое зарево пожара прогоняет тьму, но разве между ними есть какое-нибудь сходство? Одно разливает жизнь, другое влечет за собою гибель и смерть, одно точно дар божий, а другое... Да, Александр, просвещение, основанное на религии, есть величайший дар творца, но просвещение без всякой веры – о, мой друг! об этом страшно и

подумать!.. Кто верует, для того оно не опасно, богатый – он не употребив во зло своего богатства, бедный – он будет сносить с терпением свою нищету, кто верует, тот видит во всем промысл всевышнего и смиренно покоряется его воле, но если он вкусил от земного просвещения – от этого древа познания добра и зла – и если в то же время все его желания, все надежды, его рай и ад – если все заключено для него в тесные пределы здешней жизни, если он ничего не ожидает в будущем, то что удержит его в минуту искушения? Вспомни только, что было недавно в просвещенном Париже, когда он восстал против небес и отрекся от своего господа?

– Правда, мой друг! – прервал я. – Правда! Безверие принесло ужасные плоды во Франции, но если я напомню тебе, что делалось в старину, когда о философии восемнадцатого столетия и речи не было, если я намекну тебе об испанской инквизиции, о ночи святого Варфоломея, о покорении Америки...

– Эх, Александр Михайлович! – прервал Закамский. – Не хорошо – ты споришь недобросовестно! Да разве тот христианин, кто, назы-

вая себя христианином, поступает хуже всякого язычника? Разве тот христианин, кто проповедует слово божие с мечом в руках? Разве тот христианин, кто, под предлогом веры, старается удовлетворить своему корыстолюбию, насытить свою месть, ожесточить сердца своих заблудших братьев и, как голодный тигр, упиться их кровью? Нет, мой друг, не перенимай у своего барона – не хитри! Ты понимаешь, что я говорю не об этих христианах.

Закамский как будто бы прочел в душе моей, но самолюбие помешало мне в этом сознаться.

– Я вовсе не хитрю, – сказал я, – но мы, кажется, совершенно отбились от нашей матери. Я говорил только, что очень грустно смотреть на этот неравный жребий людей! Ну, скажи сам, не прискорбно ли видеть, что один не знает куда деваться с своим богатством, а у другого нет куска хлеба, один создан для всех земных наслаждений, а другой как будто бы обречен со дня своего рождения на всегдашнюю бедность и нищету. Боже мой, боже мой! Да неужели нет никакого

средства уменьшить это ужасное неравенство состояний?

– Нет, мой друг, если мы станем прибегать к одним средствам человеческим. Послушай, Александр, вчера я был у Якова Сергеевича Луцкого, который, мимоходом сказал, очень жалеет, что давно с тобою не виделся. У нас зашла речь о французской революции. Надобно было видеть, с каким душевным сокрушением он говорил об этом ужасном событии, превратившем целое государство в одно обширное лобное место, на котором, для потехи беснующейся толпы, лилась беспрерывно кровь человеческая. «И вот следствие, – говорил Луцкий, – этих философических теорий, этой красноречивой болтовни новейших софистов, которые так явно подтвердили своим примером, что мудрость человеческая есть безумие перед господом». «Бумага все терпит» – есть русская пословица. Пишите что хотите, и будьте уверены, что нет такой безумной мысли, такой нелепой выдумки, которая не нашла бы покровителей и защитников, умеете только льстить страстям легковерной толпы, и она тотчас поверит, что вы

действуете в ее пользу. Вот, например, кто более французских писателей XVIII столетия толковал о том, чтоб улучшить положение человека, и что было последствием их непрерывных выходов против духовной и гражданской власти, неравенства состояний и наследственных прав? Всеобщее волнение умов, безверие, междоусобная война и смесь буйного безначалия с кровавым деспотизмом диктаторов, из которых каждый годился бы в наставники Нерону. Кто более французских философов писал об этом равенстве состояний, о котором они и до сих пор еще хлопчут, и к чему ведут все их теории? Думая посредством одной земной мудрости достигнуть до этой утопии, они отстраняют религию. Безумцы! Да разве они не видят, что без веры в Спасителя это невозможно, что одна только она может усмирять наши страсти и делать нас способными ко всем пожертвованиям. Какой закон заставит скупого расстаться добровольно с его богатством? И тот же самый скупец, когда перст божий коснется души его, рассыплет свое золото, раздаст его с радостью бедным и пойдет вослед Христу, поправ ногами

своего земного идола. Всеобщий мир, братство народов, истребление нищеты – да! все эти мечты могут осуществиться только тогда, когда наступит на земле царство божие, когда будет «Единый пастырь и единое стадо». Итак, господа преобразователи, сделайте прежде христианами, проповедуйте не возмутительные правила, не позорный бунт, не восстание против законных властей, поставленных самим господом, не насильственные меры, которые влекут за собою одни бедствия – нет! старайтесь разливать основанное на истинной вере просвещение, проповедуйте слово божие, и если не вы, так потомки ваши достигнут до этой высокой цели, до этого всемирного просвещения, которое тогда будет не бедствием, а величайшим благом для всех людей. Но вот, кажется, совсем прочистилось, – продолжал Закамский, вынимая свои часы, – ого! Ровно час. Ну, Александр, нам придется ехать рысью, а не то мы к обеду не поспеем.

Мы встали и подошли к прилавку, чтоб расплатиться. Пока харчевник преважно выкладывал на счетах, сколько следует нам сда-

чи с серебряного рубля, я вслушался в разговор пьяных разночинцев, сидевших за особым столом. Тот, который походил на подьячего, рассуждал о чем-то вполголоса с своим соседом, краснорожим мещанином в изорванной венгерке.

– Да будь покоен, Иван Потапыч! – говорил он. – Мы твое делишко свахляем. Ведь ты не дал расписки в получении – так поплатится и в другой раз! В совестный суд не пойдем – нет, шутишь! Формой суда, любезный, формой суда!.. Не бойсь! Уж я тебе настрочу просьбишку! Такой вверну крючок, что вышереченная вдовица заплатит проценты и рекамбии[167], а как подмажем, так одних проторей и убытков начтем больше капитальной суммы. Ну что, так ли, любезнейший!

– Ай да Архип Федотыч! Что и говорить, заноза! Делец!

– То-то же!.. Да что ты, Иван Потапыч, скупишься? Полпива да полпива! Эка невидаль! Ты, любезный, уважь бутылочкой донского!

– Да донское-то кусается, Архип Федотыч! Я уж и так полтинник прогулял!

– Так что ж? Добей до целкового, да и кон-

цы в воду!

– Ну, так и быть, была не была!.. Гей! Бутылку цимлянского!

– Что брат, Александр! – сказал Закамский, выходя вместе со мною из харчевни. – Что ты скажешь об этих гуляках? Ведь они гораздо просвещеннее мужиков, и грамоту знают, и бороды бреют, и пьют виноградное вино...

– Да разве это просвещение?

– А ты думаешь, что парижская чернь знает математику и читает Гомера? – сказал Закамский, садясь на лошадь. – Что, готов? – продолжал он, подбирая поводья. – Ну, Александр, смотри не отставай; слушай команды: с места – марш!

V. ВЕСЬМА ОБЫКНОВЕННЫЙ СЛУЧАЙ, ИЛИ СЛЕДСТВИЯ ПЛАТОНИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ

Мы проехали верст семь менее в полчаса. Мне редко случалось ездить верхом, а без большой привычки далеко рысью не уедешь. На восьмой версте я начал осаживать мою лошадь и отстал от Закамского, который был отличный ездок и не знал устали.

– Эге! Александр, ты стал оттягивать! – закричал Закамский. – Плохой же, брат, ты кавалерист!

– погоди, – сказал я, – дай дух перевести!

– Что, любезный, задохся на восьмой версте!

– Да помилуй, Закамский, если ты это называешь прогулкой...

– Ну, ну! Хорошо! Поедем маленькой рысцою.

– Эх, братец, все рысью да рысью! Посмотри, как погода разгулялась, какой приятный воздух, какие прелестные места! Да позволь мне ими полюбоваться: поедем шагом.

– Пожалуй! Только мы опоздаем к обеду.

– Успеем: ведь всего осталось версты четыре. Мы въехали на небольшой пригорок.

– Посмотри, Александр, – сказал Закамский, – кто это несется к нам навстречу – видишь? Осмериком в карете?.. Фу, батюшки! Уж не бьют ли лошади?

– Нет, нет!.. Вон спускают потихоньку на мостик... Ну!.. Как опять погнались!

– Постой-ка, постой! – прервал Закамский. – Да это, кажется, экипаж Днепровского?

– Неужели?

– Да, да! Мне помнится, у него есть точно такая карета

– А вот увидим.

Мы поравнялись с экипажем: в нем сидел закутанный в широкий плащ мужчина, который, увидев нас, прижался в угол кареты и надернул на глаза свою шляпу. Он сделал это так скоро, что мы не успели рассмотреть его в лицо, между тем карета промчалась мимо.

– Ну, как хочешь, Александр, а это точно Алексей Семенович, – сказал Закамский.

– Не может быть.

– Как не может быть? Голубая карета, гнедые лошади, да и лицо кучера мне что-то знакомо.

– Воля твоя, а это не Днепровский. Зачем ему от нас прятаться?

– Да, странно! Впрочем, мы сейчас узнаем. Вон видишь вдали красную кровлю?.. Это его подмосковный дом. Поедем поскорее.

Через несколько минут мы своротили с большой дороги, проехали с полверсты опушкой березовой рощи, потом, оставив в правой руке огромный пруд, повернули длинным липовым проспектом к барскому дому, окруженному со всех сторон рощами и садами. На обширном дворе не видно было ни души, и даже ворота были закрыты.

– Что это значит? – сказал я. – Неужели никого нет дома?

– А вот погоди, спросим, – прервал Закавказский, поглядывая кругом. – В самом деле, ни одной души! Постой? Вот как-то идет... Это, кажется, садовник Фома... Эй, любезный, поди-ка сюда!

Садовник Фома, седой старик в синем суконном камзоле, подошел к нам с низким по-

КЛОНОМ.

– Что, братец, – спросил Закамский, – Алексей Семенович дома?

– Сейчас изволил уехать в Москву.

– А Надежда Васильевна у себя? – спросил я.

– Никак нет, сударь.

– А она также уехала?

– Вот уж часа три будет, как изволила уехать.

– Однако ж не в Москву?

– Не могу знать, – отвечал Фома, переминаясь и почесывая в голове.

– Натурально не в Москву, – подхватил Закамский. – Они отправились бы вместе. В чем поехала ваша барыня?

– Она изволила уехать верхом.

– Ну, вот, слышишь, Александр! Надежда Васильевна доехала прогуляться. А что, не знаешь, братец, скоро она воротится?

– Не могу знать.

– Так не знаешь ли, по крайней мере, куда она поехала?

– Вот извольте видеть: Алешка-ткач был сегодня на базаре – он говорит, что встретил

барыню на столбовой дороге, близехонько от Москвы.

– Что ж это такое? – сказал Закамский, взглянув на меня с удивлением. – Ведь тебя приглашали?.. Послушай-ка, братец, – продолжал он, обращаясь к садовнику, – что, у вас сегодня на барской кухне обед готовят?

– И огня не разводили, сударь.

– Ну, это кажется решительно!.. Делать нечего, Александр, поедем назад.

– Что это значит? – сказал я, когда мы выехали опять на большую дорогу.

– Это значит, что ты ошибся днем.

– О, нет! Меня точно звали сегодня.

– Странно!.. Ты приглашен, а никого нет дома, муж – уехал в карете, жена ускакала верхом... Что это все значит?

– Уж не случилось ли какого-нибудь несчастья?

– А что ты думаешь?.. И я начинаю опасаться.

– Кажется, Алексей Семенович не ревнив? – сказал Закамский, помолчав несколько времени.

– Не знаю, – отвечал я, стараясь казаться

равнодушным, – да и почему мне это знать?

– Полно, так ли, Александр? – продолжал Закамский, глядя на меня пристально. – Если верить городским слухам, то Днепровский имеет полное право ревновать свою жену...

– Что ты говоришь! – вскричал я. – Ты думаешь, что они поссорились?

– Да, мой друг, и, может быть, за тебя.

– За меня!

– Эх, Александр! Жаль, если это останется у тебя на душе! Какой вздор!..

– Не спорю, мой друг, но вся Москва говорит...

– Это просто одно злословие, городские сплетни!..

– Я и сам то же думаю, однако ж согласись, мой друг: если эти слухи дошли до мужа... Впрочем, вся эта болтовня должна скоро кончиться: ведь ты через несколько дней едешь в деревню?

– Не знаю.

– Как не знаешь? Да если не ошибаюсь, в нынешнем месяце будет ровно три года, как ты расстался с твоей невестой, а сколько раз я слышал от тебя, что ты ждешь не дожدهшься

минуты, когда тебе можно будет покинуть навсегда Москву?

– Моя свадьба отсрочена еще на целый год.

– Право? Однако ж, надеюсь, не ты просил отсрочки?

– Разумеется.

– То-то, мой друг, смотри, не променяй счастья всей своей жизни на какую-нибудь минутную прихоть.

– Да помилуй, Закамский! – прервал я с досадою. – С чего ты взял?..

– Ну полно, не сердись, Александр! Я верю, что это все вздор, но, право, не мешало бы тебе хоть на время уехать из Москвы. Перестать ездить к Днепровским ты не можешь, это даст новую пищу злословию, а воля твоя, если ты будешь у них по-прежнему ежедневным гостем, так все московские старушки пойдут к присяге, что ты любовник Днепровской. Однако ж, – продолжал Закамский, – не прибавить ли нам ходу?.. Я что-то очень проголодался, а до Москвы еще далеко.

Мы пустились скорой рысью, и до самой заставы не говорили ни слова. Закамский, вероятно, думал, как бы скорей добратся до

Москвы и пообедать, а мне, признаюсь, вовсе было не до еды. У кого совесть не чиста, тот всего на свете боится, а тут и невинному человеку бог знает что пришло бы в голову. Такой поспешный отъезд Днепровских из их деревни, странная мысль Надины уехать в Москву верхом, Алексей Семенович, который, встретясь с нами на большой дороге, не остановился, а, казалось, хотел от нас прятаться, – все оправдывало догадки Закамского. Ну, если в самом деле Днепровский узнал, что я в переписке с его женою, что она меня любит, что она потихоньку ко мне приезжала... Избави господи!..

Когда мы въехали в заставу, Закамский спросил меня, куда я намерен отправиться и не хочу ли вместе с ним отобедать в каком-нибудь трактире, я отказался, и мы расстались, он поехал искать обеда, а я поскакал домой. Егор встретил меня у ворот моей квартиры. – Вас, сударь, дожидается вот этот барон, – сказал он, помогая мне слезть с лошади.

– Какой барон?

– Ну, вот этот-с!.. Как его?.. Бараноброкин,

что ль?

– А! Барон Брокен?

– Точно так-с.

Я вбежал в комнату.

– Здравствуй, Александр Михайлович! – сказал барон, идя ко мне навстречу. – Насилу я тебя дождался.

Я вошел вместе с ним в мой кабинет.

– Притвори хорошенько дверь, – продолжал барон, – и садись, я хочу говорить с тобой о важном деле.

– Ты пугаешь меня!

– Пугаться нечего, а надобно будет взять решительные меры. Ты был сейчас в подмосковной Днепроовского?

– Да.

– И верно, никого не застал?

– Никого.

– Ну, мой друг, наши дела идут худо!

– Что ты говоришь?

– Сегодня поутру Надежда Васильевна приехала из своей подмосковной, послала за мной, я застал ее в ужасном отчаянии. Представь себе, какой несчастный случай... Да иначе не могло и кончиться. Сколько раз я го-

ворил ей жечь твои письма, так нет! Ох эти женщины! Не могут жить без улик! Письма, колечки, портреты!.. А на что все эти глупые бирюльки?.. К чему вся эта дрянь?.. Попадется на глаза мужу, вот и беда!

– Да что такое, скажи бога ради?

– А то, что твои письма, которые Надежда Васильевна всегда таскала в своем ридикюле, попались в руки Днепровскому.

– Возможно ли?

– Да! Она сегодня поутру отправилась гулять верхом и как-то второпях, вместо того чтоб спрятать свой ридикюль, забыла его в кабинете у мужа. Она вспомнила об этом, да уж поздно. Алексей Семенович, который, вероятно, давно ее подозревал, прибрал к рукам этот проклятый ридикюль. Разумеется, бедняжка потеряла совершенно голову, опасаясь в первую минуту встретиться с мужем, она села на лошадь и ускакала в Москву. Здесь, по крайней мере, она не одна и может, в случае надобности, переехать в дом своей тетке, графине Дулиной. Впрочем, это не спасет ее от больших неприятностей, а может быть, от совершенной гибели. Днепровский хочет тре-

бовать формального развода говорит, что представит в суд ее письма, что запрет он в монастырь...

– Как! Ты думаешь, что он решится...

– И, мой друг! От этого дурака все станется.

– Бедная Надина!

– Да, точно, бедная! И если ты ее покинешь...

– Можешь ли ты это думать? Я готов на все, чтоб спасти ее. Я поеду к Днепровскому, скажу ему, что я один во всем виноват, что она никогда не отвечала на мои письма...

– И ты думаешь, он тебе поверит?

– Я дам ему всякое удовлетворение.

– Уж не воображаешь ли ты, что он станет с тобой стреляться? Вот нашел человека! Теперь он кричит, что ты обольстил его жену, а если ты намекнешь о дуэли, то он станет кричать, что ты хочешь убить его, чтоб на ней жениться.

– Боже мой, боже мой! Да неужели нет никакой возможности спасти ее?

– То есть помирить с мужем и помешать этой истории сделаться гласною? Ну разумеется, это невозможно.

– Невозможно? – повторил я с отчаянием, и, надобно сказать правду, в эту минуту я во все не думал о собственном моем положении, я видел только бедную Надину, всеми покинутую, умирающую от тоски и горя в четырех стенах какого-нибудь отдаленного монастыря. Да, в эту минуту я пожертвовал бы всем на свете, чтоб спасти ее.

– Послушай, Александр, – сказал барон, – я не стану тебя обманывать, да и к чему? Ты должен лучше меня знать законы своего отечества. Твои письма в руках у Днепровского, а от него уже не жди милосердия, дурак умеет ли быть великодушным, следовательно, здесь все кончено для Надины. Но неужели ты думаешь, что она может быть счастлива только в России и что для этого счастья ей необходимы старый и несносный муж, общество, составленное из чопорных барынь и глупых модников, которые воображают, что они перестали быть мордвой и татарами оттого, что болтают по-французски, неужели ты думаешь, что она умрет со скуки без московских сплетней, шушуканья, злословья и клеветы, в которых даже нет ничего и забавного? Поми-

луй, Александр, свет велик. Конечно, не везде найдешь такое красивое серое небо, такие разнообразные степи, такой прекрасный зимний путь и такие трескучие морозы, как у вас в России, но ведь привыкнуть можно ко всему, даже к этим вечно голубым небесам и всегдашней весне южной Италии. И, мой друг! Не с морозом жить, а с добрыми людьми, а добрые люди везде найдутся.

– Так ты думаешь, барон, что она должна уехать за границу?

– Она! Помилуй! Да разве бедная Надина имеет на это какие-нибудь способы? Ее должно увезти, мой друг.

– Увезти? Кому?

– Кому? – повторил барон с дьявольской улыбкою. – Вот забавный вопрос! Кому? Да неужели мне? Случалось и мне увозить женщин, но только тех, которые меня любили.

– Так поэтому я должен увезти ее?

– Ты употребил настоящее слово, – прервал барон. – Это одно средство спасти Днепровскую, и ты *должен* спасти ее. Как благородный человек, ты не можешь поступить иначе. Ты знаешь, я не большой защитник посто-

янства, верности и всех этих рыцарских добродетелей, которые мешают нам вполне наслаждаться жизнью. Женщины нас обманывают, мы их обманываем: это круговая порука, но есть случаи, есть обстоятельства, в которых всякий порядочный человек должен хотя на время забыть о себе. Если б ты, вчера просто по одному капризу бросил Надину и предпочел бы ей другую женщину, я не сказал бы ни слова: это было бы в порядке, но покинуть ее теперь, когда у нее не осталось никого в целом мире, кроме тебя, когда она стоит на краю пропасти, когда ты один можешь быть ее избавителем – да, ты один! без тебя она не сделает шагу для своего спасения. Оставить ее в эту ужасную минуту, выдать руками озлобленному мужу, который, как вампир, высосет из нее по капле всю кровь, будет наслаждаться ее отчаянием и слезами, живую зароет в могилу... О, нет, нет, мой друг! Лучше возьми нож и зарежь ее, это будет и скорее и милосерднее!

– Боже мой, боже мой! – сказал я. – Итак, все погибло! Все мои надежды, вся будущность моя!

– Есть о чем горевать! – прибавил барон. – Помилуй, Александр, да что тебя ожидало в будущем? Жениться в твои года, покинуть свет и все его наслаждения, жить и умереть в глуши, и где же в глуши? В России, в этой безжизненной России, средоточии скуки, невежества и вечных снегов! В лучшие года твоей жизни, в то время, как вся просвещенная Европа приглашает тебя на свой роскошный пир, закопаться в какую-нибудь мордовскую деревню или полутатарский провинциальный город! Да, мой друг, нечего сказать: завидная будущность!

– Но моя невеста, барон?

– Быть может, погорюет, поплачет, а там утешится и выйдет замуж за другого.

– За другого? – вскричал я. – Как за другого!

– Да так, как все выходят.

Мне это казалось всегда до такой степени невозможным, что я не вдруг понял барона. Иногда приходило мне в голову, что я могу по какому-нибудь несчастному случаю лишиться моей невесты, но чтоб она вышла замуж за кого-нибудь другого, кроме меня, да этого я не мог себе и представить.

– Чему ж ты удивляешься? – продолжал барон. – Ну да! Она утешится и выйдет замуж за другого.

– Утешится! – повторил я. – Нет, барон, она не переживет моей измены, это убьет ее!

– И, полно ребячиться, Александр! Я тебе говорил однажды, что от любви умирают только те женщины, которые не находят утешителей, а если твоя невеста так хороша, как ты ее описывал...

– О, во сто раз лучше!

– Так почивай, мой друг, спокойно: ты ее не убьешь, она не умрет, и, почему знать, может быть, лет через двадцать ты встретишь чопорную деревенскую барыню, которая, указывая на толстого помещика в полевом кафтане и кожаном картузе, скажет: «Как я вам благодарна, Александр Михайлович! Я так счастлива с моим Кузьмою Фомичом! У нас пятнадцать человек детей, семьсот душ и триста десятин господской запашки!..»

– Эх, перестань, барон, – прервал я, – твои шутки несносны. Да знаешь ли ты, холодная душа, как я люблю мою невесту? Знаешь ли ты, что эта любовь – жизнь моя? От одной

мысли, что Машенька может принадлежать другому, кровь леденеет в моих жилах! Нет, нет! Называй меня жестоким, неблагодарным, бездушным, чем хочешь, а я не покину моей невесты. Пусть Надина требует от меня возможного: я готов умереть, чтоб спасти ее, но остаться жить без Машеньки, отказаться навсегда от этого ангела... Нет, нет! Это невозможно!

– Послушай, Александр, – сказал барон, – ты мне жалок и смешон. Да разве ты не видишь, что для тебя нет середины? Исполнишь ли ты долг честного человека или оставишь бедную Надину на произвол судьбы, во всяком случае тебе должно навсегда отказаться от твоей невесты. Неужели ты думаешь, что тебе можно будет жениться на Машеньке, когда Днепровский подаст просьбу о разводе, когда этот постыдный процесс делается известным всей России, когда твой опекун и твоя невеста прочтут решение суда, в котором, со всей беспощадной подробностью судебного приговора, будет сказано, что, по просьбе мужа, статская советница Надежда Днепровская, за непозволительную и законо-

преступную связь с таким-то...

– Перестань, бога ради, перестань! – вскричал я с ужасом. – И это будет напечатано?

– Разумеется.

– И мой опекун прочтет это?.. О, ты говоришь правду, барон! Все для меня кончено! Машенька, Машенька!

Я упал почти без чувств на канаве, грудь моя разрывалась от рыданий, слезы текли рекою. Мне все представилось в эту ужасную минуту: презренье старика, которого я привык любить как отца родного, горесть жены его, моей второй матери, а Машенька, подруга моего детства, моя первая любовь, невеста, сестра моя!.. Боже мой, боже мой!..

Барон вынул свои часы и, смотря на них с насмешливой улыбкою, не говорил ни слова.

– Ну! – сказал он наконец. – Вот ровно четверть часа, как ты каешься в своих тяжких прегрешениях. Да полно, уймись, Александр! И женщины за один прием не плачут более этого. Бедная Надина! Если б она знала, на кого полагает всю свою надежду! Хорош покровитель! Да неужели ты хочешь, чтоб я поехал сказать Днепровской, что ее прелестный иде-

ал, вместо того чтоб лететь к ней на помощь, валяется на канапе и ревет как школьник, которого собираются высечь? Стыдись, Александр! Ну, какой ты мужчина? Я не верю, чтоб ты не мог стать выше этой смешной детской привязанности к какой-то деревенской барышне, но если в самом деле ты до такой степени малодушен, так будь, по крайней мере, мужчиною: раздроби себе череп, а не плачь как женщина или пятилетний ребенок.

– Да, ты прав, мой друг! – вскричал я с отчаянием. – Я должен быть мужчиною, я спасу Надину, а там – а там я знаю, что делать!

– Насилу-то мы решились, – сказал барон, – а я уж думал, что этому и конца не будет. Ну, если бы я был на твоём месте, если б это прелестное создание... Да что тут говорить!

– Но почему ты думаешь, – прервал я, – что Надина решится бежать со мною за границу?

– Потому что ей не осталось ничего другого делать, потому что она гораздо решительнее тебя и наконец потому, что с тобой она готова на край света. Но мы так далеко не поедем.

– Все это одни предположения.

– Потрудись прочесть эту записку, и ты увидишь, что за Надиной дело не станет.

Барон подал мне клочок бумаги, на котором было написано несколько строк карандашом. Я узнал руку Днепровской, но с трудом мог разобрать следующие слова:

«Мы погибли, Александр!.. Муж мой все знает... Я не скажу, что ты остался у меня один в целом мире – нет! У нас есть истинный, бесценный друг. Следуй во всем его советам: он один может спасти нас!.. О, Александр! Сердце мое перестает биться, когда я думаю... но нет, нет! Ты не покинешь своей Надины».

– Ну! – сказал барон шутя. – Кажется, на основании этого верящего письма я имею полное право отвечать за Надину?

Я должен был еще раз прочесть эту записку, чтоб понять ее. Голова моя кружилась, в ней не было ни одной ясной мысли. Эта внезапная перемена моего положения, побег за границу, вечная разлука с Машенькою – все это походило на какой-то тяжкий, зловещий сон.

– Но когда же мы должны бежать? – спро-

сил я наконец робким голосом барона.

– Чем скорей, тем лучше.

– Да неужели сегодня?

– И почему нет?

Сегодня!.. Меня обдало с головы до ног морозом. Представьте себе человека, который надеялся прожить еще несколько дней и которому скажут, что он должен умереть через минуту.

– Сегодня! – вскричал я. – Да разве это возможно?

– А почему же нет? – повторил барон.

– Я совсем без денег.

– Сколько тебе надобно?

– По крайней мере, десять тысяч.

– Я привезу тебе двадцать.

– Но мне нужна подорожная.

– На что? Плати везде двойные прогоны, и тебя повезут в лучшем всякого курьера.

– Но разве я могу отправиться в чужие края, не имея заграничного паспорта? Меня могут везде остановить.

– Да, это правда, паспорт тебе необходим.

– Ну вот видишь! А можно ли его получить прежде двух недель?

– Нет, не можно.

Я вздохнул свободно.

– А меж тем Днепровский подаст просьбу, – продолжал барон, – тебя потребуют к суду, и тогда, разумеется, полиция не выпустит тебя из города. Впрочем, не только через две недели, это может случиться завтра, и потому-то именно вам должно сегодня же отправиться за границу.

– Как сегодня?

– Да, мой друг! Вот изволишь видеть: князь Двинский хотел ехать во Францию, я взял для него паспорт, но, кажется, он раздумал, он собирается в дальнюю дорогу, да только не туда... Постой!..

В эту минуту на моих стенных часах пробило пять часов, барон как будто бы к чему-то прислушивался, вдруг глаза его засверкали, какая-то неистовая радость разлилась по всему лицу, он захохотал... Боже мой!.. Я вскрикнул от ужаса, я до сих пор не могу вспомнить без замирания сердца об этом отвратительном хохоте, в котором не было у ничего человеческого.

– Как можно так страшно смеяться! – ска-

зал я. – Да и у чему ты смеешься?

– Отправился! – прошептал барон. – Счастливый путь!

– О ком ты говоришь?

– О моем приятеле Двинском. Он сказал мне, что если в пять часов я не буду у него, так непременно уедет.

– Что ж тут смешного?

– Долго рассказывать.

– Да куда он поехал?

– Я знаю куда, только не скажу, это наша тайна. Теперь ему заграничный паспорт не нужен. Вот он, возьми, Александр. Ты можешь с ним доехать до самого Парижа.

– Как, барон? Под чужим именем?

– А разве лучше, если б паспорт был на твое имя? Я думаю, нетрудно будет догадаться, что Днепровская убежала с тобою, тебя могут догнать, остановить на своей границе, а теперь кому придет в голову гнаться за князем Двинским. Я через неделю отправлюсь за вами, вы можете подождать меня в Варшаве. Вот адрес гостиницы, в которой советую вам остановиться, хозяин ее француз, прелюбезный и преумный человек. Прошлого года он

щеголял в красном колпаке, а теперь надел опять пудренный парик и называет себя эмигрантом. Вели меж тем приготовить твою коляску, а я заеду к Днепровской, потом найму лошадей, в десять часов они непременно будут у тебя на дворе. Прощай!

Есть пословица, что утопающий хватается за соломинку...

– Пстой, барон! – закричал я. – Мы одно совершенно забыли: ведь я в службе.

– Так что ж?

– Мне должно иметь отпуск.

– Ты с ума сошел, Александр! – прервал барон. – Ты решился увезти чужую жену, а не хочешь ехать без отпуска!.. А впрочем, что ты думаешь? В самом деле! Тебя хватятся, это наделает шуму... Садись и пиши просьбу. Когда будут думать, что ты поехал в деревню к своей невесте, так это всех собьет с толку.

– Но помилуй, барон! Теперь уж поздно.

– Это не твое дело, садись и пиши!.. Да полно же, решайся на что-нибудь! – продолжал барон, замечая, что я не слишком тороплюсь исполнить его приказание.

– О, мой друг! Я не могу подумать о Ма-

шеньке! Она всю жизнь будет несчастлива.

– Положим, что так, да разве тебе будет легче, когда ты сделаешь несчастье не одной, а двух женщин разом? Уж я, кажется, доказал тебе, что Машенька не может быть твоей женою, что же ты хочешь?

– Ах, я и сам не знаю! Я потерял весь рассудок. Бедная голова моя!

– И, полно! – прервал барон с улыбкою. – Оставь свою голову в покое: она тут ни при чем. Садись и пиши!

Я машинально повиновался. Барон взял мою просьбу, призвал Егора, велел ему укладываться и уехал.

– Да разве мы, сударь, едем, – спросил Егор, глядя на меня с удивлением.

– Да!

– В деревню?

– Нет.

– Куда же, Александр Михайлович?

– Пошел вон и делай, что тебе приказано!

Егор покачал головою и вышел вон.

Не могу описать, что я чувствовал в продолжение целого вечера. Я не мог присесть ни на минуту, нигде не находил места, мне

было душно: потолок давил меня, кровь то кипела, то застывала в моих жилах. Иногда казалось мне, что я в горячке, что все это один только бред, и в самом деле, мне поменять Машеньку на женщину прелестную, это правда, но к которой я чувствовал одно только сожаление! Бежать с этой женщиной за границу, быть может, отказаться навсегда от моего отечества – и все это сегодня!.. Пробыло десять часов, ворота заскрипели, и на дворе раздался звон колокольчика.

– Лошадей привели, – сказал Егор, войдя в комнату. – Прикажете закладывать коляску?

– Да, закладывать!.. Скорей, скорей!..

Итак, через час все будет кончено!.. Через час!.. Но что думать о том, что неизбежно? Я махнул рукой и сделал то, что делает робкий путешественник, когда проводник тащит его за собою по дощечке, перекинутой через глубокую пропасть: я зажмурил глаза и решился предаться совершенно в волю барона.

Он приехал ко мне ровно в одиннадцать часов.

– Вот твой отпуск, – сказал барон, подавая мне бумагу, подписанную моим начальни-

ком. – Ну, видишь, Александр, я все уладил, через полчаса мы отправимся. Ты знаешь переулок позади дома Алексея Семеновича, по обеим сторонам заборы? Тут и днем почти никто не ходит. В этот переулок есть калитка из сада Днепровских, мы остановимся от нее шагах в десяти, Надина к нам выйдет, и я уверен, что прежде, чем ее хватят, вы будете уже на первой станции. Ах, мой друг! – продолжал барон. – Как ты счастлив! Ты не можешь себе представить, как любит тебя эта женщина! Это не любовь, а какое-то безумие, сумасшествие. Когда она о тебе говорит, то я желал бы срисовать ее: это просто олицетворенная страсть, она мыслит, живет, дышит тобою. Если бы меня так любила женщина самая обыкновенная, то, клянусь честью, я сошел бы от нее с ума, а твоя Надина... Да знаешь ли, что я в жизнь мою не видывал ничего прелестнее. Это какое-то чудное собрание всего, чем пленяют нас женщины целого мира: умна, ловка и любезна, как француженка, прекрасна, как англичанка, стройна, как юная дева Андалузии, и точно так же беспредельно любит. Нет, мой друг, воля твоя, а ты

не стоишь этой женщиной.

– О, конечно, она очаровательна, прелестна! – сказал я увлекаясь словами барона. – Но мои прежние обязанности...

– Долой эти кандалы, Александр! Что за обязанности! Я знаю только одну обязанность: стараться быть счастливым и, если можно, наслаждаться жизнью до последней минуты. Все остальное пустяки, мой друг! Поживи несколько времени в Париже, и ты поймешь меня. Здесь в России вы не имеете никакого понятия о том, что мы называем наслаждением: это несносное однообразие, эта безжизненность преследует вас повсюду; вам скучно в Петербурге, скучно в Москве, скучно в деревне; вы женитесь для того, чтоб, умирая со скуки, вам можно было сказать: «На людях и смерть красна». Так чему же удивляться, если вы так уважаете все эти обязанности? Исполняя их, вы только разнообразите вашу скуку. погоди, Александр, ты скоро узнаешь, что такое жизнь, когда мы живем, а не прозябаем. У Надины тысяч на двести бриллиантов, твое имение стоит вдвое: следовательно, у вас будет почти тридцать тысяч в год доходу...

Тридцать тысяч! Да с этим в Италии вы будете жить в мраморных палатах, а мы начнем с Италии – не правда ли?

– Для меня все равно, Италия, Швейцария, Франция...

– О, нет, Александр! Если ты прямо из Москвы попадешь в Париж, то, быть может, он тебе не понравится, – этот быстрый переход от мертвого сна к кипучей жизни, нет, нет! тебя надобно будить понемногу, а то ты испугаешься. Мы проживем сначала недели три в Вене, а там отправимся в Венецию. Она еще прекрасна, эта падшая царица Адриатического моря: ее патриции ходят, повесив головы, но веселые гондольеры все еще поют свою *biondina in gondoletta*[168], и черные глаза венецианских женщин, так же как и прежде, горят любовью и сладострастием. В Риме мы пробудем только несколько дней. Там скучно, мой друг! Это развалины великолепного здания, в котором некогда жила владыки мира и давались дивные пиры, а теперь живут нищие, воеет ветер и все заглохло травой. В Неаполе проведем мы осень и всю зиму. Там, под этим прозрачным небом, на

этой огненной земле, ты познакомишься с благословенным югом. О, мой друг! Сколько новых для тебя наслаждений! Вообрази, Александр! В то время, как здесь, в Москве, трещат стены от мороза, ты будешь искать прохлады в какой-нибудь померанцевой роще или нежиться под тенью миртовых деревьев. Мы найдем роскошную виллу у подошвы Везувия. Представь себе, вдали перед нами огромный голубой ковер, по которому разбросаны корзины с яркой зеленью и цветами: это Неаполитанский залив с своими островами. У наших ног великолепный город, который, опускаясь амфитеатром к морю, как будто бы тонет в его голубых волнах. Представь себе, что ты без шляпы и галстука сидишь под тенью зеленого лавра, прислушиваешься к отдаленному говору бесчисленной толпы, дышишь этим благовонным воздухом, о котором ваши оранжереи не могут дать никакого понятия, что подле тебя, рука с рукою, сидит твоя Надина, что ее прелестные черные кудри тихо взвевает теплый осенний ветерок, и все это, мой друг, в январе месяце, все это в то время, как у вас в России дыханье замерзает в возду-

хе.

– Да, это земной рай, – вскричал я невольно.
но.

Барон нахмурился.

– Что за рай! – сказал он. – Это просто земля, в которой живут люди, а не белые медведи. Но вот конец и вашей русской зиме! – продолжал барон. – Апрель месяц. Мы скачем в Париж – в Париж, это средоточие всех земных наслаждений, эту столицу наук, ума и просвещения. Париж описывать нельзя: его надобно видеть. Может быть, тебе сначала не очень понравится нечистота, грязь и вонь парижских улиц, но ты скоро к этому привыкнешь, ты даже полюбишь эту парижскую грязь, точно так же, как мы любим какой-нибудь физический недостаток в женщине, которую боготворим. Я завидую тебе, Александр! Ты еще подносишь только к устам своим эту чашу, которую я давно осушил до дна. Сколько новых ощущений, какой разнообразный мир забав, радостей, удовольствий ожидают тебя в этом роскошном, обольстительном Париже! Представь себе...

Вдруг барон замолчал, он поглядел робко

вокруг себя и, схватив меня за руку, проговорил торопливо:

– Едем, мой друг! Едем! Пора!

– Егор! – закричал я. – Шляпу и шинель!

Мы едем.

– Извозчики перепрягают коренных лошадей, сударь! – сказал Егор, высунув к нам свою голову.

– Пошел, торопи!

– Скорей, скорей! – повторял барон, бегая по комнате.

– Что ты вдруг так заторопился? – спросил я с удивлением. – Посмотри, еще нет одиннадцати часов.

– Все равно! – вскричал барон, таща меня за руку. – Пойдем пешком, коляска нас догонит.

– погоди, дай хоть шинель надеть. Да что с тобой сделалось?

В самом деле, с бароном происходило что-то чудное: глаза его помутились, посиневшие губы дрожали, и он в ужасной тоске метался из стороны в сторону, повторяя каким-то странным голосом:

– Чу!.. Слышишь?.. Он идет.

– Да кто? О ком ты говоришь? – спросил я с нетерпением.

– Дома, сударь! – раздался в передней голос моего слуги.

Барон бросился к дверям, хотел их притворить, но вдруг отскочил и прижался к стене в самом темном углу комнаты.

– Пожалуйте сюда! – сказал Егор.

Двери растворились и к нам вошел Яков Сергеевич Луцкий.

VI. РАЗВЯЗКА

– Не грех ли тебе, Александр Михайлович? – сказал Луцкий, протягивая ко мне руку. – Совсем было уехал, не простясь со мною! У тебя уж и лошади готовы?

– Да, Яков Сергеевич, я сейчас еду.

– В деревню, к своей невесте, об этом и спрашивать нечего. Кажется, сегодня минет ровно три года... Но мне сказали, что ты не один, – продолжал Луцкий, осматриваясь кругом.

– Позвольте мне рекомендовать вам, – сказал я, указывая на барона, – это приятель мой, барон Брокен.

– Твой приятель! – повторил Луцкий, устремив испытующий взгляд на барона, который как прикованный стоял неподвижно в своем темном углу.

– Извините, Яков Сергеевич, – продолжал я, – нам некогда: мы едем.

– Ты поедешь, Александр Михайлович, – сказал твердым голосом Луцкий, – но только не с ним.

Я посмотрел с удивлением на Якова Сергеевича, в первый раз я видел на этом кротком и спокойном лице выражение душевной неприязни, блестящий, но неподвижный взор его был устремлен на барона, который дрожал как преступник, подавленный строгим взглядом своего судьи.

– И вот тот, кто был с тобою неразлучно! – проговорил Луцкий, не спуская глаз с барона. – И с этим клеймом на челе, с этим ядом на устах он явился перед тобою, и ты назвал его своим приятелем!.. Ах, Александр Михайлович! Ты не отгадал его под этой полупрозрачной маскою!.. Так взгляни же на него теперь!..

Я окаменел от ужаса. Боже мой! Что сдела-

лось с бароном?.. Страшно было смотреть на помертвевшее лицо его. Все, что порок имеет в себе отвратительного, все гнусные страсти, убивающие душу: гордость, злоба, ненависть, разврат, – все отражалось как в зеркале на этом безобразном, едва человеческом лице.

– В его присутствии и воздух заразителен, – продолжал Луцкий, взяв меня за руку. – Ты стоишь на краю пропасти, мой друг, но без собственной твоей воли я не могу спасти тебя, и горе тебе, если этот искуститель до того завладел тобою, что ты не желаешь с ним расстаться! Смотри, Александр Михайлович! Вот он, во всей отвратительной наготе своей, говори теперь: желаешь ли ты по-прежнему остаться его другом?

– О, нет, нет! – вскричал я с неописанным ужасом.

Лицо Луцкого просветлело радостью.

– Ты слышал свой приговор? – сказал он, обращаясь к барону. – Кто видит твое безобразие и гнушается им, тот не может тебе принадлежать.

Барон молчал. Заметно было, что он напрягал всю свою волю, чтоб победить это

неизъяснимое чувство боязни, которое овладело им при появлении Луцкого, несколько раз на посиневших губах его появлялась как будто бы насмешливая улыбка, и вдруг бледное лицо его вспыхнуло, глаза налились кровью и засверкали как у тигра, он устремил их на Луцкого, но лишь только этот бешеный взор встретился с кротким и спокойным взором старика, барон заскрежетал зубами, закрыл рукою глаза и с воплем отчаяния бросился вон из комнаты. Во всем доме двери распахнулись сами собою, на дворе шарахнулись лошади, завыла цепная собака, и мимо окон дома что-то похожее на вихрь с визгом промчалось по улице.

Прошло несколько минут, прежде чем я опомнился от удивления.

– Что ж это все значит? – спросил я у Якова Сергеевича.

– Если ты не понимаешь, Александр Михайлович, – ответил Луцкий, – так мне и толковать нечего.

– Но кто дал вам такую неограниченную власть над этим человеком? И отчего барон, который вовсе не трус, до такой степени вас

боится? Верно, вы знаете о нем что-нибудь ужасное?

– Да, мой друг! Я знаю, кто он, но оставим его. Я надеюсь, что при помощи божьей ты никогда уже с ним не встретишься. Теперь сядем, Александр Михайлович, мне нужно поговорить с тобой – да не беспокойся, – продолжал Луцкий, – время еще не ушло: тебя никто не дожидается, и ты едешь не за границу.

– За границу! – повторил я с удивлением. – Да кто вам сказал...

– Я знаю все, – прервал Луцкий.

– Все? Но каким образом...

– Я расскажу тебе. Сегодня Днепровский приехал ко мне часу в двенадцатом утра, я испугался, когда взглянул на этого несчастного мужа, убитого горестию. Не говоря ни слова, он подал мне твои письма. Ах, Александр Михайлович! Я не хотел верить, что они писаны тобою, но, к сожалению, должен был наконец убедиться в этой горькой истине. «Боже мой, – думал я, – к чему же служат нам доброе сердце, хорошие правила и то, что в свете называют честью? Да разве тот не злодей, кто решится уморить с горя свою невесту, обесче-

стить приятеля, заплатить ему величайшим злом и погубить навсегда легкомысленную женщину, которую он даже не любит?..» Да, Александр Михайлович! Любовь тут дело во-все постороннее, одно мелкое самолюбие, минутная прихоть... И вот как от ничтожной искры бывают часто гибельные пожары. Правда, раздуть эту искру и подложить огоньку было кому: я видел твоего наставника.

– Думайте что угодно обо мне, Яков Сергеевич, – прервал я, – но клянусь вам честью, Днепровская невинна!

– То есть ваша связь могла бы быть еще преступнее? О, в этом я уверен! И если б я одним часом приехал позже к Надежде Васильевне...

– А вы у нее были?

– Да, я приезжал к ней от мужа, и в каком положении нашел я эту бедную женщину! Она решилась бежать с тобою за границу, но я убежден теперь в душе моей, что Днепровская не пережила бы своего стыда... да, Александр Михайлович, ты был бы убийцею этой женщины!

– Но что оставалось мне делать, Яков Сер-

геевич? – вскричал я. – Чтоб спасти ее, я готов был на все решиться.

– Спасти?..

– Да разве вы не знаете, что Днепровский будет требовать развода, представит в суде мои письма...

– Твои письма? Вот они, Александр Михайлович!

– Возможно ли! Так он не хочет обесславить и запереть в монастыре свою жену?

– Обесславить!.. Так и тебе то же говорил этот... прости, господи!.. чуть-чуть не назвал его человеком, этот барон? И ты ему поверил, Александр Михайлович?.. Да знаешь ли, что Днепровский умер бы с радостью, если б мог думать, что составит этим счастье своей Надежды Васильевны? Знаешь ли, что его письмо, которое я отдал Днепровской, до того ее растрогало, что она поклялась забыть тебя и прилепиться всей душой к этому доброму и благородному человеку? Он отдавал ей все свое имение и не ее хотел запереть в монастырь, а сам решил покинуть свет, чтоб сделать ее свободною, и это были не одни фразы – нет, мой друг! Он точно бы это сделал, по-

тому что истинно ее любит, потому что для него видеть Надину счастливой все то же, что быть счастливу самому. Что если б эта бедная женщина не поняла, какое неоцененное сокровище такая чистая, бескорыстная любовь, если б она променяла ее на эту безумную неистовую страсть, в которой все противно богу и нашей совести, – о, мой друг! Как жестоко вы были бы наказаны оба! Но, к счастью, искуситель был далеко, и господь бог дал силу убеждения простым словам моим. Днепровская очнулась, она увидела эту бездонную пропасть, прикрытую цветами, и, чтоб спасти себя, бросилась в объятия к своему мужу. Теперь ты знаешь все. Лошади готовы – ступай с богом! Тебя ждет твоя невеста, меня также кое-кто поджидает. Да, Александр Михайлович! И мне придется скоро ехать в дальний путь...

– Что вы хотите сказать? – прервал я.

– Эх, мой друг! – продолжал Луцкий. – Плох становлюсь, дряхлею!.. Да господь бог милостив: не встретимся здесь, так авось свидимся в другом месте. Прощай, Александр Михайлович! Как женишься, так не забудь написать

ко мне: я порадуюсь твоему счастью, помолюсь за вас богу и, может быть, пришлю к вам свадебный подарок.

Луцкий обнял меня. Я сел в коляску и закричал ямщику:

– Пошел в Владимирскую заставу.

– Как, сударь? – сказал Егор. – Да куда же мы едем?

– В Тужиловку.

– В Тужиловку? – повторил Егор, перекрестясь. – Слава тебе господи! Ну, брат, смотри! – продолжал он, обращаясь к ямщику. – Чур, не дремать! Барин добрый – прокати, так на водку будет.

– Да нас нанимали по Смоленской дороге, сударь, – сказал ямщик, приподнимая шляпу.

– Я заплачу вдвое – ступай!

– Вдвое, – повторил ямщик, почесывая затылок. – Маленько, сударь, будет.

– Да разве станция-то больше? – прервал Егор.

– Больше не больше, а, власть ваша, за двойные не подведем.

– Так отпрягай лошадей! – закричал Егор, слезая с козел.

- Да уж прибавьте полтинничек, сударь!
- Хорошо, ступай!
- В Рогожскую! – крикнул ямщик фореитору.
- Ну! Трогай! С богом!

Мы выехали в заставу. Я все еще был в каком-то чаду. Этот быстрый переход от одного положения к другому смешал совершенно все мои понятия. Я походил на человека, который только что избавился от величайшей опасности, в первую минуту он не может дать себе отчета, как это случилось, и даже не чувствует – сторяча, – что он был на один шагок от смерти. Мало-помалу мысли, которые без всякой связи и порядка роились в голове моей, начали получать свою последственность, стали яснее, определеннее, и вдруг все прошедшее, в целом, представилось моему воображению. Боже мой, как я испугался!.. Что, если б в самом деле Луцкий одним часом позже приехал к Надине?.. Ведь я скакал бы теперь по Смоленской дороге, под чужим именем, с женою другого и завтра же об этом

*Ордынка, Поварская,
Никитская, Тверская,
Пречистенка, Арбат,*

И, словом, вся Москва ударила б в набат!

Через несколько дней известие об этом побеге дошло бы до Белозерских и Машеньки, которую я люблю более моей жизни... Какой ужас!.. Вся кровь застыла в моих жилах, мне казалось, что я никогда не уеду из этой Москвы, что за мною гонятся, что меня хотят остановить, разлучить на всегда с Машенькою...

– Пошел! – закричал я как бешеный. – Пошел! – Егор обернулся и поглядел на меня с удивлением. – Пошел! – повторил я, толкая в спину ямщика.

– Что вы, сударь? – закричал Егор. – Разве не видите, какая круть? Да тут дай бог и шагом спустить благополучно – извольте-ка взглянуть!

В самом деле, мы съезжали с крутой горы, и ямщик едва мог сдерживать лошадей.

Я нигде не торговался, сыпал деньгами, следовательно, ехал очень скоро, но если б меня везли с такою же точно быстротою, с какою возят теперь по чугунным дорогам, то и тогда я стал бы жаловаться на медленность. Мне все казалось, что Москва у меня за плеча-

ми. Я считал версты, присчитывал, старался сам себя обманывать и не видел конца моему путешествию. Но вот уж мы отъехали четыреста верст – Москва далеко. Еще одни сутки, и я дома, подле моей Машеньки... Она, верно, выросла, похорошела!.. Ах, как стало мне легко!.. Как весело расстилаются передо мною эти беспредельные поля наших низовых губерний... Последние три года моей жизни как будто бы не бывали, я опять живу в деревне, я снова тот же веселый, добродушный малый, который, бывало, не пропустит воскресного дня, чтоб не побывать у обедни, и готов после целый день проказить и резвиться как дитя – летом бродить с ружьем по лесу, бегать в горелки, зимой ходить за тенетами, кататься с гор, а в метель сидеть дома, читать вслух «Всемирного путешественника» или играть по гривне в лото. Шумная столица, блестящие праздники, гулянья, минутные друзья, бальные связи, и даже Надина Днепровская, – все это какой-то смутный сон, неясный рассказ. Москва!.. Да полно, был ли я в Москве? Не сплю ли я и теперь?.. Я был знаком с каким-то демоном, насмеялся, злословил, любезничал

с женщинами, забывал по целым дням мою Машеньку, и даже готов был навсегда с нею расстаться... Да как же это можно? Нет, нет!.. Это точно был сон!.. И какой скверный сон!..

На четвертый день рано поутру я остановился переменить лошадей в С...ке, уездном городе нашей губернии. Мне оставалось еще ехать с небольшим сто верст. С...к – уездный город с большими претензиями, в нем есть несколько каменных домов, красивый собор, ряды, гостиница, и даже бывает годовая ярмарка, на которую съезжались в старину карточные игроки из всех окружных губерний – одним словом, в этом знаменитом уездном городе я мог найти все, кроме того, что было для меня необходимо: мне нужны были лошади, а их-то именно и не было.

– Да поищи где-нибудь! – сказал я моему слуге. – Ну, может ли быть, чтоб в целом городе не было лошадей, ни почтовых, ни вольных?

– Ни одной тройки, сударь.

– Да отчего ж?

– Оттого, что губернатор уезды объезжает: он перед нами только изволил выехать из го-

рода, а за ним все здешние так гурьбой и повалили! Сам капитан-исправник насилу отыскал три клячонки, сейчас продрал по улице. Жарит сердечных так, что и, господи!

– Да этак, пожалуй, мы прождем здесь часов шесть?

– Почтовые лошади и прежде воротятся, Александр Михайлович, да вряд ли нам дадут: к ночи ждут губернаторшу, а, говорят, она едет на двух осьмериках, да под кухнею тройка. Вот если б вернулись вольные, так может быть...

– Эх, братец, да поищи где-нибудь!

– Пытал уж искать, сударь, весь город обегал – нет как нет!

– Ты, верно, торгуешься? Заплати все, что попросят.

– Да хоть что хочешь давай! Вот разве, сударь, знаете ли что? Я сейчас видел Сидорыча, приказчика нашего соседа, Ивана Федоровича Мутовкина...

– Ну, что, здоровы ли все наши?

– Все, слава богу! Сидорыч их третьего дня видел. Он здесь на паре и, пожалуй, довезет вас до Тужиловки, а я останусь с коляскою да

подожду лошадей.

– А как он думает приехать?..

– Он поедет проселком: верст сорок выкинет. Кони добрые, так авось завтра доставит вас к обеду.

– Завтра к обеду! – вскричал я с ужасом.

– Да ведь у него не переменные, сударь, все раза три придется покормить.

– Завтра к обеду! Когда я надеялся, что сегодня вечером ...

– Еще хорошо, что проселком, сударь, а по столбовой-то дороге и к вечерням не поспеешь. Ведь отсюда до Тужиловки мерных сто двадцать верст.

– Нет, я лучше подожду здесь лошадей.

– Власть ваша, а смотрите, если Сидорыч не прежде нашего будет в Тужиловке.

Егор отгадал, мы выехали из С...ка ночью. Что я вытерпел в продолжение пятнадцати часов, которые должен был просидеть в гостинице, этого рассказать не можно. Не помню, в каком русском романе я читал: «Что для влюбленного жениха, который спешит увидеться с своей невестой, всякая остановка есть истинно наказание небесное. Ничто не

может сравниться с этою пыткой: он нигде не найдет места, горит как на огне, ему везде душно: ему кажется, что каждая пролетевшая минута уносит с собою целый век блаженства, что он состарелся в два часа и не доживет до конца своего путешествия». Хотя я и не думал, что успею в несколько часов поседеть, но, право, сошел бы с ума, если б мне пришлось пробыть еще суток двое в этой проклятой гостинице. Когда лошадей привели, я до того обрадовался, что обнял и расцеловал трактирщика, который пришел ко мне с этим известием. Это так растрогало хозяина гостиницы, что он попросил с меня за то, что я съел кусок говядины и выпил стакан квасу, только рубль серебром. Я дал ему синенькую и побежал торопить ямщиков. Наконец мы отправились.

Разумеется, я во всю ночь не мог заснуть ни на минуту. Мы ехали на передаточных, следовательно, остановок нигде не было. Вот солнце взошло, и наступил лучший день в моей жизни. Утро было прекрасное, места очаровательные. Подле дороги расстилались луга, усыпанные цветами, обработанные по-

ля, которые начинали понемногу холмиться, пестрелись разноцветными полосами. Мы проезжали беспрестанно мимо липовых и дубовых рощ; иногда сквозь утренний туман блистали кресты сельских церквей и виднелись господские дома, с их обширными усадьбами и зеркальными прудами. Во всякое другое время я не устал бы любоваться этими сельскими видами, но теперь мне было не до того, я все смотрел перед собою, чтоб увидеть скорей дорожный столб и причесть эту новую версту к тем верстам, которые мы уже проехали. Ровно в двенадцать часов я переменял в последний раз лошадей в нашем губернском городе. И вот уж мы скакали по этой давно знакомой для меня дороге, вот с этого пригорка мы вместе с Машенькой в первый раз увидели город, вот березовая роща, которая ей так понравилась... Еще полчаса, и я дома!.. Боже мой, как я счастлив!.. Как мне весело и как тяжело!.. Я с трудом могу дышать... Сердце мое хочет выпрыгнуть... Я чувствую... да, я чувствую, что можно сойти с ума от нетерпения!.. Вот наконец и мой Егор порасшевелился и стал торопить ямщика.

– Видите, сударь! – закричал он, указывая на поле, покрытое мелкими кустами. – Вот Саланцы!.. А вот правее круглый лес!.. Всего пять верст осталось!.. Пошел, любезный, пошел!

– Постой! Дай подняться на горку, – сказал ямщик, слезая с козел, – вишь, лошадка-то как умаялась!

– А что, тетка, – продолжал Егор, – ты бывал в Тужиловке?

– Как не бывать! Я там с Парфеном – старостою давно хлеб-соль вожу, десятка два есть годов, как мы с ним покумились.

– Ой ли? А давно ли ты у него был?

– Да вот намнясь, о вешнем Николе мы с ним бражки посмаковали, полкорчаги вдвоем выпили.

– Скажи-ка, любезный, не в примету ли тебе у Парфена рыжая корова с белой лысиной, левое ухо распороно?

– Как же! Я ее торговал у кума, да вишь упирается, бает, что не его.

– Ну, так и есть, это мой теленок. Спасибо дяде Парфену – выкормил! А что-то мой барбос? Жив ли он, голубчик?.. А тетка Федосья,

чай, все хворает?

– Кто? Федосья Микитишна! Что ты! Раздобрела так, что рычагом не подынешь – печь печью!

– Смотри пожалуй!.. Ах ты господи!.. Ну-ка, брат, садись! Теперь дорога пойдет скатертью – качни напоследях!

Мы помчались.

– Видите, сударь! – сказал Егор, указывая на дубовые рощи, которые как будто бы выбежали к нам навстречу. – Вот они, родные-то наши!

Через несколько минут начали показываться вдали экономическое село, наша приходская церковь, вот выглянул из-за полуторы высокий шест с флюгером, зажелтелись огромные скирды барского гумна.

– Видите, сударь, видите? – кричал Егор, прыгая на козлах, но я ничего не видел: я не спускал глаз с одного предмета, к которому мы быстро приближались. Еще за версту от барской усадьбы я заметил, что шагах в двухстах перед нами что-то забелелось на большой дороге... «Сердце в нас вещун», – говорили старики, недаром оно замерло в груди

моей... О, это, верно, она!.. Я невзвидел ничего: поля, рощи, село – все исчезло!.. Вот опять, как три года тому назад, обрисовался вдали тонкий, прелестный стан... так, это Машенька!.. Она так же, как и прежде, стояла посреди большой дороги – точно так же ветер играл ее белым платьем и разбрасывал по плечам ее густые локоны, но тогда мы расставались, а теперь... Боже мой!.. Лишь только бы прожить еще полминуты!.. Вот уж мы в десяти шагах друг от друга...

– Стой! – закричал я, выпрыгнул из коляски, и Машенька упала в мои объятия. Она здесь, подруга моего детства, моя невеста, мой ангел!.. Здесь, на груди моей!.. Я чувствую, как бьется ее сердце, как ее горячие слезы льются на грудь мою!.. О! Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, я падаю пред тобой во прахе, милосердный господи, и со слезами благодарю тебя за эту благополучнейшую минуту в моей жизни! Совершенный мир, спокойствие в душе и какая-то беспредельная, святая, чистая радость! Так! Я не сомневаюсь, это точно, быть может, слабый, но верный отблеск того неизъяснимого блажен-

ства, которое ожидает праведных!

– Друг мой Сашенька! – раздался подле нас трепещущий голос – и Авдотья Михайловна бросилась ко мне на шею: она опередила своего мужа, который кричал мне издали:

– Здорово, брат Александр, здорово!.. Экий мо лодец стал!

– Здравия желаю, ваше благородие! – ревел басом старик Бобылев, тащась за своим прежним командиром, вдали бежала, прихрамывая, Аксинья, нянюшка моей невесты, а за нею все барские барыни, люди, девушки, вся дворня, одни плакали от удовольствия, другие смеялись, но все равно были счастливы, а я... Говорят, можно умереть от радости, неправда! Я остался жив. В доме встретил меня с крестом наш деревенский священник, отслужил молебен и сказал мне приветственную речь, в которой сравнил меня, верно без всякого намерения, с блудным сыном, возвратившимся в дом отца своего. Этот добрый старик, не думая, попал на истину.

Через месяц я обвенчался на Машеньке и уведомил об этом Луцкого и приятеля моего Закамского. Недели через три я получил от

последнего письмо и при нем посылку. «Мне очень грустно, – писал ко мне Закамский, – что я, поздравляя тебя с женитьбою, должен в то же время уведомить о смерти двух знакомых тебе людей, но если ты пожалеешь об одном, так, верно, будешь завидовать другому. Общий наш знакомец, князь Двинский, в самый день твоего отъезда, ровно в пять часов вечером, застрелился у себя в комнате. Накануне этого несчастного дня Двинский проиграл четыреста тысяч рублей, которые получил из опекунского совета по доверенности, данной ему от родного дяди. Его обыграл барон Брокен. На другой день полиция стала отыскивать этого негодяя, но он сгиб да пропал. Как этот барон уехал из Москвы и куда он уехал, до сих пор никто еще не знает. Богатая мебель на его квартире, картины, бронза – одним словом, все, до последней безделки, было им взято напрокат из магазинов и меняльных лавок. С ним вместе пропали без вести его кучер и жокей. От наемных людей не могли добиться толку, они объявили только, что барон выехал в воскресенье часу в третьем из дома и уж более не возвращался

на свою квартиру. Дней пять тому назад скончался наш общий приятель Яков Сергеевич Луцкий. Он умер или, лучше сказать, заснул на моих руках. Да, мой друг, господь удостоил меня видеть кончину праведника. Его последние минуты были торжеством, которого я никогда не забуду. За четверть часа до смерти лицо его просияло... о, мой друг, как он был прекрасен, как этот кроткий, потухающий взор вспыхивал по временам любовью и неописанным весельем! Не помню, кто сказал при виде новорожденного младенца: *«Когда ты родился, мы все радовались, а ты один плакал: живи же так, дитя мое, чтоб тогда, как ты станешь умирать, все вокруг тебя плакали, а ты один бы радовался»*. Я видел это на самом деле, мой друг: мы плакали, а Луцкий улыбался, расставаясь с жизнью, и, когда светлая душа христианина отделилась от земного тления, эта улыбка замерла на устах его.

Днепровские едут через неделю за границу, графиня Дулина отправляется вместе с нами. Вчера я навещал нашего приятеля фон Нейгофа. Пожалей о нем, мой друг! Он сидит в сумасшедшем доме и говорит такую дичь,

что грустно слышать: он называет себя графом Калиостро и уверяет меня по секрету, что познакомил тебя с чертом. Бедный Нейгоф! Поменее мечтательности, и он мог бы быть необычайным явлением в ученном мире. При письме моем ты получишь посылку: это свадебный подарок покойного Луцкого, он отдал мне его за несколько часов до своей смерти и просил доставить к тебе».

Я распорол клеенку: в ней защита была довольно толстая книга, исписанная рукою Луцкого. Это был тот самый сборник, который я пересматривал в первый день моего знакомства с Яковом Сергеевичем. В одном месте лист был загнут: я развернул, увидел две строки, подчеркнутые карандашом, и прочел следующее:

«Ищущий зла обретает зло, а призывающий духа тьмы становится рабом его».

– Что ж это, Александр Михайлович? – сказала... нет, уж не Машенька, а добрая, милая жена моя, Марья Ивановна, покинув на минуту свое рукоделье. – Неужели ты хочешь этим

кончить?

– Да, мой друг!

– А я думала, что ты опишешь всю нашу жизнь.

– И у меня это было в голове, да раздумал.

– Отчего же?

– Послушай, мой друг: не правда ли, что жизнеописание или история одного семейства имеет большое сходство с историей целого народа? Те же эпохи жизни, те же переходы от счастья к бедствиям, от горя к радости, от бедности к богатству, от славы к ничтожеству – разница только в объеме.

– Я не совсем с тобой согласна, но пусть будет по-твоему. Положим, что биография одного человека или одного семейства точно то же, что история целого народа, что же из этого следует?

– А вот что, Марья Ивановна: один умный человек сказал, и я с ним совершенно согласен, что история народа *постоянно счастливого* была бы самой скучной историей в мире. Ну, видишь ли теперь, мой друг, что я уморил бы с тоски моих читателей.

Марья Ивановна улыбнулась, поцеловала

меня в лоб и, не отвечая ни слова, принялась
опять за свое рукоделье.

Комментарии

Впервые отдельным изданием роман опубликован в 1838 г. в Москве.

Печ. по изд.: Загоскин М. Н. Полн. собр. соч. СПб, 1889. Т. 6.

В 1837 г. отрывок из романа под названием «Граф Калиостро» был напечатан в «Современнике», № 7, доходы от которого должны были пойти в пользу семейства погибшего Пушкина. В письме к Вяземскому Загоскин писал: «У меня теперь решительно ничего нет, что могло бы по своему объему войти в состав «Современника»... Я пишу и еще не кончил довольно большой роман, но, к сожалению, все то, что не вовсе дурно, так тесно связано с целым сочинением, что нет никакой возможности выбрать какой-нибудь отрывок, который имел бы и начало, и конец. Во втором томе есть только один эпизодический рассказ, который подходит под это необходимое условие, но это, по мнению моему, самое слабое место из всего романа и может дать весьма невыгодное о нем понятие, но, несмотря на это и чтобы доказать вам, как ис-

кренно я желаю, хоть несколько участвовать
в прекрасном благородном намерении вашем
сделать добро семейству нашего великого по-
эта, я пришлю к вам этот рассказ...»

Примечания

1

Это фантастическая картина, которая во всех подробностях срисована с натуры (фр.)

[^^^]

2

Фауст – герой немецких народных легенд, продавший душу дьяволу; символ человеческого стремления к всемогуществу знания. Прототипом легенд и знаменитого произведения Гете «Фауст» стал бродячий астролог и чернокнижник доктор Иоганнес Фауст (1480(?) – 1540(?)).

[^^^]

3

Чесменская битва – морское сражение 25-26 июня 1770 г., в котором русский флот разгромил турецкую эскадру.

[^^^]

4

...победа под Кагулом... – 21 июля 1770 г. русская армия под командованием П. А. Румянцева нанесла на берегу реки Кагул сокрушительное поражение основным силам турецкой армии, участвовавшей в русско-турецкой войне 1768—1774 гг.

[^^^]

5

кипучая деятельность иссушает человека (фр.).

[^^^]

Подожки – батожки.

[^^^]

...удалом фельдмаршале Румянцеве... – Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725—1796) – русский полководец, генерал-фельдмаршал (1770).

[^^^]

8

Варган – простонародный музыкальный инструмент, представляющий собой согнутую в виде лиры железную полосу с вставным по середине стальным язычком.

[^^^]

«Недоросль» – знаменитая комедия Д. И. Фон-визина (1782).

«Боббель» – комедия П. А. Плавильщикова (1790).

[^^^]

«Дианино древо» – комическая опера «Диянино древо, или Торжествующая любовь» (текст Л. да Понте, переделка с итальянского языка И. А. Дмитревского; музыка В. Мартина-и-Солера).

[^^^]

Роллень Шарль (1661—1741) – известный французский историк и педагог.

Иосиф Флавий (37 – после 100) – древнееврейский историк, автор известных трудов «Иудейская война», «Иудейские древности».

Квинт Курций Руф – древнеримский историк I в., написавший «Историю Александра Великого».

[^^^]

12

Жирандоли – здесь: фигурные подсвечники для нескольких свечей.

[^^^]

13

Канapé – небольшой диван с приподнятым изголовьем.

[^^^]

Штоф – плотная ткань с крупным узором.

[^^^]

Сократ (470/469-399 до н. э.) – древнегреческий философ, объявивший целью своего диалектического метода отыскания истины – самопознание.

Платон (428/427 – 348/347 до н. э.) – древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа.

[^^^]

«Грациан – придворный человек» – это анонимное произведение испанской назидательной литературы было переведено и напечатано впервые в России в 1739 году.

[^^^]

Регула – правило.

[^^^]

Марк Аврелий (121—180) – римский император (с 161 г.), вошел в историю как монарх-философ, сторонник позднего стоицизма.

[^^^]

Халдейская грамота – здесь: чернокнижие. Среди халдеев, создавших Нововавилонское царство (VII-VI вв. до н. э.), было много астрологов и магов.

[^^^]

Шептала – сушеные персики.

[^^^]

...синенькую ассигнацию... – речь идет об ассигнации достоинством в пять рублей.

[^^^]

Кант Иммануил (1724—1804) – родоначальник немецкой классической философии, был избран почетным членом петербургской Академии наук.

Окен Лоренц (наст. фам. Оккенфус) (1779—1851) – немецкий философ и естествоиспытатель, последователь Шеллинга.

Шлегель Август Вильгельм (1767—1845) – немецкий историк литературы, переводчик и поэт, ведущий теоретик романтизма.

[^^^]

Все идет чертой определенной... – строки из стихотворения А. С. Пушкина «К Каверину» (1817).

[^^^]

Дюкредюмениль – французский писатель (1761—1819) – автор сентиментальных романов.

[^^^]

Радклиф Анна (1764—1823) – английская писательница, автор популярных романов «ужасов».

[^^^]

Коцебу Август Фридрих (1761—1819) – немецкий драматург и писатель сентиментального направления.

[^^^]

Мейснер Август Готлиб (1753—1807) – немецкий писатель и драматург, автор нескольких исторических романов.

[^^^]

«Мои безделки» – название сборника Н. М. Карамзина, в который вошли его произведения, опубликованные в издаваемом им «Московском журнале».

[^^^]

«Житие Клевеланда» – это сочинение Антуана Древо д'Экзиля (1697—1763) было опубликовано в России в девяти томах в 1760—1784 годах под названием «Аглинский философ, или Житие Клевеланда, побочного сына Кромвелева, самим им писанное и с аглинского на французской, а с французского на российской язык переведенное».

[^^^]

Гиль (разг. устар.) – вздор, чепуха.

[^^^]

Совестдрал Большой Нос – герой считавшейся переведенной (с польского) лубочной повести «Похождения хитрого и забавного шута Совестдрала Большого Носа» (1781, 1793).

[^^^]

«Странные приключения русского дворянина Дмитрия Мунгушкина» – произведение, типичное для бульварной литературы XVIII столетия.

[^^^]

...взглянув на своего эликота... – эликот – старинные часы, называемые так по имени их создателя, английского часовщика XVIII века Джона Эликота (Элликота).

[^^^]

Аполлон – у древних греков бог – целитель, покровитель искусства.

[^^^]

«Свадьба Волдырева» – пьеса В. А. Лёвшина
«Свадьба господина Волдырева».

[^^^]

«Прекрасная Арсена» – четырехактная опера немецкого композитора из Саксонии Зейдельманна по либретто А. Мейснера (1779).

[^^^]

Лёвшин Василий Алексеевич (1746—1826) — русский писатель, переводчик, экономист, известный своими волшебными-рыцарскими и сатирико-бытовыми сказками.

[^^^]

Вебер Карл Мария фон (1786—1826) – знаменитый немецкий композитор и дирижер, основоположник немецкой романтической оперы («Вольный стрелок», «Оберон» и др.)

Мейербер Джакомо (1791—1864) – композитор, друг Вебера, автор известных опер «Роберт-дьявол» и «Гугеноты».

Герольд Фердинан (1790—1833) – французский композитор, автор романтических и комических опер.

Обер Франсуа (1782—1871) – французский оперный композитор, крупнейший представитель французской комической оперы («Фра-Дьявол», «Бронзовый конь»).

[^^^]

Каталани Анджелика (1780—1849) – знаменитая итальянская певица, гастролировавшая и в России.

[^^^]

...как тень отца перед Гамлетом... – имеется в виду эпизод из пьесы Шекспира «Гамлет», когда призрак убитого короля приходит на встречу с сыном.

[^^^]

Матрадур – старинный бальный танец.

[^^^]

...в гродетуровом платье с отливом... – в платье из плотной шелковой ткани.

[^^^]

Галантир – заливное в светлом студне.

[^^^]

Фашионабель – модник.

[^^^]

серого льна под названием «любовь до гроба»
(фр.).

[^^^]

Спенсер – род куртки.

[^^^]

Я должен однажды навсегда попросить моих читателей не забывать, что рассказываю им о приключениях моей молодости и что с тех пор прошло уже с лишком сорок лет. (Здесь и далее примеч. авт.)

[^^^]

Румянцев – см. КОММЕНТ.[7].

[^^^]

...гений великого Фридриха – имеется в виду Фридрих II Великий (1712—1786), прусский король, считавшийся, до поражения от русских войск в Семилетней войне, непобедимым полководцем.

[^^^]

...дом с бельведером... – дом с вышкой или надстройкой, как правило, круглой, здесь имеется в виду Пашков дом, теперь здание ГБЛ.

[^^^]

Белый город – исторический район в центре Москвы, получивший свое название в XVI в. по находившимся в нем «белым землям», т. е. освобожденным от налогов феодальным вотчинам. Имел крепостную стену и башни, разобранные в XVIII в.; граница его проходила по современному Бульварному кольцу.

[^^^]

«Отец семейства» – драма французского писателя Д. Дидро (1756).

«Граф Вальтрон» – драма Г. – Ф. Меллера.

«Эмилия Галотти» – трагедия немецкого писателя-просветителя Г. – Э. Лессинга (1729—1781), написанная им в 1772 г. Русский перевод появился в 1788 г.

[^^^]

Плавильщиков Петр Алексеевич
(1760—1812) – русский актер и драматург; выступал на петербургской и московской сцене; автор трагедий «Рюрик», «Ермак – покоритель Сибири» и ряда комедий.

[^^^]

Померанцев Василий Петрович – известный московский драматический актер конца XVIII в.

[^^^]

Шатомарго, лафит – сорта французских виноградных вин.

[^^^]

«Остров Борнгольм» – повесть Н. М. Карамзина, написанная в готическом стиле (1794).

[^^^]

Дерптский университет – университет в городе Дерпте (ныне – Тарту), основанный в 1802 г. Его предшественником была Академия Густавиана.

[^^^]

Сведенборг Эмануэль (1698—1772) – знаменитый шведский философ-мистик, создатель связанного с оккультизмом теософского учения.

[^^^]

Калиостро (1743—1795) – известный мистификатор, выдававший себя за чародея. Истинное имя его – Иосиф Бальзамо. Под именем графа Феникса побывал в 1780 г. в Петербурге. Основал в Риме ложу египетского масонства.

[^^^]

Архаровский полк – так называли в конце XVIII в. части Московского гарнизона (по имени братьев Архаровых, один из которых был московский гражданский губернатор (1782—1784), другой с 1796 г. московский военный губернатор).

[^^^]

Мольер (Жан Батист Поклен) (1622—1673), французский комедиограф, реформатор сценического искусства.

[^^^]

Коломенское – историческое село, ныне вошедшее в черту города Москвы; в XV-XVII в. являлось царской усадьбой; известно своими архитектурными памятниками, в частности, церковью Вознесения (1532).

[^^^]

Алексей Михайлович (1629—1676) – второй царь из династии Романовых (с 1645 г.); отец Петра I. При Алексее Михайловиче Коломенское переживало свой расцвет.

[^^^]

Эккертсгаузен Карл фон (1752—1803) – немецкий писатель, автор юридических, беллетристических, алхимических и мистических произведений.

[^^^]

Миллер Герард Фридрих (1705—1783) – российский историк, в двадцатилетнем возрасте приехавший в Россию из Германии, академик.

[^^^]

Этот старик умер в 1801 году.

[^^^]

Пощадите! (фр.)

[^^^]

Михаил Федорович (1596—1645) – первый русский царь из династии Романовых.

[^^^]

Малюта Скуратов (Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович) (ум. 1573 г.) – думный дворянин, любимец Ивана IV, глава опричников.

[^^^]

Борис Годунов (ок. 1552—1605) – боярин, затем русский царь (с 1598 г.)

[^^^]

Карлсбад – старинное немецкое название Карловых Вар, чешского бальнеологического курорта, пользовавшегося известностью уже с XVIII в.

[^^^]

Джон Бул – ироническое прозвище, даваемое англичанам.

[^^^]

Нашли дурака, мои дорогой! (фр.)

[^^^]

Друиды – жрецы у древних кельтов Галлии, Британии и Ирландии.

[^^^]

Касимов – старинный городок (ныне – в Рязанской области), основанный в 1152 г.; с середины XV в. и до 1681 г. – центр Касимовского царства, вассалитета, созданного московскими государями для переходивших к ним на службу татарских «царей».

[^^^]

Месмер Фридрих (1734—1815) – австрийский врач, создавший особую теорию магнетизма, не признанную современной наукой.

[^^^]

Сент-Жермен – граф, знаменитый алхимик и авантюрист XVIII в.; полагают, что он также участвовал в перевороте 1762 г., в результате которого на престол взошла Екатерина II.

[^^^]

Пинетти – вероятно, речь идет об известном фокуснике, гастролировавшем в Петербурге.

[^^^]

Антоний Марк (ок. 83-30 до н. э.) – римский полководец, один из триумвираторов; опираясь на поддержку своей возлюбленной – царицы Клеопатры, вел борьбу за власть в Риме.

[^^^]

Клеопатра (60-30 до н. э.) – последняя царица Египта (с 51 г.) из династии Птоломеев; была любовницей Юлия Цезаря, а затем Марка Антония, ставшего впоследствии ее мужем.

[^^^]

Буден (Боден) Жан (1530—1596) – французский гуманист, юрист, автор антимистической книги «Демономания колдунов» (1580).

[^^^]

Штиллинг – речь идет об Иоганне Генрихе Юнге-Штиллинге (1740—1817), немецком мистическом писателе, очень популярном в России.

[^^^]

Бем – очевидно, имеется в виду Яков Бёме или Бем (1575—1624), немецкий мистик, создавший собственную концепцию мироздания, основанную на сочетании натурфилософии и мистики.

[^^^]

Карл XII (1682—1718) – король Швеции (с 1697 г.), полководец. В результате проигранной Карлом Северной войны, апогеем которой стало поражение под Полтавой, Швеция превратилась во второразрядную европейскую державу.

[^^^]

Прочь, непосвященные! (лат.)

[^^^]

Освободи нас, господи! (лат.)

[^^^]

Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.) – древнегреческий политический и военный деятель, ученик Сократа; участвовал во многих войнах, которые вели Афины.

[^^^]

Мой дорогой (фр.).

[^^^]

Вы звезд с неба не хватаете, мой друг! (фр.)

[^^^]

Дюпати Шарль (1746—1788) – французский юрист и писатель.

[^^^]

Адриан – (76-138) – римский император (с 117 г.).

[^^^]

Прокопий (VI в.) – виднейший историк ранней византийской эпохи.

[^^^]

Велизарий (ок. 505—565) – знаменитый византийский полководец.

[^^^]

Бонифаций IX (Пьетро Томачелли) – римский папа (1389—1404), при нем существовала так называемое альтернативное папство.

[^^^]

Климент VII – Роберт, граф Женевский, был во время великого раскола избран антипапой (1378—1394).

[^^^]

Пальмира – легендарный город Древнего Востока (I-III вв.), отличавшийся архитектурной красотой.

[^^^]

Это было восемьдесят лет до рождества Христова... – На самом деле торжественное открытие Колизея, сопровождавшееся стодневными играми, во время которых погибли сотни гладиаторов и пять тысяч диких зверей, состоялось в 80-м году после рождения Христа.

[^^^]

Тит (39-81) – римский император (с. 79 г.), из династии Флавиев. Им был взят и разрушен Иерусалим (70 г.).

[^^^]

Нострадамус Мишель (1505—1566) – знаменитый французский астролог; придворный врач Карла IX.

[^^^]

Твардовский – легендарный польский шляхтич-чернокнижник.

[^^^]

Фламель (Фламель) Никола (сер. XIV в. – 1418) – французский философ и алхимик.

[^^^]

Брюс Яков Вилимович (1670—1735) – русский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I, сенатор, президент Берг- и Мануфактур-коллегии (1717); генерал-фельдмаршал (1726); ведал Московской книжной типографией. Современники подозревали его в занятиях чернокнижием.

[^^^]

Беденький (ит.).

[^^^]

Баржелло – название главного начальника полицейской команды в Риме.

[^^^]

Дель-Говерно – римский уголовный суд.

[^^^]

Навязчивая идея (фр.).

[^^^]

Бедлам – известная лондонская психиатрическая больница; здесь: хаос, неразбериха, сумасшедший дом.

[^^^]

Чичероне (ит.) – проводник по городу, гид.

[^^^]

Юпитер – в древнеримской мифологии бог-громовержец, главный в ареопаге богов, тождественен древнегреческому Зевсу.

[^^^]

Нептун – у древних римлян бог моря, младший брат Юпитера.

[^^^]

Воробьева – очевидно, речь идет о Матрене Семеновне Воробьевой, драматической актрисе, дебютировавшей на московской сцене в 1799 г.

[^^^]

Петровский театр – находился с 1780 г. на Петровке, в районе нынешнего Большого театра; в 1805 г. Петровский театр сгорел.

[^^^]

Таверние (Тавернье) Поль – французский писатель и путешественник. В России пользовался популярностью перевод его книги «Зеркало любопытства, или Ясное и подробное истолкование всех естественных и нравственных познаний...»

[^^^]

...пируют в семик... – т. е. в седьмой четверг
после пасхи, под троицу.

[^^^]

Брокен – в этом имени автор явно обыгрывает название знаменитой горной вершины в Германии Броккен, на которой по преданиям проходил шабаш ведьм в Вальпургиеву ночь; аналог Лысой горы под Киевом.

[^^^]

Первый консул – речь идет о Наполеоне, который в 1799 г. в результате государственного переворота был объявлен первым консулом.

[^^^]

Марат Жан-Поль (1743—1793) – один из вождей якобинцев в период Великой французской революции; с 1789 г. издавал газету «Друг народа». Убит террористкой Ж. Конде.

Робеспьер Максимилиен (1758—1794) – один из якобинских руководителей; в 1793 г. был фактическим правителем Франции; вместе с Маратом проводил политику революционного террора. Казнен на гильотине своими противниками.

Дантон Жорж-Жак (1759—1794) – один из вождей якобинцев; в результате разногласий с Робеспьером казнен на гильотине.

[^^^]

Это слово вошло недавно в употребление, но могу вас уверить, что я точно в первый раз услышал его от барона Брокена.

[^^^]

Les bals de vietimes.

[^^^]

...при Филиппе жгли на кострах рыцарей храма, а при Карле IX резали протестантов... — имеется в виду осуществленное французским королем Филиппом IV Красивым уничтожение в 1307—1311 гг. связанного с масонством рыцарского ордена Тамплиеров (храмовников) и Варфоломеевская ночь, во время которой в 1472 г. при короле Карле IX (1550—1574) католики устроили в Париже резню протестантов.

[^^^]

Гераклит (кон. VI – нач. V в. до н. э.) – древнегреческий философ-диалектик, представитель ионийской школы; высказал идею непрерывного изменения («в одну реку нельзя войти дважды»): противопоставлялся Демокриту как философ-пессимист.

[^^^]

Демокрит (ок. 470/460 – сер. IV в. до н. э.) – древнегреческий философ-материалист, один из основателей античной атомистики.

[^^^]

123

В этом доме теперь гостиница «Европа».

[^^^]

...прекрасный Иосиф... – по Библии, правнук Авраама, легендарного родоначальника евреев, отличавшийся красотой и из-за этого проданный завистливыми братьями в рабство; после долгих злоключений стал править Египтом.

[^^^]

Амадис – герой знаменитого испанского рыцарского романа «Амадис Гальский» (1508).

[^^^]

Моя дорогая? (Фр.)

[^^^]

Мой дорогой друг! (Фр.)

[^^^]

Чимароза Доменико (1749—1801) – знаменитый итальянский композитор, три года (с 1787 по 1791) работал в Петербурге.

[^^^]

Вот уже второй раз сочинитель этой книги говорит с неуважением об итальянской музыке. Я не хочу отвечать за чужие грехи: у меня и своих довольно. Александр Михайлович может думать и говорить все, что ему угодно, что ж касается до меня, то я объявляю здесь торжественно, что вовсе не разделяю его мнения и слушаю всегда с восторгом итальянскую музыку даже и тогда, когда ее ноют аматеры.

[^^^]

Хирагра – подагра кистей рук.

[^^^]

Есть вещи, которые не нужно повторять, мадам! (фр.)

[^^^]

Сент-Жюст (Сен Жюст) Луи (1767—1794) – один из видных якобинцев, сторонник Робеспьера; казнен термидорианцами.

[^^^]

Дорат (Дора) Клод Жозеф (1734—1780) – французский поэт, автор нескольких комедий.

[^^^]

Прудон (Прадон) – второстепенный французский драматург-классицист, современник и последователь Расина.

[^^^]

Абдериты – жители древнефракийского города Абдеры, в котором родились Демокрит и Протагор; в переносном смысле – недалекие, смешные провинциалы.

[^^^]

«Contract social» – «Общественный договор» (1762), известный социально-философский труд французского писателя Ж. – Ж. Руссо (1712—1778).

[^^^]

Хенералиф – название дворца мавританских халифов в Гранаде.

[^^^]

Альгамбра – дворец (XIII-XIV вв.) мавританских правителей в испанской Гранаде; отличается пышной декоративной отделкой.

[^^^]

Попе (Поп) Александр (1688—1744) – английский поэт-классицист, автор философских поэм.

[^^^]

Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803) – известный немецкий поэт и драматург, автор философско-религиозной эпопеи «Мессиада».

[^^^]

Мильтонова Сатана – имеется в виду Демон, герой поэм английского поэта Джона Мильтона (1608—1674) «Потерянный рай» и «Возвращенный рай».

[^^^]

Дидона – первоначально одно из финикийских божеств, затем, согласно мифам, сестра тирского царя; основательница Карфагена. У нее якобы нашел приют бежавший после гибели Трои Эней, который по воле богов должен был плыть в Италию, и влюбленная в него Дидона в отчаянии лишила себя жизни.

[^^^]

О, вам надо пить, чтобы ощутить блаженство!
(фр.)

[^^^]

Бог прокляни! (англ.)

[^^^]

Всегда (ит.).

[^^^]

Это восхитительно! (фр.)

[^^^]

...ты прочтешь ей «Бедную Лизу», «Наталью, боярскую дочь» – речь идет о сентиментальных повестях Н. М. Карамзина.

[^^^]

Пигмалион – в древнегреческой мифологии царь Кипра, гениальный скульптор, влюбившийся в созданную им статую из слоновой кости – Галатею, которая была затем оживлена Афродитой и стала женой Пигмалиона.

[^^^]

«Новая Элоиза» – знаменитый сентиментальный роман Ж. – Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

[^^^]

Парки – в римской мифологии богини судьбы, изображавшиеся в виде трех старух, прядущих нить человеческой жизни.

[^^^]

Грандисон – герой сентиментального романа английского писателя С. Ричардсона (1689—1761) «История сэра Грандисона» (1754), отличавшийся безупречностью поведения и добродетельностью нрава.

[^^^]

прекрасная маска (фр.).

[^^^]

Ваш уважаемый супруг (фр.).

[^^^]

Кларисса – героиня одноименного романа С. Ричардсона (1747—1748), ставшая олицетворением женской добродетели в сочетании с пуританской ограниченностью.

[^^^]

«Вертер» – герой романа И. – В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

[^^^]

Август Лафонтен (1758—1831) – немецкий романист.

[^^^]

«Софья» – драматическое произведение Н. М. Карамзина (1790).

[^^^]

Евгений Сю (Эжен Сю) (1804—1857) – известный французский романист, представитель социально-сентиментальной и авантюрной прозы.

[^^^]

Жорж Занд (1804—1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен (в замужестве – Дюдеван), вставшей в защиту женской эмансипации.

[^^^]

Рокамболь – название старинной карточной игры.

[^^^]

...ученый муж в роде барона Гумбольдта... –
имеется ввиду Александр Гумбольдт
(1769—1859), выдающийся немецкий есте-
ствоиспытатель, географ и путешественник,
иностраный почетный член Петербургской
АН.

[^^^]

Английские клепера – порода лошадей, пригодная и для сельскохозяйственных работ, и для упряжки в экипаж.

[^^^]

...спешили в Тюфели... – так назывался расположенный на окраине Москвы район Тюфелевой рощи, в котором позднее были устроены популярные бани.

[^^^]

Яндова (ендова) – старинная посуда для вина.

[^^^]

Ерофеич – название водки, настоянной на травах.

[^^^]

Заира... Фатима... – героиня трагедии Вольтера «Заира» (1732).

[^^^]

Рекамбия – пеня за неуплату в срок по векселям.

[^^^]

Блондинка в гондоле (ит.).

[^^^]